



НИКОЛАЙ ДУБОВ  
**МАЛЬЧИК  
У МОРЯ**  
•  
**БЕГЛЕЦ**



## МАЛЬЧИК У МОРЯ

### БЕЗДНА

Целый день Сашук ревет. Мать кричит на него, даже шлепает, отец обещает «напрочь оторвать уши». Сашук ненадолго затихает, потом снова принимается хныкать и канючить. Дядя Семен пригоняет к правлению старый «газон», в котором уже стоят ящик с продуктами и бочка с бензином. Рыбаки кидают в кузов свои сундучки, мешки, и тогда Сашук начинает реветь так горько и безутешно, что даже сам бригадир, Иван Данилович, удивленно оглядывается, подходит и опускается перед Сашуком на корточки.

— Ты чего нюни распустил?

— К-ктыка, — захлебываясь, говорит Сашук.

Бригадир не понимает:

— Настя, чего он у тебя?

— Да ну, баловство! Собачонка своего везти хочет, кутенка. А куда его? И так мороки хватает...

Бригадир Иван Данилович нависает над Сашуком, как гора. Сашук затихает, беззвучно всхлипывая, смотрит на него снизу вверх, но, услышав слова матери, заводит снова:

— Ы-ы...

— Пстой! — морщится Иван Данилович. — Гудишь, как бакан в тумане... Это он и есть?

Между ног Сашука стоит ивовая плетушка. В плетушке спит пегий щенок. Голова его перевешивается через край, щенок негромко, но внятно храпит.

— Ишь ты, — усмехается Иван Данилович, — притомился... Ладно, бери свою животину. Слышь, Настя, пускай берет, чего ты ребятенку душу надрываешь... Кутенок — не волк, и чай, артель не объест...

Сашук вскакивает:

— Дяденька Иван Данилыч...

— Нет, ты погоди. Ты сперва беги умойся. Какой из тебя рыбак, ежели ты весь в слезах да соплях?

Сашук мигом подбегает к колодцу, плещет из бадейки на лицо, выдернутым из штанов подолом рубахи утирается и, подхватив плетушку, бежит к машине.

— Готов, ревушка-коровушка? — говорит Иван Данилович. — Иди с мамкой. Ты, Настя, садись в кабину, а то за Измаилом дорога и из мужиков душу выбивает.

— То ж ваше место, Иван Данилыч...

— А ты после болезни.

Иван Данилович подхватывает Сашука под мышки, и вместе с плетушкой Сашук оказывается в кабине.

— За ручку не хватайся, выпадешь — костей не соберешь.

Мать сидит рядом с дядей Семеном, Сашук становится у окна и высовывает голову наружу. Вокруг стоят ребята со всей улицы. Кто пришел отца провожать, а кто так — посмотреть. Они еще загодя начинают махать руками. Сашук им тоже машет. Немножко. Пускай знают. Они остаются, а он уезжает.

— Все сели? — говорит Иван Данилович. — Поняй, Семен. Счастливо...

Дядя Семен что-то поворачивает, «газон» начинает трястись и трогает. Ребята, крича, бегут рядом, но сразу остаются позади. Мелькают избы, на повороте сверкает оловянное зеркало Ялпуха. И вот нет ни Ялпуха, ни изб, дорогу сплошными стенами обступает кукуруза, размахивает желтыми метелками и заглядывает в кабину.

— С нашими темпами, — говорит дядя Семен, — только на похороны. Цельный день собирались. Теперь вот ночью ехай. А по такой дороге и в день — не сахар.

— Дорога ничего, — говорит Сашукова мамка. — Как-то там будет?

— А что? Нормально будет.

— Ну да! А зачем этого уголовника взяли? Нужен он...

— А что? Парень как парень.

— Да ведь в тюрьме сидел. Небось туда зря не сажают...

— Кто в тюрьме сидел? — спрашивает Сашук.

— Да Жорка этот, рыжий который да горластый... Ты от него подальше, слышь, сынок?

Дядя Семен косится на нее, но ничего не говорит.

Кукуруза расступается, за ней появляются домики, дома, потом домищи.

— Это что? — спрашивает Сашук.

— Город. Измаил.

Дома становятся все больше, все длиннее и все выше. Сашук высовывает голову из кабины, выворачивает ее, чтобы сосчитать окна, но все время сбивается. Город большой. Как десять Некрасовок. Нет, наверно, как сто... И улицы здесь совсем другие. Обсажены деревьями. И на дороге нет ни колеи, ни ям, она гладкая-гладкая, будто выструганная. И ни луж, ни пыли...

Дядя Семен притормаживает у перекрестка, и Сашук видит на большом камне лошадь, а на ней сухонького человека, который держит в поднятой руке чудернацкую шапку.

— Это кто?

— Суворов, — говорит дядя Семен. — Генерал такой был. Завзятый вояка.

— Он — как Чапай, бил фашистов?

— Фашистов тогда, кажись, не было. Он давно жил. Хотя кто его знает, может, какие свои были...

— А ты, дядя Семен, фашистов бил?

— Нет, я баранку крутил.

— Ну все одно на войне?

— На войне.

Город кончается. И вместе с ним кончается хорошая дорога. «Газон» начинает трясти, подбрасывать и заносить. Под колесами взрывается пыль, желтым облаком взвивается к небу и скрывает заходящее солнце.

По крыше кабины стучат.

— Семен, совесть надо иметь! — кричит Иван Данилович.

Дядя Семен дергает какую-то штуку, машина идет медленнее, но ее так же треплет, толкает, бросает из стороны в сторону. Сашук то и дело стучается головой о раму окна. Мать подхватывает его, сажает на пружинное сиденье. Плетушка с кутенком подпрыгивает на полу кабины, кутенок мечется. Сашук сползает, поднимает плетушку, ставит себе на колени. Кутенок сворачивается в клубок и снова засыпает.

Так они и едут — взрывают колесами пыль, а сзади она клубится багровым пожаром. Изредка впереди появляется косою столбик пыли. Он стремительно мчится им навстречу, вырастает до неба. Дребезжа, проносится встречный грузовик, и тогда не только сзади, но и спереди все заволакивает пылью. Сашук и далее кутька во сне вертят головами и чихают. Мать обтирает лицо хвостиком косынки, а дядя Семен сердито, но тихонько чертыхается.

Солнце садится, и сразу же начинает темнеть. Дядя Семен включает фару — у него горит только одна левая. Жидкий желтоватый снопик света упирается в изрытую колдобинами дорогу. Иногда он выхватывает из темноты раскоряченное чудище, но машина подъезжает ближе, чудище оказывается старой ветлой или обшмыганным кустом. Глаза у Сашука режет, будто туда насыпали песку, но он, придвинувшись к самому ветровому стеклу, все смотрит и смотрит.

— Будет тарашиться-то, — говорит мать, — ничего там нет, и смотреть не на что. Спи давай.

— Она прижимает его голову к своему теплomu боку.

— Да ну, мамк, не хочу я спать, — говорит Сашук и отодвигается. — А море скоро?

— До моря ты еще десятый сон увидишь, ночью приедем, — отвечает дядя Семен.

— Оно какое? Как Ялпух?

— Сравнил! — говорит дядя Семен. — Ялпух — лужа, а море — это, брат, бездна...

Сашук недоверчиво смотрит на него. Смеется, что ли? Какая же Ялпух лужа, когда другой берег еле-еле видно, да и то если взобраться в плавнях на вербу. А где он начинается и кончается, и вовсе не видно, куда ни взбирайся.

— А бездна — это что?

— Ну... бездна и бездна... Без дна, значит.

— Как это — без дна?

— Вот так. Без дна, и все...

Сашук пробует представить себе бездну, но у него ничего не получается. У всего есть дно. В колодце дно совсем недалеко. Когда соседка Христина упустила в колодец ведро, туда забросили «кошку» на веревке, пошарили-пошарили и достали. Ведро лежало на дне. Ялпух, конечно, куда глубже. Сашук и другие ребята сколько ныряли, а достать дно не могли. Только и там дно есть. Сашук сам видел, как в дно забивали колья для неводов и как с лодки бросали якорь. А якорь, он за что держится? За дно. Не за воду же! Значит, дядя Семен просто так говорит, чтобы посмеяться.

Сашук оглядывается на дядю Семена, но тот вовсе не смеется, а напряженно всматривается в еле освещенную фарой дорогу. И Сашук тоже смотрит на нее. В желтоватом снопике света все впереди начинает путаться, потом сливается в монотонную пеструю ленту и гаснет... \* \* \*

Его будит кутькин скулеж. Сашук поднимается, спускает ноги с топчана. Кутька бросается к ним и скулит.

— Цыц! — строго говорит Сашук. — Чего нюни распустил?

В распахнутую дверь комнатки-клетушки врывается слепящий свет.

— Ух ты! — говорит Сашук и вслед за кутькой выбегает во двор.

Под навесом возле плиты, раскрасневшаяся от жары, мать мешает варево в здоровенном котле. Над большим двором, пустым и вытоптаным, как поскотина, полыхает зной. Только под стеной бригадного барака да у столбов жердевой изгороди торчат пучки пропыленной травы. Даже издали видно, что она жесткая и колючая.

— Мамк, а где все? — кричит Сашук.

— Где ж им быть? В море ушли, еще затемно.

Сашук смотрит в ту сторону, куда она показала. За оградой пустырь постепенно переходит в невысокий бугор, за ним ничего не видно.

— Поди поешь, — говорит мать.

Этого Сашук уже не слышит. Он припускает через двор, ныряет под жердину.

— Не лазь купаться! — кричит мать. — А то лучше не приходи, все вихры оборву.

Бугор порос жесткой колючей травой, но Сашук не обращает внимания на колючки. Он бежит во весь дух. Сзади, поскуливая, ковыляет кутька.

Сашук взбегает на бугор, останавливается и отступает. Дальше нет ничего. Отвесной стеной бугор обрывается вниз. Обрыв такой глубокий, что у Сашука внутри все холодеет.

— Ух ты! — шепотом говорит Сашук. Он даже пятится немножко, но потом снова заглядывает под обрыв.

Далеко внизу змеится узкая полоска песка, у самого края ее облизывают маленькие волны, а дальше — впереди, вправо и влево — нет ничего. Голубая, сверкающая, слепящая пустота. Как небо.

Сашук взглядывает вверх, над собой. Нет, небо другое. Оно бесконечно далекое, но знакомое, привычное — голубое и неподвижное. Лишь кое-где тихонько плывут

белые-пребелые облака. Он переводит взгляд ниже. Там небо становится все светлее, потом начинает струиться, переливаться, нестерпимым блеском разливается во все стороны, подступает к самому берегу, где плещутся мелкие волны.

Сашуку даже трудно становится дышать. Значит, вот это и есть море? Значит, правду сказал дядя Семен, что оно без дна, раз оно такое большое — ни конца ни краю...

Он смотрит вдоль берега. Вдалеке справа виднеется высокая решетчатая башня, а на ней маленькая, как скворечница, будочка. Слева от берега уходит в море причал на сваях. Он не похож на тот, что Сашук видел в Некрасовке. Там низенький и пустой, как мосток. А здесь сваи выступают из воды высоко, а от настила к высокому берегу поднимается на столбах какая-то тоже решетчатая штука. Она упирается в большой, длинный сарай и исчезает в нем.

Над причалом кружит несколько чаек. Одна из них летит в сторону Сашука, и он видит, что и чайки здесь совсем не такие, как на Ялпухе, Там маленькие, белые, а здесь здоровенные, как гусаки, и белые только снизу, а спина рябая, как у дикого гуся...

— Что ты тут сидишь? — раздается за спиной голос матери. — Зову-зову, как оглох... Небось купался? Говори по правде.

— Нет, я не купался, — оборачивается Сашук к матери. — А где рыбаки? Может, они уже утонули?

Про себя он уже давно это думает, но решается сказать вслух только теперь, когда подходит мать. А что? Раз море такая бездна, как сказал дядя Семен, и совсем без дна, тут утонуть в два счета...

— Типун тебе на язык! — сердится мать. — Вон они, вертаются уже.

— Где, где? — вскакивает Сашук, но ничего не видит. Только когда мать поворачивает его голову и показывает рукой, он различает среди слепящей ряби еле заметные букашки — лодки.

— Я, мамк, здесь подожду.

— Нечего тут сидеть. Им еще часа два ходу. Поешь, потом вместе встречать пойдем.

## КРУТОЙ ЗАСОЛ

К причалу ведут дощатые сходни с поперечинами из брусков. Между сходнями громоздится непонятная штука: от большого барака, который стоит на высоком берегу, прямо на причал опускается длинная резиновая лента. Она лежит на железных валках и похожа на желоб, такой широкий, что Сашук может лечь в него, как в люльку. Лента скрывается в большом ящике на причале, там изгибается и уже под валками снова уходит наверх, в барак.

— Это чего?

— Машина, чтобы рыбу гнать в цех, на засолку.

Сашук удивляется и не верит — как это рыбу можно гнать? Что она, дура, чтобы самой на

засолку идти?

— Не подходи к краю, упадешь, — говорит мать, но Сашук все-таки заглядывает вниз, под помост.

Там переливается, плещет зыбкая зеленоватая глубина. Раза три «с ручками». А то и четыре. Может, даже самому бригадиру Ивану Даниловичу будет «с ручками», а он дяденька — ого-го, выше всех в Некрасовке... Но все-таки за этой глубиной видно дно — ровное песчаное дно, по которому бегут легкие тени и солнечные зайчики от волн на поверхности... А где же бездна? Может, там, где лодки?

Лодки уже подходят. Два ряда весел на каждой враз поднимаются, дружно посылают Сашуку зайчиков и снова опускаются. Над лодками, горланя что есть мочи, мечутся чайки. Они обгоняют лодки, взмывают вверх, как планеры, разворачиваются, показывая толстые белые животы, пикируют вниз и кричат, кричат не переставая. Таких горластых чаек на Ялпухе нет...

Налитые серебристой рыбой лодки подваливают к причалу. Рыбаки взбираются на помост, подтаскивают к краю плоские ящики. В каждой лодке остается по два рыбака. Большими сачками они начинают перегружать рыбу в ящики. Сашук пробует пройти на конец причала к отцу, но оскальзывается на мокрых досках и падает.

— Ты зачем здесь? — кричит отец. — А ну, уходи на берег!

— Ничего, крепче будет! — говорит ему рыжий Жорка. — Пускай привыкает.

Сашук прижимается к стойке, на которую опираются валки резиновой ленты. Жорка, присев на корточки, разгребает руками рыбу в ящике. Длинных, с красивыми темными разводами на спине он бросает в особый ящик, маленьких черно-спинных швыряет обратно в море.

— А зачем? — спрашивает Сашук.

— Что, выкидаю? Так это дрянь — голыши, их даже чайки не жрут. Давай подсобляй, приучайся. Вот это — видишь, с узором на спинке — скумбрия. Рыба первый сорт, ее сюда. А это ерш, пускай здесь остается.

— Ерш не такой.

— Ну, по-настоящему это ставрида, а мы ершом зовем.

Сашук берет в руки рыбку и тотчас выпускает — в ладошки впиваются острые шипы.

В ящик шлепается бугристая толстая лепешка.

— Во, — говорит Жорка, — обед нам пришел. Видел такую рыбу? Камбала называется.

— А почему у нее глаза на спине?

— Не на спине, а на одном боку. Другим она на дне лежит. На, тащи мамке. Удержишь?

— А то нет! — говорит Сашук, хватая рыбину обеими руками.

Камбала такая тяжелая и скользкая, что ему приходится прижать ее к животу. И все-таки он не удерживает. Рыбина шлепается на помост прямо Сашуку под ноги; он падает на нее, животом на колючки. Рыбаки смеются. Сашук обижается и отходит в сторонку. Оцарапанный живот щемит и саднит; ему хочется посмотреть, как он исцарапался, и даже заплакать, но он боится, что смеяться будут еще больше, и притворяется, что смотрит на чаек. Чайки

расплываются и сдваиваются. Сашук быстро-быстро моргает, чтобы прогнать слезы.

Наполненные ящики ставят один на другой, поближе к резиновой ленте. Из сачков, ящиков падают ставридки на помост, рыбаки ступают резиновыми сапогами прямо по ним. Сашук нагибается и начинает подбирать.

— Хозяйственный хлопчик, — говорит Игнат Приходько, их сосед по Некрасовке, — еще, гляди, боцманом станет...

— Просолится как следует — будет боцман что надо, — говорит Жорка.

— А как вы рыбу будете гнать? — спрашивает Сашук. — Она же снулая.

— Сейчас увидишь. Можно давать, Иван Данилыч?

Бригадир кивает. Жорка закладывает пальцы в рот, оглушительно свистит, и тотчас что-то начинает рокотать, помост трясется, а резиновая лента ползет вверх. Рыбаки подхватывают ящик с рыбой, опрокидывают в большой ящик над резиновым желобом; она сейчас же появляется в желобе и серебристой полосой плывет в нем к барaku.

— Ты на транспортере катался? — перекрывая шум, кричит Сашуку Жорка. — Нет? Тогда поехали?

Он хватает Сашука, поднимает в воздух. Сашук взбрыкивает, но не успевает вырваться и оказывается в ползущем резиновом желобе.

— Держись крепче! — кричит Жорка.

Желоб ползет к берегу, поднимается все выше, снизу что-то подталкивает Сашука, он судорожно вцепляется в края резиновой ленты.

— Эй! — орет Жорка. — Принимай ерша в засол! Соли покруче!

Мать кричит, бежит вдоль ленты, но достать Сашука уже не может. Лента ползет все дальше и дальше. Сашук уже выше, чем сам Иван Данилович. Он хочет сползти вниз, но лента несет его выше и дальше от причала, а вокруг так пусто и страшно, а до земли так далеко, что Сашук пригибается и зажмуривается. Чьи-то руки поднимают его, снимают с ленты и ставят в лужу на цементном полу. Только тогда Сашук и открывает глаза.

— Ты что это, кататься вздумал? Вот я тебе покатаюсь! — сердито говорит чужой усатый дядька и шлепает Сашука по тому самому месту. Шлепает он не сильно, но Сашук обижается — он же не сам залез на эту резиновую штуку...

Сашук выбегает в широкие, как ворота, двери. Снизу, с причала, Жорка что-то кричит ему, машет рукой. Сашук отворачивается и идет домой.

Каждую весну ноги у Сашука в цыпках. Цыпки еще и сейчас не сошли, но уже подживали, и Сашук о них даже не помнил, а теперь их начинает щипать и жечь: лужа на цементном полу была соленая. Сашук бежит к рукомойнику во дворе, задирая по очереди ноги, обмывает растрескавшуюся кожу. Щиплет меньше, но цыпки вспухают и краснеют.

— Я говорила — подальше от этого бандюги. — Мать приносит полную кошелку рыбы, вываливает ее на стол и принимается чистить. — Он тебя обучит, доведет...

Насупившийся Сашук молчит.

Рыбаки возвращаются с причала, фыркая и крякая от удовольствия, умываются и садятся за



стол.

— Эй, Боцман, пошли рубать! — кричит Сашуку Жорка, но Сашук притворяется, будто не слышит, и нарочно садится подальше от Жорки, рядом с отцом.

Едят долго, не торопясь — отдыхают. Потом начинают разбредаться, закуривать. Сашук так наелся кулеша и камбалы, что ему лень вставать. Кутька тоже осовел, свалился, высунув язык и выпятив вздувшийся живот.

— Привез все-таки... — говорит Игнат. — Бить тебя некому.

— А за что бить? — спрашивает Жорка.

— Чтоб собаку за собой не таскал. Баловство. Собака на цепи должна сидеть. Чтобы злой была.

— А ты сам на цепи сидеть пробовал?

— Мне незачем. Сажают кого следует...

Лицо Жорки краснеет, потом начинает бледнеть, а на открытой шее вздуваются толстые жилы. Но он перемогаётся и, помолчав, говорит:

— Ладно, считай, что я пока не понял... Только ты не зарекайся — еще сядешь. За жадность. Жадности в тебе на всю бригаду хватит.

— Ты меня не воспитывай, за собой лучше гляди...

Игнат поднимается и уходит в хату.

— Кугут чертов! — сквозь зубы говорит Жорка. — Собачонок ему помешал... Как его зовут?

— Кутька, — нехотя отвечает Сашук. Он решил про себя ни за что больше не водиться с этим Жоркой, но как же не ответить, если Жорка вступился за кутенка.

— Ну, кутька... Все щенята кутьки. Надо, чтобы свое имя было, на особицу... Ишь наел пузо, выгнулось, как бимс...

— А что это — бимс?

— Балки, на которых палуба лежит... Эй, ты, — Жорка щелкает пальцами, — Бимс, иди сюда!

Кутька поднимается и, волоча по пыли живот, подходит к нему.

— Гляди-ка, сразу понял! — радуется Жорка и начинает теребить щенка.

Тот опрокидывается на спину, задирает лапы и подставляет свой вздувшийся живот, на котором сквозь редкую белую шерсть просвечивает розовая кожа.

— Да ну, — говорит Сашук и поднимает щенка на руки, — нечего над ним командовать.

Он снова идет к морю, садится над обрывом, кутька укладывается рядом. Ветер ерошит сверкающую гладь, волны у берега становятся больше, шипят и пенятся, распластываясь на

песке. Чайки бесшумно скользят на расprostертых крыльях, потом поворачивают и летят обратно, как патруль. Время от времени то та, то другая камнем падает на воду и снова взмывает вверх, держа в клюве рыбину. Чайка на лету заглатывает ее и опять неторопливо летит туда, потом обратно. А один раз большая чайка нападает на маленькую и отнимает у нее добычу. Маленькая чайка кричит, и тогда громко, пронзительно начинают кричать и другие чайки. Должно быть, они тоже возмущаются и сердятся на здоровенную ворюгу...

— Ты чего тут сидишь? Пойдем купаться?

Рыжий Жорка тихонько подходит, останавливается сзади. Сашук оглядывается на него и отворачивается.

— Никуда я с тобой не пойду.

— Что так? — Жорка садится рядом. — За транспортер обиделся? А ты не сердись. На сердитых, говорят, воду возят... Пошли.

— Не хочу. И мамка не велит с тобой.

— Почему?

— Она говорит, ты бандит.

Жорка вспыхивает и тут же бледнеет. И снова на шее у него вздуваются толстые жилы, а на щеках играют желваки, будто он катает за щеками орехи.

— Дура она, — помолчав, говорит он.

— Моя мамка не дура! — кричит Сашук.

— Ну, верно — про мамку так нельзя... Только зря она так говорит.

— И не зря! Она говорит, ты в тюрьме сидел.

— Ну, сидел...

— Вот! Значит, правда... А как это в тюрьме сидят?

— Да очень просто: запрут тебя под замок в камере — ну, в комнате такой, каменной, — и сидишь. И год, и два, и три... Какой срок дадут.

— И все время в камере? А на улицу?

— Какая уж там улица... — невесело усмехается Жорка. — Только если на работы пошлют.

— А за что в тюрьму сажают?

— Кого как — за воровство, за убийство, по-разному...

— А тебя за что?

— За дурость. Начальника одного побил.

— Разве начальников можно бить?

— Некоторых следует, только не кулаками. От кулаков все равно толку не будет, тебе же хуже...

— А за что ты его?

— Гад он был. Форменный самодур. Людей, можно сказать, мордовал... Хочет — дает работу, хочет — поставит на такую, что припухать будешь, а кто слово скажет — вовсе выгонит... Там почти сплошь бабы работали. А бабы известно: молчат да плачут. Ну, я и срезался с директором. «В чем дело, говорю, товарищ директор? У нас советская власть или нет?» — «Советской власти, говорит, такие, как ты, не нужны». — «Ах ты, говорю, мешок кишок, за всю советскую власть расписываешься? Думаешь, ты советская власть и есть?» Слово за слово. Я, когда остервенюсь, себя не помню. Сгрел чернильницу — у него здоровая такая, каменная была — и в морду... При свидетелях. Ну, мне припаяли политику, вроде я против власти. Десятку дали. Пять лет отсидел, похлебал соленого. Потом пересмотрели, выпустили... Это давно было, в пятьдесят втором...

— А где он теперь, этот... самордуй?

— Самодур? Не знаю... Может, и сейчас в начальниках ходит. Да черт с ним!.. Пошли искупаемся, жарко.

— Не... Дядя Семен сказал, там дна нет.

— Как это — нет? Дно везде есть. Или ты плавать не умеешь?

— Умею. Только я боюсь, если без дна.

— Есть дно, есть. Пошли, вместе достанем.

Неподалеку от причала обрыв переходит в пологий откос. Разъезжаясь ногами в раскаленном песке, они сбегают по откосу к воде. Кутька кубарем скатывается следом, потом долго трясет головой и чихает.

## НОЧНОЙ ДОЗОР

— Вон оно, дно, видишь? — говорит Жорка, раздеваясь.

— А там? — показывает вдаль Сашук.

— И там есть, только глубоко. И туда тебе плыть нельзя — утонешь.

— А чего это у тебя нарисовано? Разве на человеках рисуют?

На груди у Жорки синими точками наколоты бубновый туз, бутылка и женская нога. И сверху написано: «Что нас губит».

— Дурость! — отмахивается Жорка. — На дураках и рисуют.

— Ты разве дурак?

— Был. Может, и сейчас малость осталось.

Он разбегается, ныряет и так долго плывет под водой, что Сашук начинает думать, что он уже захлебнулся и утонул.

— Давай, Боцман! — кричит, отфыркиваясь, Жорка. — Ныряй!

Сашук набирает в себя побольше воздуха — у него даже щеки надуваются пузырями, — складывает ладошки возле самого носа, ныряет и... едет животом по песку на мелководье. Жорка хохочет.

— Чудик! Что ж ты землю пузом пашешь?

— А если тут мелко? — обиженно говорит Сашук.

— На тебя не угодишь — то глубоко, то мелко. — Жорка подплывает ближе, становится на ноги и пригибается. — Влезай на плечи.

Сашук вскарабкивается, вцепляется в его рыжие волосы. Жорка распрямляется, и Сашуку даже жутко становится, так высоко он поднимается над водой, — Жорка только чуть-чуть поменьше Ивана Даниловича.

— Готов? Але-оп!

Жорка встряхивает плечами. Сашук, не успев сложить ладошки, враскорячку, как лягушонок, плашмя плюхается в воду.

— Ну как?

— Здорово! — кричит Сашук. — Бимс, сюда!

Кутенок стоит у самого уреза, пятится от набегающих волн и тьякает. Сашук ловит его, подняв на руки, несет в воду. Кутенок скулит и вырывается. Сашук заходит по грудки, пускает щенка. Тот захлебывается, фыркает и отчаянно молотя лапами — плывет. Сашук идет следом и хохочет. Выбравшись на песок, Бимс трясет головой, висячие уши шлепают его по морде, как мокрые тряпки.

— Тут лучше купаться, чем у нас в Ялпухе, — говорит Сашук, совсем уже запыхавшись и улегшись на песок.

— Вода соленая, сама держит.

— А почему никто не купается, рыбаки наши?

— Они уже старые, им не хочется.

— Так ты ведь тоже старый.

— Еще не очень — только тридцать два года... Пошли, а то мамка тебя хватится, шухер поднимет.

Они поднимаются по откосу.

— Там чего? — показывает Сашук на решетчатую башню со скворечницей наверху.

— Пограничная вышка. Пограничники сидят, границу сторожат.

— От шпионов?

— Ну да.

— Пойдем посмотрим.

— Чего там смотреть? Да и они увидят — прогонят.

— А если ночью? Они и не увидят.

— Ночью, брат, спать надо.

— А там чего?

— Дот был. Немецкий.

Развалины дота недалеко от обрыва. Из уцелевших оснований бетонных стен торчат скрюченные железные прутья, покореженные балки. Щебень, присыпанный землей, зарос бурьяном. Сашук пробует обхватить остаток стены, но пальцы его не дотягиваются до краев. От дота, немного не доходя до обрыва, змеятся осыпавшиеся, заросшие окопы.

— Может... — с надеждой в голосе говорит Сашук, — может, тут пули остались, а? Давай поищем?

— Как же, двадцать лет лежат, тебя дожидаются... Вон мамка бежит, сейчас она отошьет тебе пулю.

Мать быстро-быстро идет им навстречу. Она даже не смотрит на Жорку, будто его совсем и нет, шлепает Сашука, хватая его за руку и тащит к дому. Только когда Жорка остается далеко позади, она сердито шипит:

— Сколько раз говорила, чтоб ты к этому бандюге не липнул!

— Так он совсем не бандюга, мам, он рассказал... Ой, ну чего ты дерешься?.. Будешь драться, и тебя в тюрьму посадят.

— Вот я тебе покажу!..

Сашук, извернувшись, вырывается и убегает.

— Беги, беги, домой все равно придешь!

Сашука угроза не пугает: мать отходчива, долго сердиться не умеет.

Она и в самом деле отходит и, когда Сашук прибегает обедать, не только не шлепает его, но даже ни слова не говорит. После обеда мать моет посуду, потом начинает перетирать. Сашук садится в холодке за крылечком, рядом укладывается Бимс и тут же засыпает. Разомлевшего от еды Сашука тоже клонит в сон, он едва не засыпает, но в это время из барака на крыльцо выходит Жорка. Сашука он не замечает, идет прямо к матери. Она искоса взглядывает на него и тотчас опускает взгляд на посуду.

— Слышь, Настя... — говорит Жорка.

Мать слегка поворачивает к нему лицо, но глаз не поднимает.

— Ты чего мальчика от меня шугаешь?

— Ты ему не компания.

— Ему тут никто не компания — одни старые хрычи.

— Хрычи не хрычи, да уж и не замаранные...

— А я замаранный? Я что, убил кого или ограбил?

— Я там не знаю... — говорит мать и так сердито трет полотенцем миску, будто хочет повертеть в ней дырку.

— Так ты спроси!

— Не мое это дело, незачем и спрашивать.

— А зачем словами кидаться? «Бандит», «в тюрьме сидел»...

— А скажешь — нет? — вскидывается мать.

— Ну сидел... Так ведь за что? За таких вот дур вступился...

Мать молча трет все ту же миску, потом говорит:

— Сказать все можно...

— «Сказать»!.. — повторяет Жорка. — За словами человека видеть надо... Эх, ты!

Он поворачивается и, опустив голову, уходит в барак, а мать исподлобья смотрит ему вслед.

— Ну чего ты к нему привязалась, мамка? — говорит Сашук. — Он же...

— Цыц! — кричит мать и в сердцах замахивается полотенцем. — Ты еще туда же...

Перед вечером рыбаки снова уходят в море. Сашук вместе с Бимсом провожают их до причала, потом сидят на причале и смотрят им вслед, пока лодки не становятся совсем крохотными. Тогда Сашук свистит Бимсу и идет к бывшему доту. В конце концов, откуда Жорка знает? Вдруг что-нибудь там осталось и никто не нашел, а он, Сашук, найдет? Некрасовские ребята прямо треснут от зависти...

Как он ни старается, ничего не находит. Всюду верблюжья колючка, репейник, бетонный щебень и раскаленная солнцем пыль. Сашук только зря искалывает руки и весь исцарапывается. Тогда он начинает играть в войну. Залегает в осыпавшийся окоп и строчит из пулемета по фашистам: та-та-та-та-та... Одному играть скучно, и мешает Бимс. Он бегаёт без всякого толку и не понимает никаких команд. А когда Сашук по-пластунски ползет в разведку, Бимс начинает лаять и хватать Сашука за пятки. Какая уж тут разведка...

Сашук бежит к пограничной вышке, но скоро переходит на шаг, потом останавливается. Возле лестницы, поднимающейся к будке, привязана лошадь. Она переступает с ноги на ногу и отмахивается хвостом. Может, там кого уже поймали?.. Ему очень хочется подойти поближе и рассмотреть все как следует, но он заранее знает, что его прогонят. Если бы еще солнце не так ярко светило, тогда можно бы подобраться незаметно, но солнце, хотя и стоит низко, светит вовсю, а степь голая, как цыганский бубен, никуда не скроешься, его издали заметят и обязательно шуганут. Большие ведь всегда думают, что только им все интересно, а маленькие пускай как хотят...

Сашук бредет домой. Он хочет дождаться возвращения рыбаков, но мать заставляет его есть, потом он кормит Бимса, а потом глаза у него начинают слипаться, и просыпается он уже ночью, на топчане.

За перегородкой наперебой храпят рыбаки. Отец, и мать тоже спят. Спит и Бимс на полу возле двери. В окно над самым подоконником заглядывает луна. Сашук тихонько сползает с

топчана, идет к двери. Бимс пытается свернуться калачиком, но вздувшийся живот мешает, и он опять распластывается на боку, раскинув лапы.

Чтобы далеко не ходить, Сашук пристраивается тут же у крылечка. Луна, совсем не некрасовская, а какая-то непохожая — огромная, наливающаяся красным, — висит над горизонтом. И во дворе и в степи все-все видно, только совсем иначе, чем днем. Призрачно и печально. Пограничная вышка черным пятнышком торчит среди редких звезд.

А что, если сейчас пойти и посмотреть, как они ловят шпионов? Сашук дома тоже ловил. В плавнях. Там здорово трудно ловить, когда ребята спрячутся в камышах. Так ведь то понарошку...

Сашук осторожно шагает и прислушивается. Из хаты доносится храп. Бригадир Иван Данилович всегда храпит ровно и густо, как трактор на холостом ходу... Сашук шагает дальше. Ноги утопают в теплой пыли, и шаги совсем не слышны. Он ныряет под изгородь, бежит к вышке. Вот уже и бугры разрушенного дота, осыпавшихся, заросших окопов. Сашук переходит на шаг, оглядывается по сторонам. Нет, он нисколечко не боится, но все-таки ему становится жутко: там же мертвяки, убитые фашисты... Днем они ничего не могут, а ночью?..

Где-то поблизости пронзительно свирит цикада. Сашук останавливается. Снова тихо. Бугры немые и неподвижные. И вдруг он видит, что из земли торчат скрюченные руки... Сашук обмирает, холодеет и только собирается заорать и дать деру, как вспоминает, что днем уже видел их, и это совсем не руки, а погнутые железные балки. Сашук переводит дух. Ну чего, в самом деле? Фашистов тут убивали, но хоронили где-нибудь в другом месте... Значит, никаких мертвяков тут нет! Озираясь по сторонам, Сашук тихо и осторожно, как по стеклу, проходит мимо бугров. Спина у него становится деревянная, дыхание все время перехватывает. Бугры остаются позади. Сашук идет быстрее, потом бежит. Вышка уже недалеко. Из-за бугра выглядывает только краешек багровой луны. Он тает, исчезает, и сразу вдруг становится совсем темно... Сашук бежит вперед что есть духу, натывается на лестницу вышки и вцепляется в нее.

Вокруг стоит тишина. В черном небе мерцают редкие звезды. Рядом топырится кустик верблюжьей колючки. И больше не видно ничего — ни бригадного барака, ни развалин дота. Далеко вверху торчит будка, и кто-нибудь там, наверно, сидит. А если нет? Сашук прислушивается, но ничего не слышит.

Только тогда Сашук понимает, что он наделал. Один, совсем как есть один в пустой, черной степи. Нигде ни души, а между ним и бригадным бараком, где спят отец и мать, разрушенный дот и окопы со всеми своими мертвяками. Вцепившись в лестницу, Сашук тихонечко, как кутька, скулит от страха.

Лестница скрипит под тяжелыми шагами, кто-то трогает его за плечо.

— Малчик? Зачем здес? Пачиму плячишь?

— Я не плачу, — всхлипывает Сашук.

— Зачем сюда пришел? Где твоя папашка-мамашка? А? Иди к ней.

Сашук оглядывается в страшную пустоту, которая отделяет его от бригадного барака, и отчаянно мотает головой.

— В чем дело, Хаким? — кричит кто-то сверху.

— Баранчук... Малчик маленький. Плячит-плячит, — отвечает Хаким.

— Какой мальчик?

— Сам не панимаю — малчик, и все.

— Тащи сюда, разберемся.

Хаким берет Сашука на руки и несет вверх по лестнице. В лицо Сашука упирается ослепительный лучик света.

— Ты чей? Откуда?

Ослепленный светом, Сашук жмурится.

— Там, — машет он рукой, — там мамка. И рыбаки. Папка тоже там.

— А сюда зачем?

— Посмотреть.

— Нечего тут смотреть, беги к мамке!

— Не пойду, — говорит Сашук и пятится, пока не упирается в стенку будки. — Там темно. Я боюсь.

— Сюда идти не боялся? Дойдешь и обратно.

— Да, как же! — говорит Сашук. — Тогда луна светила...

— Все равно, тут посторонним не положено. Понятно?

Солдат с поперечными нашивками на погонах говорит очень сердито. Вместо ответа Сашук начинает опять всхлипывать.

— А вот плакать совсем не положено, — еще сердитее говорит солдат с нашивками. — Пришел к пограничникам и ревешь. Какой тогда из тебя солдат?

— Я же ж маленький, — всхлипывает Сашук.

— Привыкнешь маленький — и взрослый расквасишься. Отставить плакать! — командует солдат.

— Я б-больше не буду...

— И отвечать надо, как положено: есть отставить плакать!

— Есть отставить! — повторяет Сашук. — Только вы меня не прогоняйте. Я ничего не буду трогать и баловаться не буду.

— Пускай сидит, а? — говорит Хаким.

— Не положено. И там мать-отец хватятся, подумают — пропал.

— Так я же не пропал! — говорит приободрившийся Сашук. — Я с вами!

— Ладно, сиди пока. Вот придешь домой, отец тебе заднее место ремнем отполирует!

— Не, — вздыхает Сашук, — он уши драть будет...

— Ухи — тоже доходчиво.

Будка совсем маленькая и пустая. Дверь, три оконных проема и скамейка. Ничего



интересного. Солдаты стоят возле оконных проемов и смотрят. Сашук приподнимается на цыпочки, тоже заглядывает в проем, но ничего не видит. Вокруг темным-темно, только сверху подмигивают разгорающиеся звезды. Вдруг справа темнота взрывается. Дрожащий голубой столб света ударяет вверх, наклоняется — и внезапно появляются четкие, резкие, будто они совсем-совсем рядом, голубой обрыв над морем, пучки травы на нем; потом выпрыгивает из темноты далекий причал с транспортером, поглубевший бригадный барак сверкает бельмами оконных стекол.

— Чего это? — тихонько спрашивает Сашук.

— Прожектор.

— Он смотрит, да?

— Он светит. А смотрим мы.

Столб пронзительного дрожащего света, обшарив берег, бежит вправо, в нем начинает сверкать волновая рябь моря. Световой столб отворачивает все дальше и дальше вправо, потом вдруг исчезает, и вместо него перед глазами Сашука долго дрожит над морем черная полоса. Солдаты опускают бинокли.

— Вам тут хорошо шпионов ловить, — говорит Сашук. — С прожектором. Все видно. И плавней нет. А у нас в Некрасовке такие плавни на Ялпухе, как кто спрячется — ни за что не найдешь...

— Найдут и в плавнях.

— Разве с собакой, — сомневается Сашук. — У нас в Некрасовке тоже вышка есть. Только там не пограничники, дедушка Тарасыч сидит. И ружье у него большое. Куды больше ваших... Он, когда в виноградник кто залезет, ка-ак бабахнет! Солью.

— А что, лазят за виноградом?

— Лазят.

— И ты?

— И я, — помолчав, говорит Сашук.

— Так ведь воровать нехорошо.

— Конечно, нехорошо, — вздыхает Сашук. — А винограда-то хочется... Ребята идут, и я с ними...

— Разве так не дают?

— Ну — так! Так неинтересно... А скоро они полезут?

— Кто?

— Шпионы.

Солдаты смеются.

— Они заранее не объявляют.

— А когда полезут, вы будете стрелять?

— Там видно будет.

— А можно, я разок стрельну?.. Ну хоть поддержку немножко, а?

— Автомат не игрушка. И вот что: на посту разговаривать не полагается. Раз попал в солдаты, делай как положено. Садись сюда на скамейку и веди наблюдение. Что надо ответить?

— Есть вести наблюдение.

— Давай действуй.

Сашук уставляется в оконный проем, но как ни старается, кроме звезд вверху и слабых отблесков их в море, ничего не видит. Смотреть в темноту скучно, и Сашук раза два клюет носом в дощатую стенку. Тогда он прислоняется к ней поудобнее, вплотную.

— Вот и порядок, — говорит над ним солдат с нашивками, — солдат спит, а служба идет...

— Я совсем и не сплю, — говорит Сашук.

Конечно, он не спит. Просто на дворе совсем-совсем темнеет. Даже звезды гаснут. И солдат не видно. Но он же слышит, как они разговаривают, — значит, не спит... Просто ему наяву начинает казаться, что он видит сон. Солдат с нашивками и Хаким ходят от окошка к окошку и выглядывают. И Сашук тоже ходит и выглядывает. Потом солдат с нашивками вдруг останавливается и говорит:

«Какой же ты солдат без оружия? На, держи!»

Он снимает с себя автомат и надевает Сашуку.

«Насовсем?» — замирает от восторга Сашук.

«Конечно, насовсем».

Сашук сжимает автомат что есть мочи. Теперь пусть только шпионы полезут! Он как даст очередь: та-та-та-та-та...

— Что такое? — говорит Хаким. — У рыбаков свет зажгли, с фонарями бегают...

— Случилось что-то... Рядовой Усманов, пойти выяснить... Слышь, Хаким, прихвати и его, нечего ему тут кунять.

И Сашуку уже кажется, что он плывет вроде как в лодке — он не двигается, а его покачивает. И потом вдруг раздается крик, его хватают на руки, и так крепко, что ему становится больно...

Он на руках у матери, а над ним склоняются Иван Данилович, Игнат и Жорка. В руках у них «летучие мыши».

— Федор! — кричит в сторону Жорка. — Не ищи. Нашелся!

— Ты что ж, поганец? — говорит Иван Данилович. — Люди после работы, а тут за тобой по ночам бегай...

— Баловство все! — бурчит Игнат. — Незачем и брать было...

Топоча сапогами, из темноты выбегает отец.

— Вот я тебе покажу! — еще издали кричит он.

— Потом, потом, Федор! — кричит Иван Данилович. — Ночь, людям спать надо... Спасибо, солдат! — говорит он Хакиму.

— Пачиму паника? — спрашивает тот.

— Поганца этого искали... Думали, утоп. Где он был?

— К вышке пришел, в пограничники хочет, — смеется Хаким.

— Отец ему пропишет пограничников.

Мать уносит Сашука домой, кладет на топчан. Сашук утыкается в подушку и горько всхлипывает. Не потому, что он боится завтрашней выволочки. Выволочка сама собой. Ему обидно, что никакого автомата у него нет, а значит, и не было, и все ему только приснилось.

## ЗВЕЗДОЧЕТ

Уши у Сашука горят. Не потому только, что отец оттрепал утром за уши, — за ночь он пересердился, оттрепал не сильно, для порядка. Над Сашуком смеются рыбаки. Сегодня воскресенье, и утром они в море не пошли — отдыхают. После завтрака долго сидят за столом, разговаривают про разные разности, потом мало-помалу разбредаются. Мать и отец уходят в село Николаевку, в магазин. Идти туда далеко, и Сашука они с собой не берут. Сашук бегает с Бимсом по двору, пока оба не высовывают языки от жары и усталости. Потом они тоже идут к лавке рыбокоопы, где уже давно собралась вся бригада. Лавка стоит у дороги, недалеко от бригадного барака. Дальше за ней редкой цепочкой тянутся первые хаты Балабановки. Туда Сашук не ходит. Мать не велит — раз, а потом Сашук издали видел, что там бегают большие мальчишки и собаки, и он опасается, как бы они не обидели Бимса. И его тоже..

Рыбкооповская лавка — обыкновенная хата, только что под железной крышей да перед входной дверью большое, широкое крыльцо. На нем стоят четыре стола на козлах и скамейки. Здесь нет солнца, а с моря задувает прохладный ветерок. Рыбаки сидят за столами и «дудлят», как говорит мамка, «червонэ». Это темно-красное вино в узких бутылках. На бумажных наклейках нарисована большая рюмка. Рыбаки пьют не из рюмок, а из мутных граненых стаканов. На столах много пустых бутылок, значит, они уже здорово «надудлились» своего червоного — лица стали краснее, а голоса еще громче, чем всегда. Громче всех говорит, конечно, Жорка. Недаром его зовут горластым. Он даже не говорит, а просто кричит. Рубаха у него расстегнута сверху донизу, на шее вздулись толстые жилы.

— Нет, ты скажи, — кричит он Игнату, — чем тебе спутники мешают?

Игнат не пьет. Перед ним нет ни стакана, ни бутылки, но он все-таки закусывает: сосет принесенную с собой вяленую ставридку.

— Боров! Ты ж чистый боров! — кричит Жорка. — Только то и видишь, что перед рылом, что бы сожрать можно...

— Я — хозяин, — говорит Игнат. Губы у него трясутся. — Человек самостоятельный, а не пустодом, как ты. Мне про семью думать надо.

Он аккуратно завертывает в обрывок газеты недоеденную ставридку, поднимается и уходит.

— Чего ты к нему пристаешь, Егор? — спрашивает Иван Данилович. — Зачем дразнишь?

— Не люблю жмотов. Он из-под себя все съест готов.

— Ну и пускай. Лишь бы тебя не заставлял. И орать незачем.

— Я виноват, что у меня голос такой?

— В тебе не голос — червоное в тебе кричит... Ты мне что обещал? Вон носишь у себя на грудях наглядную агитацию — посматривай на нее почаще.

Жорка трогает ворот рубахи, и тогда всем становится видна наколотая синими точками бутылка и надпись сверху: «Что нас губит». Все грохочут. Жорка вспыхивает, но сдерживается и машет рукой.

— Ладно, Данилыч, точка! Счас спать пойду... А, Боцман! — Он явно рад поговорить о другом. — Ну как, уши на месте или батька совсем оторвал? Ничего, целы, теперь шибче расти будут... Да ты не надувайся, ты лучше расскажи, как ночью к пограничникам ходил. Не боялся?

— Не. Даже мертвяков не испугался.

— Каких мертвяков?

— Ну, фашистов. Которые в доте.

— А ты их видел?

— А то нет! Конечно, видел.

Теперь ему и в самом деле кажется, что ночью он своими глазами видел мертвых фашистов, и он хочет рассказать, какие они, но рыбаки так начинают хохотать, что он умолкает и сползает со скамейки.

— А ну вас, — обиженно говорит он, — а еще большие... Пошли, Бимс.

Через несколько шагов его догоняет Жорка.

— Ты это, — заплетающимся языком произносит он, — ты давай не сердись. Беда большая — посмеялись чуток. От этого не облиняешь... Пошли, я утром тебе подарок припас, только ты спал.

Сашук молчит. Сгоряча он даже собирается сказать, что нечего подлизываться, не нужны ему подарки, раз над ним смеются, но ему хочется узнать, что припас Жорка, и он молчит. Сказать можно и потом, если подарок окажется неинтересным.

В бригадном бараке Игнат горбится над раскрытым сундучком.

— Мильоны пересчитываешь? — кричит ему Жорка.

Игнат, не отвечая, поворачивается так, чтобы спиной закрыть сундучок.

Жорка заглядывает под свою койку, озадаченно чешет за ухом.

— Ага! Я же во дворе спрятал...

В углу двора из-под вороха старых рваных сетей он достает оплетенный мелкой сеткой стеклянный шар. Шар огромный — с Сашукову голову, может, даже больше. Сашук немеет от восхищения, осторожно берет шар в руки. Он шершавый — облеплен высохшими ракушками, заскорузлая сетка прикипела к стеклу. От шара пронзительно пахнет морем и солью.

— Ну как, годится?

— Спрашиваешь!.. А это что?

— Кухтыль... Поплавок, на которых сети держатся, чтобы не утонули.

— А где?..

— Море выкинуло. А я подобрал. Еще б одну штучку найти, веревкой связать — и на таких пузырях куда хочешь плыви.

— И на глыбь?

— Говорю, куда хочешь.

Жорка уходит «храпануть», а Сашук бережно несет кухтыль под навес, укладывает на обеденный стол и рассматривает со всех сторон. Стекло толстое, зеленоватое. Оно такое сделано или стало зеленым оттого, что плавало в море?.. Может, и в середине что-нибудь есть? Но серединку рассмотреть трудно — сетка мелка и густо облеплена ракушками. Они так плотно приросли, что никак не отколупываются; ноготь сломался, а ни одна не стронулась...

В дверях хаты появляется Игнат Приходько. Он подходит, берет кухтыль, вертит его в руках.

— Бесполезная вещь. Хотя... если разрезать пополам, полумиски будут.

— Отдай, — говорит Сашук, — не надо мне полумисков, мне кухтыль нужен, я на нем плавать буду.

— Баловство, — говорит Игнат и вздыхает. — Растешь ты, как репей, некому тебя к рукам прибрать...

— Дядя Гнат, — спрашивает вдруг Сашук, — а кто это кугут?

— Ну... вроде как кулак, скупой и жадный.

— А ты вправду скупой и жадный?

— Тебя кто подучил?

— Никто не подучивал, просто Жорка говорит — ты кугут.

— Ты его поменьше слушай, дурошлѐпа. От него добра не наберешься. Ты к самостоятельным, хозяйственным людям приглядывайся, до них примеривайся.

— Как ты?

— Как я. И другие прочие. Кто тихо живет и про завтрашний день думает. Ты еще малой, а все равно должен соображать. Вот этого горлопана возьми. Что от него? Шалтай-болтай, живет врастопырку. Ни кола ни двора, штанов лишних и то нет...

Это Сашук знает. Все Жоркино имущество помещается в обтерханном чемоданишке, у которого даже замки не запираются, клямки так и торчат кверху, и он перевязывает крышку бечевкой. Да зачем его и запирают, если он полупустой: кроме застиранных рубаш да пары трусов, ничего в нем и нет. А у Игната сундучок аккуратный, прочный. Что в нем, Сашук не видел, так как сундучок всегда заперт висячим замком, а если Игнат его открывает, то обязательно поворачивается так, чтобы никто заглянуть не мог.

— Горлопан этот, — продолжал Игнат, — человек как есть бесполезный. Что заработал, почитай, все и пропил. Неизвестно, для чего и живет.

— А для чего человек должен жить?

— Для пользы! Всякая вещь и человек должны быть для пользы.

— И я?

— Ну, пока пользы от тебя, как от козла молока, только зря хлеб жуешь. Ты еще несмышленишь, вроде кутенка своего. Вот и должен с малолетства привыкать себе на пользу стараться...

Последнюю фразу Сашук уже не слушает.

— Ну и ладно, — говорит он, — ну и пускай мы бесполезные...

Он уносит кухтыль домой, закатывает под топчан и еще прикрывает сверху ветошкой, чтобы никто не увидел. А что делать дальше? Отец и мать придут не скоро, да и что от них? Мать примется стряпать обед, отец уйдет в лавку, к рыбакам. Пойти и ему в лавку? Снова поднимут на смех. Хорошо бы с Жоркой пойти купаться, — нырять, взобравшись ему на закорки, жутковато, но весело. Однако Жорка за перегородкой храпит так, что барак трясется. Не будить же...

Сашук идет к причалу. Цех заперт, транспортер неподвижен, ящики для рыбы пусты. Лодки, привязанные к причалу, раскачиваются, стучаются бортами о сваи. Хорошо бы спрыгнуть в лодку и покачаться на волнах, но Сашук боится, что до лодки ему не допрыгнуть. На узкой песчаной полосе вдоль обрыва нет ни души. Даже чайки куда-то подевались. Внезапно Сашука осеняет: вдруг море выкинуло еще один кухтыль?.. Если Жорка нашел, может, и он найдет?

Ноги вязнут в сыпучем песке, от раскаленного солнцем глинистого обрыва пышет жаром. Сашук сворачивает к урезу. Мокрый песок плотен, ноги то и дело окатывает теплая волна. Сашук старательно рассматривает все, что море вынесло на берег. Кроме бурых водорослей и всякой мелкой дряни, ничего здесь нет. Было бы совсем скучно, но время от времени волна подгоняет к берегу мелких, с блюдечко, медуз, и Сашук их зафутболивает. Жорка научил его не бояться медуз и различать, какие обжигают, а какие нет.

Поравнявшись с пограничной вышкой, Сашук задирает голову и долго присматривается. Пограничников не видно. Прячутся или, может, днем их там вовсе нет?

Здесь берег изгибается, и за выступом обрыва скрывается ставший совсем маленьким причал. Сашук устает, но упрямо идет дальше: он не теряет надежды найти если не кухтыль, то хоть что-нибудь.

И он находит. На сухом песке, раскинув лапы и клешни, подставив солнцу белесый живот, лежит большой краб. Сашук видел только живых, когда они воровато, боком, пытались выбраться из вороха рыбы и удрать, а рыбаки хватили их и швыряли за борт. Этот лежит неподвижно и даже не шевелится, когда Сашук бросает в него пучок сухих водорослей. Сашук трогает его щепкой, переворачивает спиной кверху. От краба врассыпную кидаются какие-то букашки. Сашук осторожно берет его за панцирь, окунает в воду. Но краб не оживает, не шевелит ни одной лапкой. Он здоровущий — один панцирь больше Сашуковой ладони. А клешни такие, хватит — не обрадуешься... Сашук собирается его закинуть, потом передумывает. Если его как следует засушить, положить в коробочку да привезти в Некрасовку... Он осторожно кладет краба за пазуху и поворачивает обратно.

За поворотом на полпути к причалу стоит человек. Какой-то чудик. В трусах и разрисованной рубашке. На голове белый малахай с бахромой, а на носу очки с толстыми стеклами. Лицо молодое, безусое, но по щекам и под подбородком торчит короткая борода. Чудик держит в руках удилище и так внимательно смотрит на поплавок, что даже не замечает, как Сашук подходит ближе, останавливается, потом садится за его спиной. Поплавок удочки болтается на волнах, вдруг ныряет. Чудик дергает удилище — с лески срывается и шлепается в воду маленький краб.

— Ворюги, грабители, подводные гангстеры... — беззлобно произносит чудик, рассматривая пустой крючок. — Вас даже нельзя обругать подонками, поскольку это ваше естественное состояние...

Он оборачивается к консервной банке, стоящей сзади, и замечает Сашука.

— Я и не знал, что у меня появилась аудитория... Откуда ты, прелестное дитя с облупленным носом?

— Он от солнца, — объясняет Сашук и трогает пальцами шелушащийся нос.

— Несомненно, несомненно... — бормочет чудик, ковыряя пальцами в консервной банке. — Молодой человек!

— То вы меня?

— Кого же еще? Из нас двоих ты, несомненно, самый молодой. И столь же несомненно — туземец. Подводные ворюги сожрали весь мой запас. Не знаешь ли, где можно накопать червей?

— Их и копать не надо. Они везде есть.

— Как это — везде?

— А вот...

Сашук приседает на корточки и горстями отбрасывает мокрый песок с уреза. В песчаной кучке извивается несколько красных червяков с ярким золотистым отливом.

— Ого! Ты, я вижу, отлично осведомлен.

— И вот, и вот... — говорит Сашук, разгребая песок в другом месте. — Их тут прямо тыщи.

— По всем вероятностям, даже несколько больше... Спасибо за науку. Теперь мне не надо будет

рыться в навозе и вообще...

— А вы чего-нибудь уже поймали?

— Хвастать особенно нечем. Одну диковину поймал, но такой ядовитой раскраски, что не уверен, будет ли ее есть даже хозяйская кошка.

Он вытаскивает кулан и показывает.

— Зеленушка, — говорит Сашук. — Кошка — будет.

— Стало быть, труды не пропали напрасно... Тогда продолжим, — говорит чудик и забрасывает удочку. — Так кто же ты и откуда взялся?

— Я не взялся, я тут живу.

— Прелестно, прелестно... — говорит чудик, снова дергает удочку, и она снова оказывается пустой. — Ну и как тут... вообще?

— Хорошо.

— Что хорошо?

— Все хорошо, — не понимая, чего он добивается, говорит Сашук.

— Что ж, посмотрим, посмотрим... — бормочет чудик, занятый удочкой.

Сашук долго не решается, потом все-таки спрашивает:

— А зачем у вас борода?

— Разве так плохо?

— Не потому что. Которые с бородой, те без штанов не ходят.

— В самом деле? — говорит чудик, бросая взгляд на свои шорты. — Это я как-то не учел... А борода мне обязательно нужна. Все звездочеты носили бородки, бороды, даже бородищи. Вот и я отрастил. Для солидности, а также красоты.

— Разве вы звездочет? — недоверчиво спрашивает Сашук.

— Не совсем, но вроде... Есть такая наука — астрофизика. Слыхал? Впрочем, тебе рановато... А про космос слышал?

— Космос я знаю, — говорит Сашук. — Это где Гагарин летал.

— Ну вот, Гагарин летал, так сказать, поблизости. А я изучаю предметы более отдаленные...

— Тут?

— Нет, не тут. Сюда я привез свое семейство, полоскать в море. Вон оно поджаривается там на солнце.

В отдалении под навесом из простыни кто-то лежит, но Сашук только мельком взглядывает в ту сторону. Семейство его не интересует. Он подсаживается к чудику поближе. Не каждый день встречаются живые звездочеты.



АНУСЯ

— А как вы их считаете, звезды? — спрашивает Сашук.

— Я не считаю, а изучаю. Все звезды пересчитаны и переписаны, как допризывники.

— Все до единой?

— До единой. В пределах наших возможностей, конечно.

Сашук недоверчиво смотрит на него снизу, стараясь поймать взгляд, но толстые стекла очков без оправы заслоняют глаза чудика и нельзя понять, всерьез он или понарошку. Сашук долго раздумывает, потом все-таки задает вопрос, который давно его занимает.

— А правда, у каждого человека своя звезда? Как он рождается, так и звезда загорится. А как помрет, так и звезда падает...

— Ну, это чепуха! Звезды не падают. Падает, так сказать, звездный сор, всякого рода космический мусор. Потом, звезд значительно больше, чем людей на земле, и до людей им никакого дела нет... Хотя вообще, иносказательно... В известном смысле у каждого человека есть своя звезда. Или, во всяком случае, должна быть. По идее.

— И у меня?

— И у тебя. Чем ты хуже других?

— А где? Вы мне покажете?

— Вот уж нет! Каждый сам должен найти свою звезду.

— А как?

— Как бы тебе сказать?... Главное — не лениться. Для начала полезно, например, привыкнуть рано вставать.

— До света?

— Уж чего лучше.

— Так ведь спать хочется!

— Вот-вот! Лень, спать хочется... Другой не только свою звезду, всю жизнь готов проспять. А она в общем-то коротковата. К сожалению.

— А если рано встану, так сразу и увижу?

— Может, не сразу, но рано или поздно увидишь.

— А потом?

— Что — потом?

— Чего будет, когда найду?

— Ну... будешь знать, куда идти, что делать... Так, сейчас моя дорогая дочь распугает последнюю рыбу...

По кромке воды, взметая брызги, к ним бежит девочка в голубом платье и белой панаме.

— Папа, папа, много поймал? — кричит она издали, потом замечает Сашука, умолкает, переходит с бега на шаг, вышагивает чинно, почти чопорно и делает вид, что Сашука вовсе не заметила.

— Не корчи кисейную барышню, — говорит ей отец. — Видишь, даже на этом пустынном берегу для тебя нашелся Дон-Жуан, — показывает он на Сашука.

— Никакой я не Дон, — отзывается тот. — Я Сашук.

— Прелестно! — отвечает бородач. — Знакомьтесь в таком разе.

Девочка дергает пальцем резинку от панамы и с любопытством рассматривает Сашука. Резинка звонко щелкает ее по подбородку. Потом она протягивает сложенную дощечкой ладошку и говорит:

— Ануся.

Сашук сидит неподвижно, искоса смотрит на ладошку, потом снова на Анусию. Она совсем не такая, она из какого-то другого мира, и он не знает, что надо делать, как держать себя с ней, и потому сидит неподвижно и только смотрит.

Девочка делает гримаску, пожимает плечами и опять начинает дергать резинку.

— Нельзя сказать, чтобы ты был очень галантен с барышнями, — говорит бородач.

Девочка смеется, короткий носик ее морщится. Сашук не понимает, но краснеет. Сначала он хочет сказать, что с девчонками не водится, но слова эти почему-то с языка не идут. Может, потому, что она совсем не похожа на разбитных, горластых некрасовских девчонок. Почему она такая белая? Наверно, ее без конца мылом шуруют...

Сашук не знает, что делать, и наливается краской еще больше. Потом вдруг вспоминает, лезет за пазуху и достает свою находку.

— На. Хочешь?

Ануся отступает на шаг, серо-голубые глаза ее округляются.

— Это кто? — спрашивает она.

— Краб. Бери, не бойся — ондохлый, не укусит.

— Не хочу, — говорит Ануся и прячет руки за спину. — Он плохо пахнет.

— Так что? Повоняет и перестанет.

— И крабы совсем не такие, — качает головой Ануся. — Они в банках.

— Стыдись, Анна! — говорит отец. Он не смотрит в их сторону, но, оказывается, все видит и слышит. — В банках вареные. А этот прямо из моря. Ты как хочешь, я бы взял, — ценная вещь, по-моему.

Ануся оглядывается на отца и осторожно, двумя пальчиками берет краба.

— Идите, граждане, побегайте, что ли, — говорит Анусин отец. — И вы сразу убьете двух зайцев: познакомитесь поближе и снимете с моей души камень педагогических забот...

— Про какой он камень? — спрашивает Сашук, когда они отходят.

— Не обращай внимания, — говорит Ануся. — Папа всегда немножко странно выражается.

Краб ей нравится все больше. Запах уже не отпугивает, она вертит колючее чудище в руках, рассматривает со всех сторон. Потом так же обстоятельно начинает рассматривать Сашука.

— Ты так всегда ходишь? — показывает она на выгоревший чубчик Сашука. — И ничего?

— А чего?

— А вот мне на солнце вредно — я хрупкая, — вздыхает Ануся.

— Ты ж не кисель, не растаешь.

Ануся немножко, колеблется, потом решительно сдергивает панаму назад, и она повисает у нее за спиной на резинке. Ветер немедленно подхватывает и треплет ее белокурые вьющиеся волосы.

— Пойдем, я маме покажу, — говорит Ануся.

Они бегут по мокрому песку. Сашук старается попасть ногой в гребешок волны, когда она только-только заламывается, и изо всех сил разбивает его. Анусе это нравится. Она забегает вперед, чтобы опередить Сашука, и, торжествуя, кричит, когда брызги у нее разлетаются сильнее. Сашук тоже старается. Он ловчее, брызги у него летят выше и дальше. Так они бегут наперегонки, взметая брызги и вопя от восторга, пока их не останавливает окрик:

— Что это такое?!

Из-под простыни, распяленной на палках, выглядывает женщина. Сначала женщина кажется Сашуку совершенно голый, но потом он видит, что она не совсем голая — поперек тела у нее две полоски пестрой материи, а на голове накручено полотенце. Женщина очень красивая, это Сашук видит, несмотря на то что большие темные очки закрывают ее глаза, на носу нашлепка из бумаги, лицо намазано чем-то белым, а губы такие красные, будто с них живьем содрали кожу. Но Сашук знает, что кожа не содрана, просто губы крашены. В Некрасовке некоторые взрослые девки ходят с крашеными губами.

— Мама, мамочка! — кричит Ануся. — Посмотри, что у меня!

— Где ты взяла эту вонючую гадость? — с отвращением говорит Анусяна мама, выхватывает у нее из рук краба и отшвыривает в сторону.

Краб шлепается о глинистую стенку и уже без клешней и ног падает на песок. Ануся в ужасе всплескивает руками, но мать не дает ей сказать ни слова:

— Почему ты сняла панаму? И на кого ты похожа? Как не стыдно: большая девочка, а забрызгалась хуже маленькой... Иди сейчас же сюда!.. — Она понижает голос, но Сашук отчетливо слышит: — Зачем ты привела этого грязного мальчишку? Вон у него болячки какие-то на носу... Подцепишь какую-нибудь инфекцию...

— Он совсем не грязный, — оправдывается Ануся. — И он был с папой...

Дальше Сашук не слушает. Он поворачивается, засовывает сжатые кулаки в карманы и уходит. Уши у него снова горят. От обиды. Теперь уже без всякой радости, а со злостью он разбивает вдребезги гребешки волн. Те разлетаются фонтанами брызг, но набегают все новые и новые, сколько бы он ни бил, а главное — тетке этой от того ни тепло, ни холодно... Теперь она уже не кажется ему красивой. Вымазалась, как чучело. Вот взять влезть на обрыв, отвалить глыбу — и на нее... враз бы стала чище некуда. Или взять большую медузу — да за пазуху... Ну, не за пазуху, раз у нее пазухи нету, так за эти тряпки, что на ней накручены...

День жаркий, ветер слабый, и медуз у берега видимо-невидимо. И маленьких, с блюдечко, и широких, как тарелка, и совсем здоровенных, с бахромой, похожих на ведро, Сашук забредает в воду, хватает и тащит к берегу такое осклизлое студенистое ведро и с трудом выбрасывает на песок. Медуза разбивается, белесоватый студень ее тела истекает, оплывает водой. Сашук достает еще одну, потом еще и еще... Груда белесого студня растет, его уже вполне достаточно, чтобы обложить зловредную тетку с головы до пят, но Сашук вытаскивает на песок все новые и новые жертвы.

— Ты это зачем?

Рядом стоит Ануся, дергает резинку панамы.

— Тебе ж не велят со мной, ну и уходи, — вместо ответа говорит Сашук.

— А я хочу! — отвечает Ануся. — Ты на маму обиделся, да? Не обращай внимания. Папа говорит, у нее масса мелкобуржуазных предрассудков, — совсем как взрослая говорит Ануся. — Это, конечно, ужасный недостаток. Но что поделаешь, у каждого есть свои недостатки. У тебя ведь тоже есть?

Об этом Сашук никогда не думал. Сейчас, как ни раздумывает, никаких недостатков отыскать у себя не может и, не отвечая, продолжает таскать на берег медуз.

— А что ты с ними будешь делать?

— Уху варить, кисельных барышень кормить, — со всей язвительностью, на какую только способен, говорит Сашук, но Ануся не обращает внимания на колкость, идет в воду, хватает маленькую медузу и тотчас с отвращением выпускает ее из рук.

— Какая противная!

— Ага, испугалась? — торжествует Сашук. — Иди к своей мамке, нечего тут...

— Она заснула, — говорит Ануся и тянется к большой розовой, с сиреневой бахромой медузе.

— Не трожь, она стрекучая! — кричит Сашук.

Уже поздно. Ануся отдергивает обожженную руку, на лице ее испуг и страдание.

— Я ж тебе говорил! Она хуже, чем крапива, жжется. Больно?

— Печет, — шепотом отвечает Ануся.

Короткий носик ее морщится, но теперь не от смеха, а от назревающих слез. Она зажимает обожженную руку между коленками и быстро-быстро хлопает веками, прогоняя слезы.

— Ничего, — утешает ее Сашук. — Я первый раз когда, еще хуже обстрекался. Все пузо!

От этого сообщения Анусе не становится легче. Носик ее все больше морщится, по щекам ползут слезинки.

— Больно ты нежная, — говорит Сашук, — ревушка-коровушка... Ну их, этих медуз, пошли к причалу.

Боль постепенно слабеет, а возле причала Ануся забывает о ней совсем. Они ложатся животами на причал и наблюдают, как в пронизанной солнечным светом воде стоят стайки мальков, потом, испугавшись чего-то, серебряными брызгами разлетаются в разные стороны; как воровато, боком, от сваи к свае пробирается маленький краб, как прозрачные тени волн бегут и бегут по песчаному дну. Сашук рассказывает, как рыжий Жорка катал его на транспортере, Ануся восхищается и хочет тоже попробовать. Они взбираются в желоб транспортера, но он неподвижен, а идти вверх по резиновой ленте скользко и страшно. Оси валков смазывают не часто и не густо, но Ануся ухитряется подцепить ногой шлепок черного тавота, пробует снять его, но только еще хуже размазывает по всей ноге и безнадежно пачкает руки. Сначала ей просто смешно, потом она вспоминает про маму... Сашук ведет ее к рукомойнику возле барака, Ануся долго мылит руки, но обмылок стирочного мыла никак на тавот не действует, и Ануся снова расстраивается. Сашуку очень хочется ее утешить.

— Идем, — говорит он, — у меня чего есть!

У распахнутой двери Ануся останавливается: из барака несется хриплый рев.

— Кто там стонет?

— Жорка. Только он совсем не стонет, а спит.

— Страшно как! Будто его режут...

— Ха! Такого зарежешь... Он, знаешь, — округляет глаза Сашук, — он уголовник, в тюрьме сидел!

Он готов соврать про Жорку невесть что, но видит, что и так уже перестарался. Ануся испуганно озирается, готова стремглав броситься прочь, и Сашук поспешно добавляет:

— Ты не бойся, он ничего. Он мне вон чего подарил...

Сашук ныряет под топчан и достает кухтыль.

— Ой! — восхищается Ануся. — Эту вещь ты мне тоже подаришь?

— Ишь какая хитрая! Он мне самому нужен. Вот найду еще один, свяжу и буду плавать... И тебе дам поплавать. Немножко, — добавляет он после некоторого колебания.

Из-под топчана вылезает разбуженный Бимс, и Ануся забывает о кухтыле.

— Какой чудненький!

Она приседает перед щенком на корточки и начинает гладить. Бимс с готовностью опрокидывается на спину и подставляет свой розовый живот, но вспоминает о неотложном, ковыляет к миске с водой, долго лакает, потом чуть отходит в сторонку, и из-под него растекается лужица.

— Фу, бесстыдник, — сконфуженно смеется Ануся, оглядываясь по сторонам. С самолетным

гудением о стекла бьются мухи, из барака по-прежнему несется жуткий храп. — Пойдем уже на улицу, а?

— Ага, пошли в войну играть... Ты дот видела?

— Не хочу, — говорит Ануся. — Какая это игра!

— А что? Самая лучшая! — убежденно говорит Сашук. — Ну да, ты ж девчонка, — вспоминает он.

— И совсем не потому что! Не люблю, когда убивают... Мамин папа был полковником. И его на войне убили.

— Мы ж будем понарошку!

— Все равно не хочу!

— Ладно, — говорит Сашук, — пойдем так посмотрим.

Он убежден, что стоит Анусе увидеть окопы, развалины дота, она забудет обо всем и захочет играть в войну.

Однако, как только они выходят за ограду, Сашук сам забывает о доте и напрямик, не разбирая дороги, бежит к откосу, по которому спускаются на пляж. Там стоит бог...

## ОРАНЖЕВЫЙ БОГ

В бога Сашук не верит. Бабка умерла полгода назад, поэтому отец и мать и взяли его с собой в Балабановку. Когда бабка была жива, она рассказывала Сашуку о боге и учила молиться. Потихоньку от отца она даже сводила его в церковь и показала бога на картинке. Бог был ужасно заросший, сидел на кучах ваты и держал руки вверх, будто сдавался в плен. Он оказался вредным и злопамятным: за всеми втихаря, исподтишка шпионил, а потом наказывал. Бабка то и дело грозилась, что бог накажет, а если случалось плохое, говорила, что вот «бог и наказал»... Сашуку попадало на каждом шагу от отца, матери, от самой бабки, и ему совсем был ни к чему еще какой-то зловредный старик, который наказывает за всякую ерунду.

Сашук пытался поймать бога на горячем, когда он шпионит: прикрыв за собой дверь, внезапно распахивал ее снова, но за дверью никого не оказывалось. Он лазил в подполье и на чердак. В подполье было сыро и лежала одна картошка, а на чердаке, кроме пыли, кукурузной шелухи и пауков, ничего не оказалось. Он рассказал, бабке, что искал и не нашел бога. Она обозвала его дурачком и сказала, что бог — не гриб, на месте не сидит, а всюду витает.

— Как это — витает?

— Летает, стало быть.

— На реактивном или на спутнике?

Бабка почему-то рассердилась и хлестнула его лестовкой, но потом сказала, чтобы он про всякую дурость не думал, — бог везде, только его никто не видит. Сашук подумал, что это какая-то липа, но промолчал, чтобы бабка снова не огрела лестовкой. Как же бога тогда

нарисовали, если его никто не видел? Другое дело — дядя Семен. Про него говорят, что он водит машину, как бог... Это понятно, его все знают и видят. Хотя дядя Семен на бога никак не похож: бреется почти каждое воскресенье, никого не наказывает и даже мальчишек не очень шугает, когда они липнут к его «газону».

Бабка еще говорила, что бог всемогущий и творит разные чудеса. Только все чудеса он сделал почему-то раньше, когда-то, а потом разучился, что ли, или перешел на пенсию и ничего такого больше не делает. Так какой от него толк? Еще больше Сашук разуверился, когда спросил, чего бог ест, а бабка снова рассердилась, дала ему подзатыльник и сказала, что бог — дух, есть ему не надо. Тогда Сашуку окончательно стало ясно, что все это чепуха. Дух — значит, воздух. А воздуха нечего бояться. Вон когда у дяди Семена скат спустит, воздух пошипит, и все... Нет, бабкин бог был просто сказкой, только в отличие от настоящих сказок, которые интересные, бабкина сказка была неинтересной. Поэтому, когда бабка заставляла его молиться, он рассеянно мотал рукой между животом и подбородком, а все бабкины рассказы пускал мимо ушей. Вот если бы она рассказывала про машины...

Машин Сашук знает много: «газоны», «пазы», «ЗИЛы»... У председателя колхоза в Некрасовке есть «Победа». Правда, она такая облезлая, такая мятая-перемятая, чиненная-перечиненная, так тарыхтит и дребезжит на ходу, что сам председатель называет ее «утиль-автомобиль». По глубокому убеждению Сашука, она все-таки очень красивая. Однако то, что он видит сейчас, даже не автомобиль, а чудо...

Сашук о том не подозревает, но он язычник. Втайне он уверен, что мертвого ничего нет, все вокруг живое. Не только люди, звери, птицы. И дерево, и камень, и палка, и любая машина... Они только хитрят, притворяются неживыми, а на самом деле все видят, чувствуют и, когда хотят, делают все по собственной воле, а не по желанию человека. Они даже разговаривают между собой, только так, что люди их не слышат или не понимают. И в душе Сашука все время живет ожидание чуда: вот-вот случится сейчас такое, чего еще никогда не было, никто не видел и не слышал...

И вот чудо произошло. Оно стоит перед Сашуком — оранжевое, неопишимо прекрасное чудо на четырех колесах, окованное стеклом, никелем и хромом. Кузов его пылает, огромные глазищи-фары не сводят с Сашука стеклянного взгляда, маленькие глазки-подфарники следят за каждым его движением, а сверкающая пасть радиатора и бампера скалит огромные торчащие клыки. Это вовсе даже не машина, это сам машинный бог, только не из скучной бабкиной сказки, а настоящий — из стекла, резины и стали, которого можно не только видеть, но и потрогать рукой...

Медленно, как замороженный, Сашук обходит машину вокруг и снова останавливается перед радиатором. От нее нельзя оторвать глаз. Даже сквозь пыль видно, какая она гладенькая, рука скользит по кузову, как по маслу... А в бамперы и колпаки на колесах можно смотреться как в зеркало. Правда, вместо лица там видна смешная сплюснутая рожица, но все равно они сверкают куда ярче, чем зеркало дома, не говоря уж о растрескавшемся мутном обломке, перед которым бредутся рыбаки...

— Что ты все смотришь и смотришь? — говорит Ануся. — Пошли уже.

— А, подожди! — отмахивается Сашук. — Как ты не понимаешь? Это же «Волга»!

«Волги» он никогда не видел, но ребята говорили, что она всем машинам машина.

— А вот и не «Волга», — отвечает Ануся. — Это наш «Москвич».

— Врешь!

— Зачем мне врать? И вообще я никогда не вру, — с опозданием обижается Ануся.

— Совсем ваш? Собственный?

— Ну да, мы на нем приехали. Папа с мамой уже третий год ездят. Только раньше меня не брали, я с бабушкой оставалась, а теперь взяли.

— И прямо из дому сюда?

— А что особенного? Мама хотела на курорт, а папа сказал, что курорты ему опротивели, лучше ехать дикарями на лоно природы. Вот мы и приехали. Только маме здесь не нравится. Нет удобств, и вообще...

Сашука это уже не интересует. Он заново присматривается к Анусе. Она осталась такой же, но что-то в ней как бы и переменялось после того, как Сашук узнал, что она приехала на этой самой машине. И машина словно бы чуточку стала иной — и та же и вроде бы чуточку другая. Такая же великолепная, но уже не такая недосыгаемая, как за минуту перед этим. Сашук снова обходит ее кругом, заглядывает в зеркальные стекла, трогает все ручки, задние фонарики, фары, узорчатый радиатор.

— Пойдем же, — говорит Ануся, которой все это давно наскучило.

— Обожди... Знаешь, сначала что? Давай, пока никто не видит, залезем в серединку и посидим. Немножко.

— А как мы залезем, если она закрыта?

Сашук сокрушенно вздыхает. Но все равно оторваться от машины он не может и ходит вокруг нее, как на прочнейшей, хотя и невидимой корде.

— Тогда знаешь что? Давай ее почистим!

Тонкий слой желтоватой пыли приглушает оранжевое пламя эмали, гасит сверкание хрома, а Сашуку хочется увидеть четырехколесное чудо во всем великолепии. Стирать пыль нечем — вокруг не только тряпки или бумаги, нет даже пучка мягкой травы, одна жесткая верблюжья колючка. Недолго думая Сашук выдергивает подол рубашки из штанов, становится на колени перед колесом и принимается очищать колпак. Рубашка коротка, ему приходится все время ерзать на коленях, но зато колпак вспыхивает режущим глаза блеском. Анусе становится завидно. Она опускается на коленки у другого колеса и тоже принимается протирать подолом колпак. Оба стараются вовсю, чтобы перецеголять друг друга, больше ничего не видят и не слышат.

— А вот за это — по шее! — раздается над ними сердитый возглас.

Рядом с Сашуком стоят худые волосатые ноги. Над ними шорты, разрисованная рубашка, борода и сверкающие льдом толстые стекла очков.

— Она же ж грязная, — мямлит Сашук. — Мы хотели...

— Ах, вы хотели? — говорит Звездочет, и висящая на кукане зеленушка делает все более широкие размахи. — Вы предполагали, намеревались и собирались? А кто наследил по машине своей пятерней?

Только теперь Сашук видит, что всюду, где он прикасался к машине, остались отчетливые пятна, полосы и веера растопыренных ладошек. Ответить Сашуку нечего, и он только



сокрушенно и пристыжено шмыгает носом.

— Заруби на своем и без того покалеченном носу, — говорит Звездочет, и уже опять нельзя понять, говорит он серьезно или смеется, — машина не кошка — гладить ее незачем, пыль не стирают, а только смывают... А ты, Анна, — поворачивается он к дочери, — смотри: вон идет мать, и сейчас будет грандиозный бенц. Она в панике из-за твоего бегства, а когда увидит, как ты разукрасилась...

Еще недавно голубое платье Ануси стало бурым от пыли, и чего только на нем нет: и рыба чешуя, налипшая еще на причале, и мыльные потеки, которые стали просто грязными потеками, и даже черные пятна тавота. Ануся отряхивает подол — платье от этого не становится чище. А мама Ануси быстро, размашисто шагает к машине. Она уже одета, в красно-коричневом платье, которое все блестит и переливается, будто лакированное, полотенце уже не обмотано вокруг головы, а висит на руке, и теперь видно, что у нее такие же вьющиеся белокурые волосы, как у Ануси. На носу нет бумажной нашлепки, с лица стерта белая намазка, и лицо это еще красивее, чем прежде, но такое гневное, что Сашук независимо, однако и без промедления уходит за машину, туда, где Звездочет открывает ключом переднюю дверцу. Тот достает парусиновые штаны и натягивает, потом распахивает все четыре дверцы, чтобы проветрить: машина раскалилась на солнце, из нее пышет, как из только что истопленной печи. И в это время раздражается предсказанный «бенц».

— Ануся, почему ты убежала? — еще издали говорит мать. — Я ведь запретила тебе уходить... Боже мой, на кого ты похожа?! — кричит она. — Ты нарочно, назло? Или опять собирала всякую дрянь с тем грязным мальчишкой?!

— Мамочка, при чем тут он? Он же меня не пачкал, я сама...

Звездочет издает странный звук — не то фыркает, не то хрюкает, — и Сашуку кажется, что он ему подмигивает, но не уверен в этом: толстые стекла очков мешают рассмотреть.

— Ты еще его оправдываешь? Не смей к нему подходить! Слышишь?.. Пусть он только попадется мне на глаза!..

В этот момент она обходит багажник, и Сашук попадает ей на глаза.

— Ах, ты здесь? А ну, убирайся отсюда! Немедленно! И чтоб я тебя больше не видела!..

— Люда! — вполголоса говорит Звездочет. — Нельзя же так. Как тебе не стыдно!

— Нисколько не стыдно. Если ты не хочешь думать о своем ребенке...

— Но ведь он тоже ребенок.

— Какое мне дело до чужих сопливых детенышей! У меня и так голова кругом идет...

Сашук поворачивается и, вобрав голову в плечи, уходит. Уши у него горят, глаза щиплет, и в горячую бархатную пыль под ногами даже падает несколько капель. Ух, до чего злющая тетка! И как он ее ненавидит... Чего она к нему придирается? Ануся сама к нему прибежала. Разве он ее звал? Пусть теперь только попробует подойти, он так шуганет... И сам ни за что не подойдет. Нужны они ему...

Несмотря на всю горечь незаслуженной обиды, уйти совсем, окончательно он не может. Хоть издали, хоть краешком глаза он должен посмотреть, как тронется с места, поедет оранжевое чудо. Что она ему, запретит? Степь не ее, кто хочет, тот и ходит... Отойдя в сторонку, Сашук садится на землю и делает вид, что расковыривает ход в подземное жилище мурашей, а на самом деле искоса наблюдает происходящее у машины. Злющая тетка снимает с Ануси платье, вытряхивает и надевает снова. И все время что-то говорит. Что говорит, понятно и

так: ругается и наговаривает на него, на Сашука. А Звездочет долго стоит, опустив голову и поглаживая бороду, потом решительно поворачивается и... идет к Сашуку. Сашук вскакивает. На всякий случай. Чтобы сразу дать деру, если что...

— Рассердился? — спрашивает Звездочет, подойдя.

— А чего она придирается?

— Обидно, я понимаю, — раздумчиво говорит Звездочет, дергая свою бороду. — Что ж, хотя это абсолютно непедagogично, могу только повторить совет Чапая. — Сашук, не понимая, смотрит на него снизу вверх. — Насколько я помню, он рекомендовал наплевать и забыть... Теперь пошли со мной.

— Зачем?

— Звездочеты не только знают звезды, они умеют предсказывать и угадывать чужие желания. Твое я уже угадал.

— А вот и нет!

— Вот и да! Смотри на меня! — строго говорит он и, указывая на Сашука пальцем, торжественно произносит: — Ты хочешь проехать на машине!

Глаза и рот Сашука так распахиваются, что Звездочет снова издает странный звук — не то хрюкает, не то фыркает, поворачивается и идет к машине. Не веря, сомневаясь и пламенно надеясь, Сашук вподбежку спешит следом.

Жена Звездочета встречает их колючим взглядом.

— Зачем ты его привел? Что ты собираешься делать:

— Восстановить справедливость. В таком возрасте нельзя терять в нее веру.

Жена закусывает нижнюю губу, сажает Анусю на заднее сиденье, садится сама и со страшным стуком захлопывает дверцу.

— Вот так, — говорит Звездочет, — а спереди будет сидеть избранное мужское общество. Прошу!

Он распахивает перед Сашуком правую дверку, ждет, пока тот взберется на сиденье, и захлопывает. Внутри так чисто и красиво, так блестят разные штучки и ручки, такая диковинная собачка болтается на резинке перед ветровым стеклом, а сзади так зловеще молчит Анусина мама, и Сашук так всей спиной и затылком чувствует ее колючий взгляд что он не только ничего не трогает, но боится пошевелиться и с трудом, прерывисто переводит дыхание.

— Ну как, нравится? — спрашивает Звездочет, садясь за баранку.

От полноты чувств Сашук не может выговорить ни слова и только быстро-быстро кивает.

— Что же надо делать, чтобы поехать?

— Погудеть! — шепотом подсказывает Сашук.

— Погудеть? Да, в самом деле, какая же езда без гудения? Давай гуди.

Сашук тянется к большой черной кнопке на торце рулевой колонки, нажимает, но гудка нет.

— Дудки, — говорит Звездочет. — Гудок у меня заколдованный, настоящий звездочетский...  
— Глаза Сашука вспыхивают восторгом. — Сейчас мы его расколдуем. «Эн, де, труа, бешамель де валуа...» Теперь нажми эту дужку.

Сашук осторожно трогает хромированный пруток под баранкой, и над степью разносится гудок. Он зычен и звонок и так же не похож на хриплое кряканье «газона» дяди Семена, как сам выдавший виды облезлый «газон» на оранжевого щеголя.

— Папа, пап! Я тоже хочу! — кричит Ануся, вскакивает ногами на сиденье, переваливается через плечо отца и тянется к дужке сигнала. Звонкий голос «Москвича» раскатывается над обрывом, падает вниз, чайки шарахаются от него в море.

— Хватит, граждане, — говорит Звездочет. — Надо совесть иметь, а то сейчас обратно заколдую, и машина никуда не пойдет.

Сашук отдергивает руку, Анусю мать сердито стаскивает и сажает на место. Звездочет поворачивает ключик, внизу что-то рычит и сейчас же смолкает.

— Поломалась? — встревожено спрашивает Сашук, но тут же сам видит, что ничего не поломалось и они уже не стоят, а едут, и даже не едут, а плывут — так плавно и мягко трогает машина с места.

— Газанем? — спрашивает Звездочет.

— Ага! — радостно кивает Сашук.

— Ну, держись, увезу тебя сейчас на край света...

— Ага! — ликуя, кивает Сашук.

Он согласен на все, лишь бы ехать и ехать в этой волшебной машине. Она мягко раскачивается на ухабах, волочит за собой длиннющий хвост пыли и мчится так, что воздух ревет, врываясь в окна.

Счастье никогда не бывает долгим. Обогнув по задкам четыре усадьбы, «Москвич» въезжает в улицу, поворачивает и останавливается возле ворот пятой хаты. Пыль, которая раньше никак не могла догнать машину, теперь набрасывается на нее и окутывает густым желтым облаком. Сердито отплеываясь, жена Звездочета выскакивает из машины и утаскивает за собой Анусю. Сашук вопросительно смотрит на Звездочета.

— Слезай, приехали, — говорит тот. — Путешествие окончено.

Сашука пронзает горькое разочарование. Он вылезает из машины, отходит в сторонку, но как только Звездочет разворачивает автомобиль и въезжает во двор, Сашук припадает к редкому штакетнику, опоясывающему двор. Звездочет открывает капот, долго там копается, потом закрывает капот, все дверцы и, наконец, замечает прижатое к штакетнику лицо Сашука.

— Ты собираешься стоять здесь всю ночь?

Сашук молчит.

— Лети домой, а то тебе тоже бенц устроят.

Сашук отрывается от штакетника, но тотчас опять припадает к нему.

— Ладно, я к вам еще приду? — с надеждой спрашивает он.

— Валяй, — соглашается Звездочет, и теперь даже сквозь толстые стекла очков Сашук отчетливо видит, что левый глаз его подмигивает.

Блаженная улыбка снова растягивает лицо Сашука, и он припускает домой, к бригадному барaku.

## ПИЦЦА НАША

Соскучившийся Бимс бросается ему навстречу, но Сашуку не до него. Первым делом он бежит в барак к зеркалу. Оно всегда стоит на подоконнике: возле окна рыбаки бреются. Зеркало треснутое, мутное и изрядно засиженное мухами. Сашук плюет на него, протирает рукавом. Оно ничуть не светлеет, но все равно видно, что с носом плохо. Две дырочки, обращенные к небу, над ними кожа, красная и лоснящаяся, как нарыв, а вокруг — остатки старой, облупыши. Сашук скovyривает их ногтем, но под ними такая же воспаленная, багровая кожа.

— Ты чего нос себе обдираешь? — спрашивает Иван Данилович.

Рыбаки почти все в бараке: кто отсыпается после червоного, кто просто так лежит, отдыхает перед обедом и вечерним выходом в море. Жорка уже выспался и лежит, заложив руки под голову, а ноги задрав на спинку койки. Он тоже наблюдает за Сашуком и тут же встречается.

— Так он же, — кричит Жорка на весь барак, — он же кралю себе нашел! Я видел, как они до машины побежали. Там такая фуфыря — антик марэ с мармеладом! И где только выискал? Вот теперь форс и наводит...

Рыбаки смеются, а Сашук вспыхивает и, сжав кулаки, оборачивается. А он-то еще собирался рассказать Жорке про машину, про все...

— Как не стыдно! — кричит Сашук. — Как не бессовестно!

— Да ты не сердчай, не отобью. Только гляди на свадьбу позови! — хохочет Жорка.

Рыбаки смотрят на яростно взъерошенного, пылающего Сашука и тоже грохочут.

— Жеребцы стоялые, — говорит Иван Данилович, — нашли над кем...

Ненавидя их всех, Сашук выбегает из барака. Бимс кидается ему под ноги. Сашук пинает его, тот жалобно скулит, и Сашуку становится стыдно и жалко. Он нагибается и гладит его.

— Ладно, — говорит он, — не сердись, я нечаянно, со злости...

Щенок зла не помнит. Он тут же начинает ластиться, лизать Сашукову руку. Сашук тормозит его и мало-помалу отходит.

Мать уже вернулась и возится у плиты под навесом, готовит обед. Сашук бежит к ней.

— Мам, дай мне другую рубашку.

— Чего ради?

— Эта уже грязная.

— Поменьше в грязи гваздайся. Вчера только надел. И с чего ты чистюля такой стал?

— Да ну, мамк... — начинает канючить Сашук, но мать отмахивается:

— Не приставай, без тебя тошно.

Похоже, что ей на самом деле тошно: ходит с трудом, полусогнувшись, лицо бледное, под глазами темные круги, а на висках выступили капельки пота. Сашук направляется к раковине и долго, старательно моет руки, даже трет их песком. Руки светлеют, но самую малость, а пальцы так и остаются с обгрызенными ногтями и заусеницами.

За обедом Сашук смотрит в свою миску и ни с кем не разговаривает. Принципиально. Раз они такие.

Рыбаки идут на причал. Мать, тяжело вздыхая, то и дело приостанавливаясь, моет посуду, потом уходит в барак и ложится.

Сашук идет на берег, втайне надеясь, что Звездочет снова привезет свое семейство купаться. Больших медуз в воде уже нет, они снова ушли на глубину, в свою бездну, из которой приплыли к берегу погреться на солнце. У берега болтаются лишь маленькие, как блюдечки, да и те постепенно исчезают. Солнце скрывается за излучиной обрыва. Звездочет не приезжает и уже, должно быть, не приедет. Сашук бредет домой.

Мать лежит в боковушке и тихонько стонет. От этого Сашуку становится скучно и не по себе. Он идет во двор, усаживается за длинный, на козлах, обеденный стол под навесом и смотрит, как постепенно догорает, гаснет закатное зарево. Сизая дымка густеет, наливается синевой, потом сразу становится непроглядно черной. На не видной отсюда окраине Балабановки взлаивает пес, ему отвечают другие. Некоторое время они перебрехиваются, будто ведут переключку перед ночным дежурством, и замолкают. С моря не доносится ни единого всплеска. Легкий бриз, который весь день дул с моря, затих, а береговой еще не поднялся, и Сашука обступает глухая, плотная тишина. Сидеть в темной тишине жутко, но Сашук оглядывается назад. Распахнутая дверь барака, где лежит мать, — в трех шагах, а босая нога ощущает короткую теплую шерсть Бимса, свернувшегося под скамейкой. «И вообще чего бояться? — уговаривает себя Сашук. — Если бояться, так никогда и не найдешь...» Правда, Звездочет не сказал, как ее искать, но уж он как-нибудь найдет. Если она его, так она ему сама даст знак: подмигнет или еще как... Звезды одна за другой уже проклевываются в черном небе, но такие дрожащие и слабенькие, что ни одна из них не может быть его звездой. Сашук облакачивается на стол, опирается скулой о кулак...

— Ты чего здесь куняешь?

Шершавая, как наждак, ладонь Ивана Даниловича запрокидывает лоб Сашука. В бараке горит свет, слышны голоса вернувшихся рыбаков. Сашук сначала не хочет отвечать, но вспоминает, что Иван Данилович никогда над ним не смеется, сильнее всех и больше всех знает. Может, он и про это знает?

— Я звезду ищу. Дяденька... ну, который на машине, на красной, сказал, что у каждого должна быть звезда.

— Вон оно что!.. Ладно, пойдем, я тебе покажу.

Они выходят из-под навеса, заслоняющего звезды.

— Большую Медведицу знаешь? Тогда смотри за моим пальцем... Вон семь звезд. Получается вроде ковша или кастрюли с ручкой. А теперь через эти две звезды смотри вверх... Там тоже кастрюля, только поменьше и ручкой в другую сторону. На конце той ручки

— звезда. Видишь? Полярная называется. Для нашего брата — наиглавнейшая звезда. Она всегда север показывает. Как моряки или рыбаки без компаса заблудятся — ни берега, ничего не видать, — найдут эту звезду и по ней прямехонько домой...

— Не! — подумав, отвечает Сашук. — Это всехняя. А он сказал, у каждого своя.

— Тогда ищи сам. Только другим разом, а теперь спать беги, тебе уже третий сон видеть пора...

Мать не спит, блестящие глаза ее смотрят куда-то в угол, под потолок. Отец растерянно мыкается по боковушке и приговаривает:

— Взвара бы... Или киселя холодненького. Может, и обошлось бы, полегчало... А завтра что ж будет?

— Как-нибудь отлежусь, — тихонько отвечает мать. — Ты спи, устал ведь...

Сашук ложится на свой жесткий топчан и думает, что взвара бы — хорошо, и ему бы перепало. Когда он хворал, бабка варила взвар только для него. Но тогда — он хорошо это помнит — ему даже не хотелось. А когда он поправился и ему захотелось, никакого взвара уже не варили и не давали. Почему это вкусные вещи дают только больным, когда они им вовсе ни к чему, а здоровым очень даже к чему, но им не дают?..

Додумать эту важную мысль Сашук не успевает — веки склеиваются, а мысли разбегаются в разные стороны, как рассыпанный горох.

Когда Сашук просыпается, в бараке тихо. Значит, рыбаки ушли, а он снова проспал. Но тут же видит, что мать лежит, стало быть не так уж поздно. Тихонько, чтобы не разбудить мать, он выскальзывает во двор. Солнце еще только-только поднялось над морем, и, если прищуриться, на него даже можно смотреть. Сашук щурит по очереди то один глаз, то другой и смотрит на солнце до тех пор, пока глаза не начинают резать, а голова кружиться. Потом вспоминает все вчерашнее, бежит со двора, но спохватывается и возвращается к рукомойнику. Он плещет с ладошек на лицо, даже зачем-то смачивает белобрысый свой чубчик. Идти за полотенцем некогда, и утирается Сашук уже на бегу, рукавом.

Оранжевый «Москвич» стоит за штакетником на прежнем месте. Окна в хате распахнуты настежь, но никого не видно и не слышно. Спят. Улица, на которой хаты стоят только в один ряд, пуста, нет даже ни мальчишек, ни собак. А эти же еще хуже, городские, наверно, спать будут долго. Все-таки Сашук не уходит. Он бродит по канаве, тянущейся вдоль дороги, только там ничего интересного нет — окаменелая грязь, бурьян да совсем бросовый хлам. Солнце припекает, в животе Сашук явственно ощущает пустоту, а там все спят и спят. Он бросает прощальный взгляд на «Москвича» и уходит. К его удивлению, мать еще не встала.

— Мамк, я есть хочу, — говорит Сашук, подходя к койке.

Оказывается, она совсем не спит. Блестящие глаза ее смотрят все в тот же угол под потолком, круги под глазами еще больше, а лицо синевато-бледное. Она шевелит запекшимися губами, но отзывается не сразу.

— Ключ возьми... под подушкой. В кладовке хлебца отрежь... Не порежься смотри...

— Что я, маленький?

— Только, сынок, там сало лежит — не трогай... Оно артельское, нельзя. Если хочешь, капустки возьми, в кадушке...

Сашук шарит у нее под подушкой, достает ключ. Кладовка во дворе, наполовину врытая в

землю, там сумрачно и прохладно. Прижав к животу хлебный кирпич, Сашук срезает себе горбушку. Подумав, отрезает еще ломоть — про запас и для Бимса. На ящике, прикрытое холщовой тряпкой, лежит сало. Его много. Три толстых белых пласта, рассеченных на четыре части, поблескивают крупной солью. Сало Сашук любит, но ест его не часто. Он оглядывается на открытую дверь кладовки и раздумывает. Никто же не увидит... Потом глотает слюну и решительно прикрывает сало тряпкой. Капуста старая, воняет бочкой — прямо с души воротит. Сашук посыпает свою горбушку крупной солью, запирает кладовку и бежит обратно к матери. Бимс юлит, виляет бубликом-хвостом. Получив ломоть хлеба, укладывается и тоже принимается жадно есть. Мать переводит взгляд на громко тикающие ходики.

— Господи, скоро шесть... — и пробует приподняться, но обессилено опускает голову на подушку. — Сынок, а сынок, — немного передохнув, говорит она, — рыбаки скоро с моря придут...

Сашук перестает болтать ногами, но продолжает уплетать горбушку.

— А я вот слегла... Есть-то им будет нечего... — Сашук перестает жевать и, зажав ладошки между коленками, ждет, что она скажет дальше. — Может, ты расстараясь?

— Так а я чего? Я не умею.

— Хоть как-нибудь.

— Да ну, мамк, не хочу я! И некогда мне, пускай сами...

— Ты погоди, ты подумай... Ушли они до света, а придут часов в восемь... Они ж не катаются, а работают. Тяжко работают, сынок... Ты весла ихние видел?

Сашук кивает. Весла здоровущие. Он как-то попробовал приподнять — и пошевелить не смог. Как бревно. Не зря на одном весле по два человека сидят.

— Ты подумай-ка сам: пять часов таким веслом помахать!

— Я бы взял и бросил.

— Глупый ты еще... И они, чай, не от радости — на жизнь зарабатывать надо... Ты вон только побегаешь и то есть хочешь. А им какво? Небось все руки-ноги ломит...

Сашук пытается представить, как это ломит руки-ноги, и не может. Но он знает, что рыбаки всегда приходят голодные-преголодные. Едят быстро и молча. А потом сразу ложатся отдыхать. Очень устали потому что. А тут они придут, а есть нечего, надо варить и ждать. Они будут сердиться и ругаться, и даже сам Иван Данилыч...

— Ладно, — говорит Сашук, — только ты говори чего...

— Вот и хорошо, вот и ладненько... — говорит мать, и губы у нее почему-то дрожат. — Хоть кондер сварим. Я тебе все по порядку... Ты перво-наперво плиту почисти, кочережкой...

Через полминуты под навесом начинается извержение вулкана — зола и пепел столбом поднимаются над плитой, усыпают все подступы к ней. Сашук чихает, кашляет, но орудует кочережкой, пока колосники и поддувало не становятся чистыми.

— Дальше чего? — прибегает он к матери,

— Господи, измазался-то, как чертушка! — скосив на него глаза, говорит мать. — Ладно уж... Натаскай воды в котел, ладошки две не до краев... Потом чайник. И разожги.

Хорошо хоть железная цистерна с водой близко. Сашук таскает воду котелком и старательно прикладывает к краю ладшки. На растрескавшейся эмали котла остаются сажевые следы, зато мера точная, тютелька в тютельку — две ладшки. Разжечь плиту — дело плевое. Сашук не раз с ребятами жег костры и в плавнях и на огородах. Пламя в плите начинает реветь. Потом Сашук приносит из подвала два котелка пшена, отрезает четвертушку сала. Он режет сало на мелкие кусочки, а Бимс, уловив волнующий запах, вьется под ногами и скулит.

— Не подлизывайся! — строго говорит Сашук. — Сказано тебе — нельзя! Артельское...

Все-таки он не выдерживает: отрезает маленький кусок шкурки и дает щенку. И себе отрезает такой же, кладет за щеку и сосет. Шкурка вкусная, ее можно сосать долго, но Бимс, не жуя, заглатывает свой кусок и так царапает Сашуковы ноги острыми когтями, так умильно заглядывает ему в лицо, что Сашук вынимает шкурку изо рта и отдает щенку.

Кондер закипает, и оказывается, что самое трудное — мешать. Большая деревянная ложка почти целиком уходит в котел, а кондер густеет и его все труднее размешивать. Сашук доликает воды, но он снова густеет, надувается пузырями, пахнет паром и целыми шлепками кипящей крупы. Уже немало таких шлепков попало на плиту, они горят и воняют. А потом такой шлепок попадает ему на запястье, он бросает ложку и с ревом бежит к матери.

— Ошпарился? Ничего, ничего... Ты поплюнь и солью посыпь. Оно и отойдет, не так печь будет...

Сашук посыпает, соль грубой коркой присыхает на ожоге, и через некоторое время и в самом деле становится легче.

Тем временем к причалу подходят лодки. Сашук бежит туда и, забыв об ожоге, обо всех неприятностях, горделиво кричит:

— Папа, дяденька Иван Данилыч! А я кондер сварил! Сам, один!

— А мать чего ж?

— Так она хвора! — радостно сообщает Сашук. — Вот я и варил...

Иван Данилович и отец переглядываются, отец вспрыгивает на причал и быстро идет к бараку. А Сашук обижается — никто не радуется и не удивляется тому, что он сам, один сварил кондер.

Рыбы мало, ее быстро разгружают, транспортер уносит ее в цех, и рыбаки идут домой. Надутый, обиженный Сашук бежит следом за бригадиром. Тот прежде всего идет в боковушку к матери. Та с трудом поворачивает к нему голову.

— Вы уж не сердчайте, Иван Данилыч, не смогла я, совсем ослабла...

— Ничего, с голоду не помрем. Поправляйся давай, — говорит Иван Данилович, кивает отцу Сашука, и они выходят во двор. — Табак дело, Федор, надо Настю к доктору.

— Где ж его взять?

— В Николаевке нету. Там даже фельдшера нет. Только в Тузлах. Туда и везти.

— А на чем?



— Да не будь ты тютей! — сердится Иван Данилович. — Где, на чем да как... Иди в Николаевку — в сельсовет, в колхоз, — добывай транспорт. Там ведь люди, помогут. Нельзя, чтобы не помогли. Добивайся, требуй!

Отец, ни слова не говоря, поворачивается и быстро шагает со двора.

— Ну, кухарь, показывай, чего наварил.

Сашук стаскивает тяжелую деревянную крышку с котла. Иван Данилович заглядывает.

— И все сам? — Сашук быстро и часто кивает головой. — Знатный кондер!.. Кажись, малость подгорел. Ну, не беда — смачней будет... Молодец парень!

Сашук расплывается. Если уж сам Иван Данилыч говорит... Рыбаки садятся за стол, начинают есть, и Сашук ждет, что сейчас и все, как Иван Данилыч, будут говорить, какой замечательный кондер он сварил, и хвалить его, Сашука, но вместо этого слышит, как Игнат бурчит:

— Какой же то кондер, то ж каша, ее хочь колуном рубай.

— Заглотаешь и такую, — отзывается Жорка. — Щи да каша — пицца наша! Верно, Боцман?

— Это тебе все одно, что дерево, что бревно... Дам табуретку — и ту сжуешь... А человеку после работы еда нужна.

— Не нравится? — спрашивает Иван Данилович, и голос его не сулит ничего хорошего, — Скажи малому спасибо и за такую еду, а то сидели бы на одном хлебе.

Каша в самом деле очень крутая, с трудом проходит в глотку, горчит, но из всех каш, какие он ел, кажется Сашуку самой вкусной. А Иван Данилович... Иван Данилович, конечно же, самый справедливый и самый авторитетный из всех людей, каких он знает.

## САМОРДУЙ

Сашук наедается своей каши до отвала и соловееет от сытости и усталости.

Оказывается, даже если только сварить один кондер, и то устанешь, и он уже предвкушает, как вместе со всеми рыбаками пойдет в барак и ляжет отдыхать. С устатку... Но Иван Данилович говорит вдруг:

— Егор, прибери давай, что ли. — Жорка недовольно морщится. — Надо ж кому-то. А ты моложе всех...

— Ладно, — говорит Жорка. — Если только шеф-повар подсобит. Как, Боцман, подмогнешь? Мы с тобой враз все подчистую.

Сашук согласен. Он согласен сейчас на все. Даже сварить новый кондер. Или что угодно. Лишь бы опять говорили, какой он молодец и как здорово у него все получается.

— Как нам это дело оборудовать? — спрашивает Жорка и на минутку задумывается. Потом берет детскую оцинкованную ванночку, в которой Сашукова мать делает постирушки, и они сваливают туда все миски и ложки.

— Я буду мыть, а ты таскай, на столе раскладывай.

— И вытирать?

— Ну, еще вытирать! Сами на солнце высохнут.

И в самом деле, солнце так накаляет алюминиевые ложки и миски, что они обжигают руки.

— Вон ты его как уделал! — говорит Жорка, наклоняясь над котлом. — Теперь хоть бульдозером выгребай... Тащи песку!

— А где? Тут же нету.

— На море тебе песку мало? Эх ты, а еще Боцман...

Сашук бежит к морю и уже только на берегу спохватывается — прибежал он без посуды. Не раздумывая долго, он насыпает полную пазуху и, придерживая вздувшуюся пузырями рубашку, бежит обратно. Струйки песка щекотно текут по телу, но все-таки почти половину он доносит до места. Жорка шурует вмазанный котел, Сашук, облокотившись о плиту, наблюдает.

— А боцман — это кто? — спрашивает он.

— Боцман — это, брат, фигура. На корабле первый человек.

— Начальник?

— Ну, начальник! Чего доброго, а их и над ним хватает... А боцман — он и старший, и вроде свой. А главное — по всей корабельной части мастак. И по жизни тоже. Каждую заклепку знает и кто чем дышит... Кончик! Теперь можно пойти храпануть.... Постой, а где ж твоя краля? Или уже разошлись, как в море корабли?

— Ну чего привязался? — вспыхивает Сашук.

— Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя, — примирительно говорит Жорка и уходит спать.

А Сашук бежит к матери, — может, она передумала и все-таки даст новую рубашку?

Мать еще бледнее, дышит тяжело и стонет. Какая уж там рубашка! Сашук поворачивает обратно, но мать замечает его.

— Посиди со мной, сынок, — слабым голосом говорит она.

Сашук садится на свой топчан.

— Иван Данилыч сказал — я молодец.

— Молодец, молодец... — подтверждает мать.

— А еще мы с Жоркой посуду помыли!

Мать молчит, но Сашук и так знает — ей не по душе, что он опять был с Жоркой. Он лезет под топчан, достает кухтыль, заново рассматривает свое сокровище, потом прячет обратно. Мухи звенят, бьются о пыльные оконные стекла. Сашук складывает ладонь лодочкой и начинает их ловить. Мухи надсадно жужжат и щекотно бьются в ладошке. Однако мухи скоро надоедают. Мать все так же смотрит в угол под потолком и тихонько стонет. От этого Сашуку становится совсем тоскливо.

— Я пойду с Бимсом поиграю, — говорит он.

— Ладно уж, беги, — вздыхает мать.

Сашук бежит, но вовсе не играть с Бимсом, а напрямик к пятой хате. Он подбегает и столбенеет — машины нет. Совсем нет. Ни во дворе, ни в сарае, ворота которого распахнуты настежь, ни за сараем. Уехали. Вот даже видны свежие отпечатки покрышек в толстом слое пыли на дороге. Значит, недавно. Может, только что. Обманул Звездочет. А еще звал приходить. Ну, не звал, а сказал «валяй» — значит, приходи, а сам... Эх!.. Сашуку становится так горько, так обидно — хоть плачь. Но он не плачет, а, сунув кулаки в карманы, насупившись, смотрит вдоль улицы, в Балабановку. Может, они не насовсем, а так — на базар или куда — и еще приедут? Хорошо бы пойти во двор и спросить, куда уехали квартиранты, однако на это Сашук не решается — прогонят и еще обругают. Лучше здесь подождать. Все равно дома ничего интересного — мамка стонет, а рыбаки спят.

Сашук перебирается через канаву, садится на корточки возле старого толстого тополя и ждет. Сколько он сидит — полчаса, час или два, — неизвестно. Солнце стоит на месте, да и все равно по солнцу определять время он не умеет, а часы — откуда у него часы, если их и у отца нет. Улица пуста. Только раз тетка из одной хаты пошла в другую, потом вернулась. Да еще пробежала собака.

Время идет, надежды гаснут. Сашук перелезает канаву, чтобы направиться домой, и тут вдруг видит идущего из Балабановки отца. Он весь запыхался, лицо тоже в пыли, по нему текут грязные струйки пота.

— Ты зачем здесь? — строго спрашивает отец, но ответа не ждет. — Как там мамка?

— Лежит.

— Вот беда! И Балабановку, и всю Николаевку избегал — ничего. Лошадей нет — какие теперь у мужиков лошади? А в колхозе все машины в разгоне. Уборка. Пришел в сельсовет, а там говорят: у нас один велосипед... — Говорит он, в сущности, не для Сашука, а сам с собой, потому что ему не с кем поделиться, некому пожаловаться и потому что он не знает, как быть. — В насмешку, что ли? Разве на велосипеде довезешь? До Тузлов, шутка сказать, двадцать пять километров. По дороге кровью изойдет...

— А зачем?

— В больницу надо мамку везти. А то так и помрет. Что мы тогда делать будем?

— Ну да, — говорит Сашук. — Она же не старая!

— Дурачок! Разве только старые помирают?.. И черт нас дернул вчера в село ходить, все одно без толку... А может, дорога ей повредила, растрясло...

Говоря сам с собой, отец торопливо шагает задами крайних хат — так ближе, — а Сашук старается не отстать и напряженно думает. С какой стати мамка должна помирать? Ну, похворает, и все. Она уже хворала. Две недели лежала в больнице в Измаиле. Сашуку было даже лучше. Ну, случилось, сидели без варева — беда большая. Зато бегай сколько хочешь и где хочешь, никто домой не загоняет. А тут вдруг помирать! Сашук только раз видел покойницу — бабку. Лицо у нее стало маленькое, желтое и какое-то чужое. А самое страшное — она стала неживой: не говорила, не смотрела, лежала на столе, сложив руки, а потом ее увезли и закопали в землю...

Сашука охватывает все большая тревога и смятение. Он уже просто бежит бегом и вдруг замечает, что отец тоже бежит, обгоняет его — и напрямиком на бригадный двор.

Посреди двора стоит «газик». Обе дверцы его распахнуты, во все сиденье растянулся на животе вихрастый парень. Он лежит и курит.

— Слушай, — запыхавшись, говорит отец, — слушай, друг! Выручи, сделай одолжение — подкинь человека до Тузлов... А?

Парень поднимает взгляд на отца.

— Какого человека?

— Да жинка у меня захворала, срочно в больницу надо. А тут хоть убейся — никакого транспорта. Ни лошади, ничего, хоть на себе носи...

— Нет, — говорит вихрастый, — не имею права. Я «козлу» не хозяин. Проси начальника. Мне что? Скажет — отвезу!

— А где твой начальник?

— С бригадиром куда-то подались. Может, в лавку...

Иван Данилович сидит на крыльце за столом. На столе две пустые бутылки из-под червоного и одна начатая. Напротив сидит незнакомый человек в вышитой рубашке. Нельзя сказать, что он жирный или толстый. Он просто очень сытый, весь налитой и такой гладкий, что рубашка на нем лежит без единой морщинки.

— Доброго здоровья, — говорит отец, подходя к крыльцу и стаскивая кепку.

— Привет, привет, — отвечает Гладкий и вопросительно смотрит на Ивана Даниловича.

— Рыбак наш, — роняет тот.

— Я до вас, — говорит отец. — Просьба у меня... Насквозь всю Балабановку и Николаевку избегал. Ни лошади, ничего... А в колхозе все машины в разгоне. И председатель говорит: не имею права с уборки снять, голову оторвут...

— Правильно, оторвут, — солидно подтверждает Гладкий. — А в чем дело?

— Жинка у него захворала, — объясняет Иван Данилович. — Недавно из больницы выписалась, сюда приехала и слегла.

— Зачем же рано выписали?

— Разве спрашивают? Выписали, и все, — говорит отец. Пот еще обильнее выступает у него на лице, на шее, он начинает торопливо вытирать его скомканной кепкой. — Сделайте такое одолжение...

— Так а я при чем? Я не доктор.

— Дозвольте на вашей машине до Тузлов отвезти. Всего двадцать пять километров...

Отец заискивающе, просительно смотрит на гладкого. Тот молчит и думает. Лицо его

остаётся неподвижным, только словно твердеет, становится ещё более тугим и налитым.

— Ну, — говорит он, — я эти двадцать пять километров знаю. Часа полтора будет тащиться, да там пока то да сё... Это я сколько часов потеряю? Нет, не могу. Не имею права. Мое время мне не принадлежит, я на работе. В соседнем колхозе уборку заваливают, надо туда гнать, накачку делать... Изыскивайте местные ресурсы.

Он допивает свой стакан, тыльной стороной ладони вытирает губы и тянется за шляпой. Шляпа светло-желтая и вся в дырочках, как решето, — чтобы продувало. Сашук переводит взгляд на Ивана Даниловича. Он ждет, что Иван Данилович сейчас скажет и этот Гладкий его послушается, как слушаются все. Но Иван Данилович молчит, смотрит в стол и размазывает пальцем по столешнице лужицу червоного.

Гладкий, а за ним Иван Данилович сходят с крыльца, направляются в бригадный двор. Отец и Сашук идут позади. Отец так и не надевает кепки. Должно быть, хочет улучшить момент, когда тот обернется или остановится, и снова попросить, а может, надеется, что он и сам передумает. Сашук тоже надеется. Шофер, еще издали завидев начальство, садится за баранку и заводит мотор.

Гладкий, повернувшись к Ивану Даниловичу, поднимает ладонь к шляпе, открывает переднюю дверцу. И тогда Сашук понимает, что он не передумает, что мамка так и останется лежать в душной, звенящей мухами боковушке, будет страшно стонать и, может, даже помрет... Сам себя не помня, Сашук сжимает кулаки и что есть силы, со всей злостью, на какую способен, кричит в налитую, обтянутую рубашкой спину:

— Самордуй!

За шумом мотора Гладкий не слышит или не обращает внимания, он даже не оборачивается. Но отец слышит и дает Сашуку такую затрещину, что тот летит кубарем.

Давно уже улеглась пыль, поднятая кургузым «козлом», а Сашук все еще сидит под навесом, размазывая по щекам злые слезы. Домой он идти не хочет: там отец, а отца он сейчас не любит и презирает. И Ивана Даниловича тоже. Оба забоялись. Вот был бы Жорка, он бы врезал этому самордую... Да и сам Сашук тоже бы не забоялся, если бы камень или еще что. Как запулил бы!.. Он долго перебирает, чем бы можно запулить в гладкого или прищучить его другим способом, и слезы незаметно высыхают.

Взгляд его бесцельно блуждает по пустому двору, поднимается выше и останавливается на пограничной вышке. Сашук вскакивает. Как же он раньше не догадался?! У них же есть лошади — он сам видел! — а может, и машины тоже...

Сашук стремглав бежит мимо старых окопов и развалин дота. Лошади возле вышки не видно, но это ничего, где-то они же есть, может, спрятаны...

Запыхавшийся Сашук подбегает к лестнице и, задрав голову, кричит:

— Дяди! Эй, дяди!

Никто не отзывается. Сашук стучит кулаками по лестнице и снова кричит:

— Дяденьки!.. Дядя Хахим!

И наверху и вокруг тихо, лишь тоненько и заунывно посвистывает ветер в переплетениях вышки.

С трудом преодолевая широкие проемы между ступеньками, Сашук карабкается наверх. Дверь заперта на щеколду — значит, там никого нет, но Сашук все-таки открывает. В будке пусто.

Спускаться вниз почему-то намного труднее и страшнее, чем лезть наверх. Сашук пятится задом, долго ищет правой ногой нижнюю ступеньку, еле-еле достает до нее, переставляет левую и только потом снова опускает правую, чтобы искать следующую ступеньку.

Подавленный неудачей, он бредет домой и уже подходит к ограде двора, когда замечает, что вдоль задов ближних хат клубится пыль. Сашук смотрит без всякого интереса — что интересного в поднятой ветром пыли? Но на повороте в пыльном облаке мелькает оранжевый кузов. Ветер оттягивает пыль в сторону, и уже ясно видно, что оранжевый автомобиль направляется к откосу, ведущему на пляж. Сашук бежит навстречу машине, потом вдруг спохватывается и стремглав бросается в барак.

— Папа! Пап! — кричит он.

— Тихо ты! — замахивается на него отец кепкой, которую так и не выпускает из рук. — Не видишь?

Мать лежит с закрытыми глазами. Лицо у нее уже не просто бледное, а иссиня-землистое.

— Так папа же! — шепотом кричит Сашук. — Там Звездочет приехал!

— Чего мелешь?

— Ну, дяденька этот... на машине. Пойдем его попросим.

Отец вскакивает, они вдвоем бегут к оранжевому автомобилю. Ануся вприпрыжку скачет к откосу, мама ее с туго набитой сумкой идет следом, а Звездочет захлопывает дверцы и взваливает на плечо колья для тента, обмотанные простыней.

— Гражданин! — отчаянным голосом говорит, подбегая, отец. — Я очень извиняюсь, гражданин... Выручите за ради бога!

Он нещадно жмакает кепку. Сашук впервые видит, какое у него измученное лицо, как дрожат побелевшие губы, и у него самого губы тоже начинают дрожать.

— Что такое? — оборачивается Звездочет и ставит колья на землю.

Мама Ануси делает к ним несколько шагов, но останавливается поодаль.

— Жинка у меня захворала, в больницу надо, в Тузлы... Весь избегался — не на чем везти! Ни лошади, ни машины — хоть убейся!.. Всего двадцать пять километров. А если тут по берегу, может, и ближе...

— Евгений, на минутку! — окликает Звездочета жена.

— Подождите, — говорит Звездочет отцу и отходит.

Они стоят шагах в десяти, разговаривают негромко, но Сашук все слышит.

— Не вздумай ехать! — говорит жена.

— То есть как?

— Вот так! Ты знаешь, чем она больна?

— Я знаю, что она больна, и это единственно важно.

— А мы? А я? Это неважно? Ты о последствиях думаешь?

— Ну знаешь... — совершенно необычным, сухим и жестким тоном говорит Звездочет. — Это уже переходит всякие границы. Человек болен, ему нужно помочь... Я еще не потерял совести и, конечно, поеду.

— Ах так? Пожалуйста! — еле сдерживая бешенство, говорит жена. Ноздри ее побелели и раздуваются, как на бегу. — Корчи из себя «скорую помощь» для первых встречных... Но имей в виду: я здесь больше не останусь. Ни одного дня! Хватит с меня грязи, благотворительности, паршивых мальчишек... Хватит! Завтра же уеду. Я приехала отдыхать и хочу жить по-человечески...

— Как угодно, — сухо отвечает Звездочет, идет к машине. — Садитесь, — говорит он отцу Сашука и распахивает дверцу.

Тот неловко, бочком, стараясь ничего не запачкать, притыкается на сиденье. Сашук забегаёт вперед, чтобы его заметили и тоже посадили в машину. Но его не замечают, и ему ничего не остается, как бежать следом в густой туче пыли, поднятой «Москвичом». Когда он вбегает во двор, Иван Данилович и отец уже укладывают мать на заднее сиденье. Отец садится рядом со Звездочетом, машина сразу же трогает, но поворачивает не в Николаевку, а по берегу к пограничной вышке, мимо которой тянется малоезженный проселок. Когда пыль рассеивается, Сашук видит, что Анусина мама идет домой, и даже шаги ее кажутся злыми. Сзади понуро и неохотно плетется Ануся.

## КУХТЫЛЬ

День тянется и тянется, а Звездочета и отца все нет и нет. Сашук слоняется по двору, идет на берег, но там никого, а одному скучно, к тому же он боится прозевать Звездочета и возвращается домой. Рыбаки сидят под навесом, «травят баланду»: рассказывают всякие байки и хохочут. Сашук хочет к ним подсесть, но его прогоняют:

— Иди гуляй, мал еще, нечего тут...

Сашук обижается, хотя это не впервой, мог бы привыкнуть: как только взрослые говорят друг другу про смешное, так обязательно его гонят.

Наконец у пограничной вышки появляется пыльное облачко, стелясь по дороге, несется к бараку. Сашук бежит ему навстречу. «Москвич» останавливается у изгороди. Он уже не оранжевый, а желто-рыжий от пыли. Дверца распахивается, отец вылезает.

— Спасибо вам, — говорит он Звездочету. — Выручили, прямо не знаю как... Вот? — Он протягивает ему смятую пятирублевку.

Звездочет смотрит на пятерку, потом на отца, брови его сдвигаются,

— Вы с ума сошли! Уберите сейчас же!

— Так как же?..

— Вот так. Спрячьте деньги.

— Может, тогда рыбки вам принести? Свеженькой... А?

— Ничего мне не нужно. Я на чужих несчастьях не зарабатываю. — Тут он замечает Сашука и рад перевести разговор на другое. — А, — говорит он, — неустрашимый охотник на дохлых крабов? Как жизнь? Нашел свою звезду?

— Не, — мотает головой Сашук.

— Еще найдешь, времени у тебя вагон... Слушай-ка, ты мое семейство не видел? Они на пляже?

— Домой ушли. Как вы уехали, они туточка и ушли...

— Туточка? Плохо дело...

Сашук думает, что сейчас Звездочет снова посадит его в машину, даст погудеть в заколдованный гудок, потом газанет и они: помчатся «на край света» — к пятой хате Балабановки. Он даже делает шаг к открытой дверце. Но Звездочет захлопывает ее перед самым носом Сашука. «Москвич», как пришпоренный, срывается с места и исчезает в поднятой им пыли.

— Как там Настя? — спрашивает Иван Данилович.

— Сдал, — вздыхает отец. — Еще меня ругали, почему поздно. Еще б чуток и... А я чем виноват?.. Сразу на переливание крови забрали. Надеются вроде...

— Ничего, поправится, — говорит Жорка, — теперь в два счета. Наука у нас...

— Наука наукой... — неопределенно отзывается Иван Данилович. — Ну ладно, мужики. С Настей — сами знаете... Чего делать будем? Сегодня обойдемся — в лавку колбасу привезли... Только каждый день так не пойдет: и накладно, и при нашей работе всухомятку не потянешь...

— Факт. Без приварка не годится.

— Может, есть до этого дела охотники, добровольцы?

Рыбаки переглядываются, пересмеиваются, но никто не вызывается в охотники.

— Жорку к этому делу приставить. Пускай старается.

— Я настаю — не обрадуешься!

— А что? Вон малый и то сварил.

— То малый!



— Ша! — обрывает Иван Данилович. — На базаре, что ли? Дело говорите, а не лишь бы горло драть.

Все молчат.

— Я б взялся, — осторожно говорит Игнат, — только расчёту нет.

— А какой тебе нужен расчёт?

— В артели я свой процент имею. А тут что?

— Видали жмота? — кричит Жорка.

Даже Иван Данилович покачивает головой:

— Н-да... Ты ж еще и не рыбак — в первую путину пошел, а туда же...

— Я не чужое беру, со всеми наравне работаю.

— Ну, ровней-то ты еще когда станешь... Ладно. Будет тебе твой процент. Тут и всего-то, пока Семен приедет. Передам в Некрасовку, пришлют кого ни то... Нет возражений?

Все молчат. Иван Данилович лезет в карман и протягивает Игнату ключ, который всегда лежал под подушкой у матери Сашука.

— На, тут все хозяйство. С завтрашнего утра начинай кухарить. Теперь пошли заправимся, а то скоро выходить...

Все идут в лавку, покупают колбасу и ситро. Жорка берет себе бутылку червоного, но Иван Данилович так зыкает на него, что тот сейчас же относит ее продавцу обратно. Перед выходом в море пить нельзя.

Колбаса очень соленая, твердая, но все равно вкусная-превкусная. Сашук съедает свою порцию всю без остатка, вместе с кожурой. Ситро он пьет впервые в жизни. Липучее, приторно-сладкое, оно склеивает ему пальцы и губы, но он готов выпить целую бутылку, даже две. Целую бочку. Почему Иван Данилович говорит, что так не пойдет? Лично он согласен. Хоть каждый день...

Потом Сашук и Бимс, которому от рыбаков перепали колбасные шкурки, без конца бегают пить воду.

— А с ним как же? — спрашивает отец у Ивана Даниловича. — Может, с собой?

— Выдумывай! Хорошие игрушки — малого в море таскать. А если погода навалится?

Сашук хочет сказать, что никакой погоды он не боится, пускай его лучше возьмут с собой в море, он все время хочет, а тут одному оставаться не то чтобы страшно, а так... Сказать он не успевает. Иван Данилович поворачивается к нему:

— Вот какое дело, Лександра: ответственное поручение тебе. Останешься один на хозяйстве. Будешь сторожить и вообще поглядывать, чтобы ничего такого. Понятно?

Сашук кивает. Если такое поручение — другое дело.

— Не забоишься один?

— А раньше? Боялись такие!

— Ну и ладно. Может, мы засветло вернемся, сегодня кут ближний. Смотри, я на тебя надеюсь.

— Лучше б запереть хату, — говорит Игнат. — На всякий случай. Мало ли что...

— А ему куда деваться? И никакого случая не будет. Воров тут нет.

Рыбаки уходят, а Сашук, как настоящий сторож, важно обходит свое хозяйство и смотрит, все ли в порядке. Смотреть, в сущности, не на что. Рыбоприемный цех закрыт. В бараке койки с мятыми постелями да мухи. Кладовка заперта, а двор, как всегда, пустой, пыльный, выжженный солнцем. До захода еще можно успеть сбегать и хоть издали посмотреть на «Москвича», но отлучаться нельзя: как же уйти, если Иван Данилович сказал, что надеется на него?

Солнце наполовину уходит за пригорок возле пограничной вышки.

Лучше всего пойти в барак, чтобы не было страшно, и запереть дверь. Но в бараке хуже: по углам уже затаилась темнота, а на улице все еще залито розовым светом.

Краешек красного солнца превращается в полоску, потом в точку и исчезает. Но света пока много, и хорошо видно, что возле пограничной вышки опять стоит лошадь и машет хвостом. Значит, приехали пограничники. Сашуку не то чтобы становится менее боязно — он нисколько не боится! — а как-то так, спокойнее. Раз там Хаким и другой, с нашивками, он в случае чего даст им сигнал — и все, будет полный порядок... А чем сигналить? Костер зажечь? Пока-то его разожжешь... Лучше бы всего стрельнуть, так нечем. Сашук приносит из барака спички и «летучую мышь». Долго не может ее открыть, но все-таки изловчается, зажигает фонарь. И вовремя. Вокруг уже совсем темно, только на западе небо чуть-чуть светлеет, но скоро гаснет и там. Сашук захлопывает дверь барака, мучается с ключом, который всегда торчит в замке, наконец ключ со скрежетом поворачивается. Сашук вынимает его и кладет за пазуху. На всякий случай. Мало ли что.

Если смотреть на горящий фитиль и ни о чем таком не думать, кажется, что светло везде вокруг, а не только на маленьком пятнышке возле фонаря, и тогда совсем не страшно. И Сашук старается не смотреть по сторонам, а только на огонь. К фонарю слетается мошкара. И вовсе маленькая — сущая мелюзга, и побольше, и даже совсем большие бабочки с толстыми мохнатыми животами. Мошкара не такая, как бывает днем, а какая-то блеклая, белесая. Она вьется вокруг колпака «летучей мыши», тычется в стекло и, опаленная, падает на столешницу. Сашук пробует ее отгонять, но мошкара упрямо лезет к огню и обжигается. Чтобы удобнее было наблюдать, Сашук укладывает кулак на кулак, опирается на них подбородком. Мошкара летит и летит, вьется и вьется...

Свет фонаря меркнет, сужается в пятнышко, в точку. Из этой точки вновь разгорается свет, превращается в необыкновенно яркий солнечный день.

Бригада в полном составе сидит под навесом, прохлаждается. И Сашук тоже сидит за столом. Во двор въезжает «Москвич». Звездочет выходит из машины, здоровается со всеми и обращается к Сашуку:

«Ну, как жизнь?»

«Все в порядке», — отвечает Сашук.

«А мамка?»

«Мамка в больнице».

«Так надо ее проведать! Прошу...»

Он открывает перед Сашуком правую дверцу машины.

«Зачем? — говорит Иван Данилович. — Пускай сам ведет, я на него надеюсь».

Звездочет садится справа, пассажиром, а Сашук важно усаживается за баранку и спрашивает:

«А что надо сделать, чтобы поехать?»

«Погудеть, разумеется!» — отвечает Звездочет.

Сашук нажимает на дужку. Раздается такой могучий сигнал, что потрясенные рыбаки зажимают уши.

«Газанем?» — говорит Сашук.

Звездочет кивает и подмигивает:

«Валяй!»

Машина срывается с места и мчится вдоль берега по малоезженному проселку. Пограничники, высунувшись из оконных проемов, машут Сашуку, он высовывает левую руку и шевелит пальцами, как делает это дядя Семен.

Вышка остается далеко позади, скрывается совсем. По выжженной степи вдоль дороги бредет стадо коров. Сашук сигналист, и коров будто сдувает ветром, а пастух, растопырив руки и открыв рот, каменеет от испуга и восхищается.

Машина летит по степной дороге, и вдруг Звездочет говорит:

«Погоди, чего это там?»

Впереди виднеется черная точка, она быстро увеличивается, растет, и «Москвич» останавливается возле того, что еще недавно было «козлом».

Колеса у него развалились в разные стороны, кузов надломился посередине и лежит пузом на земле, из-под капота идет пар, сзади дымится. Шофер стоит перед задранным к небу радиатором и безнадежно чешет затылок.

Из полуразвалившегося кузова вылезает весь в поту и в саже Гладкий. Он подбегает к «Москвичу», еще загодя стаскивая свою светлую шляпу в дырочках.

«Слышь, друг! — просительно говорит он. — Выручи, сделай одолжение — подкинь до Тузлов... А?»

Сашук и Звездочет переглядываются. Гладкий старается поймать их взгляды и, задыхаясь, говорит:

«Вот, поломалась... И ни лошади, ничего... А в колхозе все машины в разгоне... Сделайте такое одолжение. Дозвольте на вашей машине до Тузлов доехать? А? Мне там накачку делать надо...»

Он заискивающе смотрит то на Сашука, то на Звездочета, комкает свою шляпу и начинает вытирать ею пот, еще больше размазывая грязь и сажу.

«А когда тебя люди просили, — говорит Сашук, — тебе своей машины жалко было, да?»

Пришибленный этим напоминанием, Гладкий суетится еще униженнее, но Сашук и Звездочет

непреклонны.

«Правильно! — говорит Звездочет. — Пусть теперь сидит здесь. Пускай знает про справедливость!»

Сашук дает газ, и униженный, презренный Гладкий остается позади.

Машина мчится по улицам Тузлов, время от времени Сашук сигналил так громко и пронзительно, что все шарахаются и разбегаются с дороги. На крыльце больницы стоят мамка и доктор. Мамка уже не бледная и скучная, а розовая, веселая и совсем здоровая. Доктор похож на Жорку, только с бородой и в очках.

«Поправились?» — спрашивает Звездочет.

«А как же, — говорит доктор Жоркиным голосом. — У нас в два счета. Наука!»

«Тогда садитесь, — говорит Звездочет, — и я отвезу вас на край света. Или прямо в космос...»

И вдруг становится темно, доктор превращается в Жорку и кричит над самым ухом Сашука:

— Я же говорил — вылитый боцман! Даже барак запер...

Освещенные снизу «летучей мышью», возле стола стоят Жорка и Иван Данилович.

— Молодец, — говорит Иван Данилович, — не подкачал. Давай ключ.

Сашук достает ключ из пазухи, отдает и вдруг заходится отчаянным плачем.

— Ты чего, дурной? — удивляется Жорка.

— Не-правда!.. — захлебывается слезами Сашук.

— Что — неправда? — спрашивает Иван Данилович.

— Все неправда! — кричит Сашук и плачет, спрятав лицо в согнутый локоть.

Иван Данилович и Жорка молча смотрят на Сашука. Подходит отец, берет его на руки и несет в боковушку, на топчан. Сашук затихает, но еще долго всхлипывает и судорожно вздыхает.

Сон заново так и не приходит. Он просто спит как убитый, без всяких сновидений. Проснувшись, вспоминает все и первым делом хочет обругать Жорку за то, что разбудил. Только ругать уже некого — в бараке ни души, а во дворе один Игнат, разжигающий плиту. Сашук бежит к хате, в которой живет Звездочет. «Москвич» разинул пасть багажника у самого крыльца. Стоя спиной к улице, в багажнике копается Звездочет. Может... Может, он куда поедет и возьмет Сашука с собой? Может, сон произойдет наяву? А что, бабка сколько раз говорила, что сны сбываются...

В дверях появляется Анусина мама, ставит на крыльцо две сумки. Сашук на всякий случай прячется за дерево. Мать уходит, потом появляется Ануся, и тогда Сашук тихонечко свистит. Звездочет не слышит или не обращает внимания, но Ануся поворачивает голову. Сашук манит ее рукой. Ануся выходит на улицу. Лицо у нее печальное или, может, просто заспанное. Сегодня она еще наряднее: в белом платье с красной каемкой, в красных туфельках и в новой панаме, тоже с красной каемкой.

— Чего это ты вырядилась, фуфыря какая? — спрашивает Сашук.

— А мы уезжаем, — печально говорит Ануся. — Совсем.

Сашук молчит и смотрит то на нее, то на Звездочета, укладывающего сумки в багажник. Ануся опять дергает резинку панамы, та щелкает ее по подбородку.

— Из-за меня?

— Из-за всего. Это мама все... «Я не хочу, я ни за что...» — передразнивает она. — А мне здесь нравится. И папе тоже.

— Так чего?..

— Разве ее переспоришь? — вздыхает Ануся. — Тут, говорит, ни людей, ни водопровода, ни вообще...

— Как это «ни людей»? Вон сколько народу!

Ануся пожимает плечиками. Они оба молчат. Долго и огорченно.

— А я думала, ты мне еще краба поймаешь. Или я сама. Я бы спрятала.

— Обожди! — вскидывается Сашук. — Я счас!

Он стремглав летит домой, бросается под топчан, достает кухтыль и поспешно, но осторожно, обняв обеими руками кухтыль, бежит обратно. Ануся стоит у калитки и ждет.

— На! — запыхавшись, говорит Сашук.

Глаза Ануси вспыхивают, носик морщится в радостной улыбке.

— Насовсем? На память?

— Ага!

— Ой! Папа, папочка! Положи и это... Смотри, какую мне вещь Сашук подарил!

Ануся вбегает во двор и сталкивается с матерью. Мать смотрит на кухтыль, ноздри у нее начинают раздуваться и белеют.

— Опять какая-то грязная гадость?

Она выхватывает у Ануси кухтыль, яростно отбрасывает его в сторону. Кухтыль падает на железный скребок для грязи возле крыльца и с глухим брязгом разбивается. Ануся в ужасе всплескивает руками, поднимает опавший мешок из сетки — там звякают стеклянные обломки.

— Зачем! Как не стыдно! — кричит Ануся и, заливаясь слезами, бросается к отцу. — Папа, папа, ну скажи же ей!..

Звездочет придерживает ее трясущиеся плечи и молча смотрит на жену. Та отворачивается, идет к передней дверце и садится в машину.

Вместе с кухтылем разбивается еще что-то такое, чего Сашук не умеет назвать словами, но от чего ему становится невыносимо горько. Он лихорадочно озирается, отламывает внизу у штaketника ком сухой грязи, замахивается — и опускает руку. Его трясет от злости, он так бы и запустил грязевой ком в злое красивое лицо, но понимает, что делать этого нельзя. Он

перелезает через канаву и садится на корточки возле старого пыльного тополя.

Звездочет усаживает плачущую Анусю на заднее сиденье, прощается с хозяйкой, заводит мотор. «Москвич», покачиваясь, выезжает на дорогу. И Звездочет и его жена смотрят прямо перед собой, не произнося ни слова, будто между ними стоит невидимая, но непроницаемая стена. Ануся, припав к лежащему на сиденье свертку, безутешно плачет. Сашука никто не замечает.

Машина поворачивает к Николаевке. Когда-то глубокая грязь на дороге давно высохла, размоложена колесами в тончайшую бурю пыль. Густым облаком она взвивается за багажником и заволакивает удаляющееся оранжевое чудо.

## КУГУТ

Как всегда, Бимс радостно бросается Сашуку навстречу, юлит под ногами, будто пытается поймать свой торчащий бубликом хвост. Сашуку не до него, он поглощен горькой обидой. Бимс не обижается. Он ошалело мечется из стороны в сторону, на поворотах толстый живот его заносит, щенок катится кубарем, но тотчас вскакивает, опять мчится к Сашуку. И мало-помалу Сашук оттаивает. Он даже чувствует угрызения совести: привез щенка и забросил. То одно, то другое, а про него забыл. Совсем стал беспризорным.

— Теперь все! — говорит Сашук. — Теперь мы всегда будем вместе. Есть хочешь?

Они взапуски бегут к Игнату.

— Дядя Гнат, — говорит Сашук, — дай мне ключ от кладовки, я хлеба возьму.

— Еще чего, по кладовкам шарить!

— А что? Мамка мне всегда давала.

Игнат как-то странно, искоса смотрит на него и молчит, потом отворачивается и произносит:

— То мамка... Обождешь. Пойду в кладовку — вынесу.

Через некоторое время он спускается в кладовку, прикрывает за собой дверь и выносит оттуда ломоть хлеба. Не горбушку, а так, из середки.

— Нам на двоих мало, — надувает губы Сашук.

— Хватит баловства, еще собаку хлебом кормить! Будут объедки — пускай жрет... Собака, она и есть собака.

«Вот жадина!» — изумляется про себя Сашук и отходит. Хлеб ноздрястый, сыроватый, с закалом. Сашук обламывает себе верхнюю корочку, остальное скармливает Бимсу.

Конечно, с Бимсом не так интересно, как с Анусей, — что ему ни говори, он только смотрит в глаза и виляет хвостом. Но уж зато не бросит и никуда не уедет. А бегать готов все время, пока не упадет.

И они бегают взапуски вдоль кромки берега, где песок влажный и ноги не вязнут. Чайки тоже ждут рыбаков, надеясь поживиться на дармовщину, и утюжат воздух — туда и обратно, туда и обратно. Они такие нахальные или понимают, что Сашук и Бимс маленькие, — нисколько не боятся и летают над самой головой. Когда крылатая тень проносится над ними, Бимс

испуганно припадает на песок, бросается в сторону, потом обиженно твякает вслед наглой птице, а Сашук смеется.

— Эх ты, трус, — говорит он. — Вот подожди, скоро вырастешь, никого не будешь бояться, а тебя все будут...

Сашук очень отчетливо видит это недалекое будущее. Бимс вырос, стал огромным и злым псом. Все его боятся, обходят стороной и пробуют задобрить. А он ни на кого не обращает внимания и слушается только своего хозяина, Сашука. Они везде ходят вместе. Бимс важно вышагивает рядом, время от времени скалит клыки, а если нужно, дает чосу. И никто уже не смеет обижать или задирать Сашука...

Чайки начинают истошно орать — лодки подваливают к причалу. Рыбы много, рыбаки довольны, весело перешучиваются.

— Эй, Боцман! — кричит Жорка. — Давай на подмогу, а то не справимся.

Игнат приходит на причал с кошелкой — взять рыбу для артельного котла.

— Привет, стряпуха! — кричат ему. — Где твои фартук?.. Ты бы юбку надел, для порядка.

Игнат не умеет отвечать шуткой на шутку, угрюмо молчит и все больше насупливается.

Сашук пристраивается на корточках рядом с Жоркой разбирать рыбу. Бимсу шумная суета на причале очень нравится, он путается у всех под ногами и всюду тычет свою нюхалку с высунутым языком. Его отгоняют, но это кажется ему тоже частью веселой игры, он мечется еще азартнее и подкатывается под ноги Игнату. Тот зло пинает его сапогом, Бимс коротко, будто подавившись, вякает, взлетает в воздух и падает в море.

Сашук бросается к краю причала. Бимс не барахтается, не плывет, а, медленно переворачиваясь, опускается на дно.

— Захлебнулся?

— Не может того быть...

Рыбак с лодки сачком на длинной рукоятке подхватывает щенка, поднимает из воды и вываливает на причал. Сашук трогает его рукой, но щенок лежит неподвижно. Из полуоткрытого рта выливается немножко воды и вываливается кончик розового языка. Рыбаки стоят, молча смотрят на щенка, Сашука и Игната, и только чайки над ними мечутся из стороны в сторону и пронзительно орут.

— Убился? — спрашивает кто-то за спиной Сашука.

— Убил, а не убился. Много ему надо!

— Нашел, на ком зло срывать...

Только тогда до Сашука доходит смысл происшедшего. Он хватает щенка на руки, прижимает, трясет. Хвост и лапы безжизненно мотаются, повисшая голова показывает мелкие зубы и просунутый между ними кусочек языка. Сашук слепнет от слез, отчаяния и ненависти.

— Ты... ты — фашист! — кричит он Игнату. — Кугут проклятый!

Склоненный над ящиком Жорка медленно и страшно распрямляется, перешагивает через ящик, сгребает Игната за грудки и заносит над ним кулак.

— Егор!

Окрик Ивана Даниловича — как удар бичом. Несколько секунд Жорка сумасшедшими глазами смотрит на Ивана Даниловича, жилы у него на шее так вздуваются, что кажется, сейчас лопнут. Он опускает кулак и отталкивает Игната; тот стучается спиной о стойку транспортера.

— Иди, гад... чтоб я тебя больше не видел!

Игнат подхватывает выпавшую из рук кошелку и, втянув голову в плечи, торопливо уходит с причала. Рыбаки молча смотрят ему вслед.

— Слышь, Боцман, — все еще тяжело дыша, говорит Жорка Сашуку и кладет ему руку на плечо. — Ты его на солнышко. Может, отойдет...

— Давай-давай, ребята, — командует Иван Данилович. — Хватит!

Солнце не помогает. Шерсть на щенке обсыхает, но сам он коченеет, лапы становятся твердыми, негнушимися, как палки. Сашук сидит рядом с ним, уткнувшись в колени, и безутешно плачет. Он не поднимает голову, даже когда подходит Жорка и садится рядом.

— Хана! — говорит Жорка, потрогав труп щенка. — Ладно, чего уж теперь реветь...

— Ж-жалко, — захлебываясь, выдавливают Сашук.

— Понятно, жалко, только все одно жалостью не поможешь... Надо его зарыть. — Сашук отчаянно мотает головой. — А как же иначе? Оставить — чайки расклюют, крабы растащат. Эта тварь на падаль падкая...

Поодаль от причала, возле глинистого обрыва, Жорка руками вырывает яму в песке, кладет туда труп и засыпает. Потом берет Сашуку за руку, ведет домой. Это очень кстати, потому что Сашук то и дело спотыкается. Слезы застилают ему глаза, он размазывает, стирает их кулаком, но они набегают снова и снова. Жорка его уговаривает, даже стыдит, но Сашук безутешен. Его терзает щемящая жалость. Он с опозданием корит себя не только за то, что в эти дни не обращал на щенка внимания, совсем забросил, а даже за то, что привез его сюда, в Балабановку. Он не хотел оставлять кутяку в Некрасовке, боясь, что тот без него пропадет, а он вот пропал здесь. Останься Бимс в Некрасовке, может, жил и жил бы, а теперь...

И хлеб, и кондер кажутся Сашуку горькими, не идут в горло. Он старается сдерживать всхлипывания, но от этого они только становятся глубже, судорожнее. Рыбаки едят молча, мрачно, без обычных шуточек и пересмешек. Не то чтобы все расстроились из-за гибели щенка — никто к нему не был особенно привязан, — но настроение у всех испорчено. За все время только кто-то бурчит:

— У Насти оно вроде послаще, смачнее получалось...

Говорящего никто не поддерживает. Игнат делает вид, что не слышит. Рыбаки идут отдыхать. Чтобы не оставаться с Игнатом, Сашук уходит со двора.

Полуденный зной дрожит, струится над буграми и ямами старых окопов, бетонными глыбами взорванного дота. Теперь Сашук смотрит на них без всякого интереса — играть в войну не с



кем. Нет даже Бимса, хотя он тоже не умел играть в войну. Может, потом и научился бы...

Сашук садится над обрывом и смотрит в море. Там ни лодки, ни дыма, ни паруса. Только бесконечная россыпь блестков, солнечных зайчиков да воспаленная мгла, затянувшая горизонт. Даже чаек нет, они куда-то попрятались — должно быть, тоже улетели отдыхать. Никого нет и на земле. Бригадный двор пуст, безлюдна придавленная зноем Балабановка, а в степи и подавно никого нет. И Сашук сам себе кажется таким маленьким, таким затерянным в огромном безлюдье, что ему становится нестерпимо жалко себя. Беда за бедой. Мать увезли в больницу. Звездочет уехал и увез Анусю. А теперь пропал Бимс, и Сашук остался совсем один. С рыбаками разве поговоришь? Они только смеются. А играть и вовсе... Все они хорошо относятся к Сашуку, но что толку, если они большие и все время или работают, или спят, отдыхают. Разве только Жорка...

Жорка первый отсыпается и выходит из барака. Они идут вместе купаться, потом лежат на песке и разговаривают про разное.

— Ты не горюй, — говорит Жорка. — Вернемся в Некрасовку, такого щенка найдем — закачаешься! Настоящую ищейку. Какие у пограничников, знаешь?

— Ага. — Иметь ищейку Сашуку очень хочется, однако, подумав, он говорит: — То ж будет уже другая собака. Не Бимс.

— Бимса не воротишь, чего уж тут... Кабы не Иван Данилыч, я б тому гаду...

— Хоть бы разик врезал! — с сожалением вздыхает Сашук.

— Нельзя, брат, я Ивану Данилычу слово дал. Я, когда остервенюсь, таких дров наломать могу...

За обедом опять кондер, и опять он кажется Сашуку невкусным. И не только ему. Тот же рыбак, что утром помянул Настю, бултыхает ложкой кондер и говорит:

— Чистая баландея!

— Игнат, да ты сало клал или нет?

— А как же, — говорит Игнат.

— Так где ж оно, если сальчина за сальчиной гоняется с дубиной.

— Сколько есть. Растягивать надо. А то раз будет густо, потом пусто.

— Что, у нас сала нет? — спрашивает Иван Данилович.

— Есть, да мало. Полтора куска осталось.

— Куда ж оно девалось? Было много.

— А я почем знаю? Кабы я сначала за продукты отвечал. А то кто хотел, тот в кладовку и лазал. Вон и этот, — кивает Игнат на Сашука, — туда лазал. Может, собаку свою салом кормил...

У Сашука даже перехватывает дыхание. Как он может? Зачем он врет?.. Сашук так поражен и возмущен, что не может сказать ни слова и только с ужасом во все глаза смотрит на бесстыже лгущего Игната.

— Так ты за то и кутенка пришиб? — кричит Жорка.

— Обожди с ерундой! — обрывает его Иван Данилович и поворачивается к Игнату. — Ты Настю не марай, она честнее нас всех. И наговаривать на человека за глаза...

— Так что, по-вашему, я взял? Выходит, украл?

Иван Данилович молчит, но Жорка молчать не может.

— И выходит! — кричит он.

— Ты меня поймал? — зло огрызается Игнат. — Видел?

— А сейчас увидим! Вот возьмем и растрясем твой сундук, поглядим, чего там напрятано.

— Не имеешь права обыскивать!

— А без всякого права. Хочешь — меня обыскивай, мне прятать нечего. А ты коли прядешь...

Жорка приподнимается из-за стола, Игнат делает шаг назад к двери в барак, лицо его сереет.

— Да что вы, братцы? — говорит он, рыская взглядом по лицам рыбаков. — Разве ж так можно?.. А если я из дому взял? На всякий случай... Не имею права?

Кто-то тихонько, протяжно свистит и вполголоса добавляет:

— Спекся!

— Та-ак! — произносит Иван Данилович.

Все оборачиваются к Ивану Даниловичу и ждут, что он еще скажет. Иван Данилович молчит и смотрит на Игната. Потом медленно, поочередно смотрит на всех. Ничего не спрашивает и не говорит, только смотрит. И, должно быть, то, что он видит, — как раз то, что ожидал увидеть. Он снова поворачивается к Игнату и глухо, но твердо говорит:

— Уходи!

— Как — уходи? Куда?

— От нас уходи. Совсем.

— Да что ты, Иван Данилыч! Из-за чего все началось? Разве можно человека из-за какой-то паршивой собаки...

— Не из-за собаки. Из-за людей. С людьми надо по-людски. А ты не можешь. Нам такие не ко двору. Собирай свое барахлишко...

— За что? Что я такое сделал?

— Сам знаешь. Или вправду обыскать?.. Море — не огород за хатой, в одиночку с ним не совладаешь. Наше дело артельское, двуличных не любит, которые только про себя думают. Понятно?.. А может, кто против, не согласен?..

— Пускай уматывает!

— Поимейте совесть — разве можно на ночь глядя?

— Ничего, на попутных доберешься, А на свободе и про совесть подумаешь. Про свою.

Игнат, втянув голову в плечи, как давеча на причале, уходит в барак.

— Дяденька Иван Данилыч, — говорит Сашук, — он врал все. Вот честное слово! Мамка мне ни разу ни вот столечко не дала. Это, говорит, артельское...

— Правильно! — кивает Иван Данилович.

— А как ты догадался?

— Я не догадался, я знаю.

Игнат выходит со своим сундучком из барака, ставит его на землю.

— А с расчетом теперь как? По закону, если раньше срока, пособие полагается...

— Правильно, полагается, — говорит Жорка. — Я тебе хоть сейчас могу выдать пособие. Персональное. — Сжав свои здоровенные кулаки, он кладет их на стол.

— Не дури, — останавливает его Иван Данилович. — Я председателю все передам, небось не обсчитают, не на базаре.

— Все равно буду жаловаться!

— Давай-давай топай! — говорит Жорка.

Игнат поднимает сундучок на плечо, идет через двор к дороге, потом поворачивает в Балабановку. Придавленная сундуком фигура становится все меньше и меньше.

Зажав ладони между коленками, Сашук искоса смотрит на удаляющуюся фигуру, и ему даже становится жалко изгнанного Игната.

— А куда он теперь? — спрашивает Сашук.

— Обрато в Некрасовку, — говорит Жорка. — Будет опять на огороде копать, в Измаиле городских на огурцах да помидорах околпачивать... Не бойся, такой не пропадет.

Рыбаки расходятся. У стола остаются только Сашук и Жорка. Жорка сгребает в кучу грязную посуду, а Сашук думает.

— А почему... — начинает он.

Жорка оглядывается на него.

— Почему люди злятся, врут, обманывают?

Жорка молчит.

— И вообще, — раздумчиво произносит Сашук, — зачем плохие люди?

— Ни к чему, да вот есть!.. Что ж, их всех в мешок да в воду?

Сашук искоса, снизу вверх смотрит на Жорку. Ответ не удовлетворяет его, и он опять задумывается — сгорбившись, зажав ладошки между колен.

Думы у него невеселые. Плохо быть маленьким. Трудно. И не потому, что тебя всякий обидит. То само собой. Главное — столько непонятного... «Скорей бы большим стать, что ли!» — с тоской думает Сашук. А лучше всего найти звезду, про которую говорил Звездочет... Вот

тогда бы да, тогда бы он знал, где плохие люди, а где хорошие, кому верить, кому нет, где правда, а где обман и что надо делать...

— Мы сейчас в море уйдем, — говорит Жорка. — Не забоишься один?

Сашук отрицательно мотает головой.

— Не... Я только на причал пойду. Там хоть чайки...

Рыбаки уходят. Сашук запирает барак и бежит за ними. Над причалом вьются, кричат немногочисленные перед вечером чайки.

Лодки отваливают. Сашук стоит на краю причала и смотрит им вслед. На одной из лодок поднимается рука, долетает отдаленный голос Жорки:

— Не дрейфь, Боцман!

Сашук не шевелится и не отвечает, только смотрит на удаляющиеся лодки.

Солнце скрывается, и после этого, как всегда, очень быстро темнеет. На востоке появляется звезда. Незаметная сначала, она разгорается все ярче и ярче. Вслед за нею вспыхивают другие, отражения их искрятся, переливаются в глухом, темном море. Ничего этого Сашук не видит. Скукожившись возле пустых ящичков, он спит.

## НЕБО С ОВЧИНКУ

1

Несчастья свалились на Антона одно за другим.

Тетя Сима вернулась с работы озабоченная и взбудораженная. Разогревая обед, она запела: «Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан», а потом так задумалась, что котлеты, и без того маленькие, пережарились и стали похожими на пуговицы.

На памяти Антона тетя пела один-единственный раз. Случилось это за обедом. Принесли почту, папа взял «Известия», а конверт протянул тете:

— Тебе, Сима.

Тетя оседлала нос пенсне, прочитала адрес на конверте, покраснела и сказала:

— Простите, я сейчас, — и ушла в свою комнату.

Вскоре оттуда долетели очень странные, ни на что не похожие звуки.

— Плачет? — встревожилась мама.

— Нет, поет, — сказал папа.

Это было так же неожиданно и удивительно, как если бы вдруг запела голая бетонная тетка с веслом, зачем-то поставленная в пионерском саду. Разумеется, на ту бетонную тетку тетя Сима совсем не похожа. Она как раз очень худая, строго и всегда одинаково одетая: черная юбка, белая блузка с длинными рукавами и воротничком, закрывающим все горло. На блузке кармашек для пенсне. Пенсне у нее старомодное, не с защипками, а с дужкой над переносицей. Точь-в-точь как на портретах у Чехова. Папа говорил, что так раньше одевались курсистки. Тетя и в самом деле была курсисткой, только очень недолго: началась революция и курсы то ли закрыли, то ли переименовали. Она очень гордилась тем, что была курсисткой, и всегда одевалась так, как одевалась когда-то, еще молоденькой девушкой. Мама много раз пыталась убедить ее сшить современное платье. Тетя Сима отклоняла все предложения:

— В моем возрасте смешно гнаться за модой. Нет ничего хуже, чем быть смешной. «Смешное убивает», — сказал один великий человек...

Тетя перестала петь. Это было хорошо, потому что и самый великий музыкант не нашел бы мелодии в ее пении. Вернувшись к столу, она сказала, что получила письмо от друга своей юности, он приезжает сюда на несколько дней и, наверное, навестит ее.

— Бывший жених, что ли? — спросил папа.

— Одно время нас считали женихом и невестой, — сказала тетя Сима и снова покраснела. — Сейчас это не имеет никакого значения. Просто он очень интересный человек.

В течение нескольких дней тетя без конца говорила, какой это замечательный человек и как хорошо, что они с ним познакомятся. В день его прихода она ужасно волновалась, начала готовить какой-то необыкновенный торт, без конца бегала к соседке советоваться и так над ним хлопотала, что в конце концов торт получился твердым, как кирпич, и ей пришлось сходить в «Гастроном» за готовым.

Бывший жених пришел вечером и оказался лысым толстым человечком с тусклым голосом. Он все время потел, очень много и громко ел и монотонно жаловался. На жизнь, маленькую зарплату, своих сослуживцев, соседей по квартире и на все, о чем бы ни заговорили.

Тетя смотрела на него сияющими глазами и говорила ему «ты». Это было непонятно, потому что из всех людей, каких знал Антон, она говорила «ты» только своему брату, папе Антона, и самому Антону. Даже маме она всегда говорила «вы». Тетя пыталась заговаривать о литературе, о прошлом, то и дело восклицала: «А помнишь?..»

— Да, да, конечно, — рассеянно отвечал бывший жених и снова принимался за еду.

Тетя перестала наконец восклицать, сникла, будто еще сильнее постарела, и только подкладывала гостю на тарелку. Тот съел все дочиста, пожаловался на колит, повышенную кислотность и ушел. Не зажигая света, тетя полчаса просидела одна в своей комнате, а когда вышла в кухню мыть посуду, глаза у нее были красные.

— «Как хороши, как свежи были розы», — печально продекламировала она, рассматривая хрустальную вазу на просвет, долго, тщательно протирала ее, потом вздохнула и добавила: — Однако, как сказал Алексей Максимович Горький, «в карете прошлого далеко не уедешь»...

На все случаи жизни у нее были в запасе всякие такие фразочки разных великих и без конца из нее выпрыгивали, будто сидели в ней, пригнувшись, как спринтеры перед стартом, и сигнали по первому свисту. Антон так и сказал однажды тете. Брови у нее поднялись, пенсне свалилось с носа и повисло на черной ленточке.

— Что такое спринтеры? Те, что бегают? — При всей своей образованности тетя Сима иногда не знала самых простых вещей. — Стыдись! Как можно сравнивать каких-то бегунов и прыгунов с великими творцами и мыслителями?!

У Антона был свой взгляд на бегунов и великих. Бегуны — это здорово, если, конечно, они показывают класс. А великие, по правде говоря, порядком надоели Антону. Они, должно быть, только тем и занимались, что без конца изрекали что-нибудь красивое и высокопарное, точь-в-точь как тетя Сима. А та делала это постоянно и говорила, что интеллигентность человека определяется, не тем, носит ли он шляпу, а тем, какой у него духовный багаж. Багаж тети Симы, наверное, не поместился бы и в пульмановский вагон с решетками, который прицепляют сразу за паровозом, и от пола до потолка набитый чемоданами и тюками. Ничего удивительного. Тетя Сима работает в библиотеке. Антон несколько раз приходил к ней и бродил в узких ущельях книгохранилища. По сторонам отвесными скалами вздымались стеллажи, сплошь уставленные книжками, книгами и книжищами.

— Это всё великие? — спросил Антон.

— Не все, но многие, — сказала тетя.

Конечно, если всю жизнь толкаться среди такого количества великих, тут, хочешь не хочешь, наберешься всякого.

Так Антон думал прежде, когда был еще маленьким, а с тех пор прошло уже больше двух лет.

И вот тетя Сима вдруг снова запела. Антон настороженно посмотрел на нее — снова придет бывший жених? — но промолчал. Тетя могла сказать что-нибудь неприятное о неуместном любопытстве и вдобавок пристукнуть очередным изречением. Они молча жевали пуговицы, в которые превратились котлеты, но те были как резина.

Тетя сдалась первая и отодвинула тарелку:

— Нет, с этим может справиться только Бой.

— Наверное, она была очень заслуженная, — сказал Антон.

— Кто?

— Корова.

— Ах, вечно ты какие-нибудь глупости... А я хотела с тобой серьезно поговорить. Дело очень важное. Оно касается и тебя. А посоветоваться мне не с кем. Видишь ли, Антоша...

— Тетя, сколько раз я просил!

— Я ведь не виновата, что родители дали тебе такое имя.

— А кто виноват, если не вы?

— Что ж, — слегка смутилась тетя. — Я действительно посоветовала им назвать тебя Антоном в честь нашего великого классика. Ничего дурного в этом нет.

— А что хорошего? Думаете, если назвать под великого, так и пацан станет великим? Как же!

— Великим, может, и нет, но человек будет стремиться стать достойным своего имени.

— Ну да, и тyani из себя жилы всю жизнь... Им удовольствие, а мы мучайся...

— У тебя простое, хорошее имя!

— Имя как имя. Только я Антон, а не Антоша.

— Это ведь ласкательно! В свое время Чехов даже подписывал свои произведения «Антоша Чехонте».

— Ну и пускай. А я не Чехов. И никаких произведений не подписываю.

Тетя не могла знать, что, когда они жили еще на Тарасовской, мальчишки во дворе дразнили его «Антошей-Картошей» и с тех пор у него укоренилось отвращение ко всем ласковым видоизменениям своего имени.

— Хорошо, не будем спорить... Видишь ли...

В это время Бой, который все время лежал распластавшись на боку, вскочил, подбежал к входной двери и начал прислушиваться. Прислушивался он смешно: наклонял голову сначала на одну сторону так, что ухо отвисало, потом на другую сторону, и тогда отвисало другое ухо. Так он делал всегда, когда издали слышал голос или шаги хозяина.

Федор Михайлович открыл дверь. Бой стал на дыбы, поджав передние лапы, и лизнул его в щеку.

— Здорово, старик! — сказал Федор Михайлович и похлопал Боя по боку. — «Привет тебе, приют священный...» — продекламировал он. — Добрый вечер, Серафима Павловна.

— Вот с кем я могу поговорить! — воскликнула тетя Сима. — Только вы можете посоветовать.

— Меня с детства научили отвечать «всегда готов!». Одну минутку, дам Бою поесть. — Бой уже стоял перед ящиком, накрытым клеенкой, и помахивал хвостом. Федор Михайлович поставил на ящик кастрюлю с жидкой кашей. — Рубай, старик... Итак, чем могу?

— Вы были когда-нибудь у моря?

— Случалось.

— И в Крыму, на Южном берегу?

— И в Крыму, и на Южном.

— А в Алуште?

— И в Алуште.

— Какое там море?

— Море? Нормальное. Суп с клецками. Теплое, как суп, и в нем очень много клецок. То есть курортников.

— Но оно там... большое? Просторы, горизонты?..

— Пока хватает, никто не жаловался... А в чем дело, Серафима Павловна? Не интригуйте меня, а то мое слабое сердце может разорваться от любопытства.

— Вы смеетесь, а для меня это событие колоссальное. Мне предлагают путевку. В дом отдыха. В Алушту.

— Прекрасно! В чем же дело?

— Вот камень преткновения, — сказала тетя, указав на Антона.

— Спасибо, тетя, — сказал Антон, — теперь я буду знать, кто я такой на самом деле.

— Ах, оставь, пожалуйста! Это в переносном смысле...

— Понял? — сказал Федор Михайлович. — Раз в переносном, значит, ты вполне перенесешь. Итак, почему этот юноша стал камнем?

— С собой его взять нельзя, и оставить здесь тоже невозможно.

— А почему невозможно? Он мужчина уже вполне самостоятельный.

Перед Антоном вспыхнул ослепительный свет свободы и тут же погас, оставив горький чад разочарования.

— Что вы говорите! Он и при мне-то безнадзорный, пока я на работе, а так... Что я скажу родителям, если что-нибудь случится? Господи! И надо же, чтобы и отец и мать выбрали такую профессию. Другие инженеры как инженеры, а тут кочевники какие-то. Полгода, а то и больше в разъездах...

Антоновы папа и мама были геологами. Сначала Антон этим гордился, но потом разочаровался. Оказалось, они не ищут никаких ископаемых, а всего-навсего проверяют всякие участки, где должны строить заводы, фабрики или поселки. Хороший ли там грунт, можно ли прокладывать водопровод и канализацию. Страшно интересно...

— Что бы они делали без меня? Возили его в котомке за спиной?

— У некоторых народов детей носят на бедре. В таких случаях удобнее двойняшки. Для равновесия, — сказал Федор Михайлович.

Но тетя Сима не склонна была шутить и расстраивалась все больше.

— Я мечтала об этом всю жизнь, а выходит, так его и не увижу.

— Кого, тетя?

— Фонтан. Бахчисарайский фонтан. «Фонтан любви, фонтан печали...»

— Знаете, это зрелище довольно скучное, — попробовал утешить ее Федор Михайлович. — Стоит в углу каменный ящик. К нему приделаны одна над другой маленькие плоские. Из одной в другую капает вода. Вот и все.

— Ах, боже мой, как вы не понимаете! Ведь он был искрой, которая зажгла воображение поэта...

— Да? Никогда не думал, что фонтан может рассыпать искры. Ну, неважно... Что можно придумать? Ага! У меня есть знакомая девушка, она состоит при таких вот цветах жизни — холит и нежит, словом, пионервожатая. И собирается ехать в лагерь. Хотите, я поговорю с ней, может, удастся пристроить его туда?

— В лагерь? — Антон обозлился, — Нет уж, с меня хватит! «Ребята, туда не ходите, сюда не ходите, этого не делайте, того не говорите, сего не думайте...»

— М-да. — Федор Михайлович улыбнулся. — В общих чертах того, сходственно...



— Но там хорошо кормят, Антоша, ты отдохнешь.

— Меня откармливать не надо.

— Ты просто грубиян и жестокий эгоист. Себялюбец!

Тетя Сима готова была расплакаться. Федор Михайлович огорчился и взъерошил волосы на голове.

— Ну, а мне вы этого эгоиста не доверите? Уверяю вас, я не толкну его на путь порока. Я, как вы знаете, не курю, правда, пью, но мало и редко. Могу перейти на нарзан. На это время. А?

— Как я могу взвалить на вас такую обузу?

— Пустяки! Я давно ощущаю в себе кровожадного тирана и деспота. Мечтаю кого-нибудь угнетать, тащить и не пущать. Держать в ежовых рукавицах и вообще показывать кузькину...

— Федор Михайлович поперхнулся. — Словом, положитесь на меня, и вы получите себялюбца шелковым...

Антон улыбался во весь рот, надежды развернули перед ним радужные павлиньи хвосты. Остаться с дядей Федей и Боем — что может быть лучше? Мировецкая мужская компания!

— Важно одно: когда у вас путевка?

— С девятого июля.

Федор Михайлович в отчаянии развел руками:

— Рок! Я думал, август-сентябрь. Бархатный сезон, виноград и прочие радости знойного юга... Ничего не получится! Сам уезжаю пятого в Семигорское лесничество. Я даже рассчитывал Боя оставить на попечение Антона...

— Ну и что? — загорелся Антон. — Ну и поезжайте! Думаете, не справлюсь? Еще как!

— Это, братец, была бы у тебя слишком райская жизнь. Не выйдет. Я за свободу личности, но при условии, что эта личность обзавелась тормозами. У тебя их пока нет...

— Что ж, — горестно вздохнула тетя Сима. — Так и будет. Завтра откажусь от путевки. Еще от одной мечты.

— От мечты отказываться нельзя. Она окрыляет и возвышает... Как на этот счет высказывались великие? — Антон ослабил, но Федор Михайлович свирепо покосился на него, и он присмирел. — Надо что-то придумать... Стоп, стоп, стоп! У меня мелькнула мысль. Не ручаюсь за гениальность, но, кажется, она близка... Что, если сделать так: вы — на юг, а мы втроем — на запад?

— Куда на запад?

— В лесничество. Думаете, ему будет плохо? Соблазнов — никаких. Лес, река. Воздуха — тыщи пудов. Чистейшего. Здоровей. Богатырей. Как идея?

У Антона перехватило дыхание.

— Право, не знаю... — сказала тетя Сима. — Конечно, хорошо, если мальчик побудет на лоне природы...

— Вот именно. Зачем ему торчать здесь? Хоть и окраина, а все-таки город. Миазмы и маразмы, газы и заразы.

— Да, да, я понимаю... Но это ведь даже не село, насколько я понимаю, а лес. Там всякие животные...

— За последние сто лет львов, тигров, ягуаров и леопардов там не замечено. Волков истребили. Самые хищные животные, с какими он может встретиться, — козел или корова, но для этого ему придется специально идти в село, до которого три километра.

— А река?

— Река отличная. Скалы, заводи, плесы.

— Но он может... утонуть...

— Это я-то? — возмутился Антон.

— Утонуть там можно только, если привязать себе камень на шею, чего, я полагаю, он не сделает. Потом он будет со мной и Боем. Кое на что гожусь я, а Бой — он же водолаз, его основная профессия и призвание — спасать тонущих... Он давно мечтает кого-нибудь спасти. Решайте! Мы — в лес, а вы ныряйте в свою стихию.

— Нырять мне, к сожалению, не придется. Не умею плавать.

— Раз плюнуть.

— Плюнуть?

— Простите, Серафима Павловна, я хотел сказать, что это проще пареной репы — научиться.

— Боюсь, не в моем возрасте.

— Морям все возрасты покорны, — так ведь сказал поэт?

— Умоляю вас! Не выношу, когда уродуют прекрасные строки...

— Больше не буду! Так как, заметано?

Тетя Сима решительно отказывалась и соглашалась, раздумывала и колебалась. Наконец мечта всей жизни, объединенные усилия Антона и Федора Михайловича, неопровержимые доводы и заверения победили. Тетя Сима сдалась, но при условии, что она вызовет по междугородному телефону брата и только с его согласия отпустит Антона.

— Боже мой, боже мой! — сказала тетя Сима, когда Федор Михайлович повел Боя гулять. — Мне просто не верится, что на самом деле сбудется мечта стольких лет... Какой отзывчивый, хороший человек Федор Михайлович!

— Законный парень. Железо!

— Какое железо? При чем тут железо?

— Ну... так говорят.

— Кто «говорят»? Это же дикая бессмыслица!.. И он для тебя не «парень», а дядя Федя... Он очень хороший человек, но его манера выражаться... У тебя и так ужасный жаргон. А если ты еще от него наберешься?..

Антон качало и заносило. Он не знал, куда себя девать и что делать. Время остановилось, хотя часы шли. И на руке у дяди Феди, и допотопные на цепочке у тети Симы, и тумбовые в столовой, где спал Антон, и настольные в комнате папы, и электрические на углу возле универмага. Часы шли, тикали, стучали, били. Утро сменяло ночь, ночь гасила день, но время стояло. Оно окаменело. Отъезд не приближался, а отдалялся, потому что каждый час был длиннее предыдущего, дню не было конца, оранжевый блин солнца намертво прикипал к эмалевой сковородке неба, день вырастал, вспухал, растягивался в год, а неделя уходила в космическую бесконечность, где не было ни пределов, ни сроков.

Антон маялся, изнывал и томился. Иногда вдруг его пронзало опасение, что поездка не состоится, — он ужасался, впадал в отчаяние, но оно тут же таяло. У него болели скулы от улыбки, растянувшей лицо. Он мог и думать и говорить только об одном. Даже головокружительный, победоносный бег киевского «Динамо» к золотым чемпионским медалям не трогал его; фантастические голы Лобановского и Базилевича оставляли равнодушным. Он прожужжал уши тете Симе и смертельно надоел соседским ребятам. Блаженно улыбаясь, Антон снова и снова говорил им:

— А знаете, ребята...

— Знаем, — отвечали они. — Ты, Бой и дядя Федя... Вчера сообщали по телевизору. Завтра передадут по радио. И скоро с вертолетов будут сбрасывать листовки. Поехали лучше купаться, чокнутый...

Антон не обижался. Они говорили так из черной зависти. Да сейчас он и не мог обижаться. Ни на кого. Весь мир стал прекрасным и удивительным, а люди необыкновенно добрыми и хорошими. И Антон был добрым и хорошим. Он любил всех и готов был всех одарить своей радостью. Он расшибался в лепешку, чтобы помочь и угодить тете Симе. Она всегда была ничего, но только теперь Антон понял, какая у него мировая тетка. Если бы тетя Сима вывалила сейчас на него все изречения всех великих, он перенес бы и это. Но тетя Сима тоже вроде как бы слегла трёхнулась. Она непрестанно говорила об Алуште и Бахчисарае, о море и Чатыр-Даге, и Антон безропотно слушал, хотя ему нестерпимо хотелось говорить самому. О лесе и Бое, о реке, бушующей среди скал, о чащобах и звериных тропах, а прежде и больше всего — о дяде Феде...

Вот кто был на самом деле умнейший и добрейший, несравненный и необыкновенный — словом, мировейший из мировых. И как дико, бешено повезло Антону, что дядя Федя получил ордер на комнату в той же квартире на Чоколовке, куда переехали они.

Как только в новой квартире расставили мебель, все прочее имущество разложили и растыкали по углам, мама и папа уехали в очередную командировку, Антон остался с тетей Симой. Большую часть времени они проводили в кухне: там ели, чтобы не пачкать в комнате, там читали или просто разговаривали, если вечер был пустой, то есть Антону не удалось сбежать в «киношку». В один из таких пустых вечеров они сидели после ужина и разговаривали. Вернее, говорила одна тетя Сима о том, что коммунальная квартира — это все-таки плохо. Пока они одни, в квартире и чисто и тихо, потом, как переедут, — мало ли кто может переехать! — и начнется, как на прежней... В это время раздался звонок. Антон побежал в прихожую, открыл. За дверью стоял человек с чемоданом и рюкзаком...

— Разрешите? — спросил он, отвернулся и сказал кому-то в сторону: — Сидеть и ждать!

Он закрыл за собой дверь, поставил чемодан.

— Давайте знакомиться. Ваш соквартирник. Зовут Федором Михайловичем. Нрав смиренный, почти кроткий, хотя и не совсем ангельский. Подробности потом. Простите, сгораю от нетерпения увидеть свои апартаменты... Вот это? — Он открыл ключом дверь пустой комнаты, зажег свет и присвистнул. — М-да, — сказал он. — Променять «роскошный полуизолированный полуподвал в центре гор. без уд.» на эту шкатулку для лилипутов!..

Тетя Сима с плохо скрытой надеждой спросила:

— А вы женаты?

— К счастью, не успел... Но семейство у меня есть. Я не хотел вас сразу травмировать.

Он подошел к двери, отключил собачку замка и громко сказал:

— Бой, открой дверь и входи.

От резкого, сильного толчка дверь распахнулась настежь, и порог переступило невообразимо черное и огромное существо.

Антон почувствовал вдруг, что у газовой плитки чрезвычайно острый и твердый угол.

Тетя Сима попятилась, наткнулась на табуретку, машинально села и, прижав руки к груди, сказала слабым голосом:

— Что... что такое?

— Мой песик. Собачка.

— Собачка? Это... это же медведь!

— Некоторое сходство есть, но чисто физиономическое. Что же касается калибра, то черные медведи меньше, а бурые несколько крупнее. Да вы, пожалуйста, не бойтесь, личность он интеллектуальная и вполне воспитанная.

«Интеллектуальная личность» заполнила всю кухню. От носа до кончика хвоста в нем было не меньше двух метров. Густая длинная шерсть переливалась крупными волнами. Она блестела под светом лампочки, будто смазанная маслом. Могучая шея обросла пышным воротником, а грудь была так велика, что передние мощные лапы казались короткими. Длинный пушистый хвост страусовым пером свисал до бабок. Пес стоял неподвижно, подняв голову, внимательно слушал, что говорил Федор Михайлович, и поглядывал то на тетю Симу, то на Антона.

— Ну вот, Бой, — сказал Федор Михайлович. — Теперь это наши соседи. Их надо любить, они хорошие. — Кончик страусового пера слегка вильнул влево и вправо. — Иди поздоровайся с тетей.

Бой сделал два шага, слегка приподнял голову, из полуоткрытой пасти высунулся длиннющий ломоть розовой чайной колбасы и лизнул тетю Симу в щеку.

— Ох, оставьте, пожалуйста, я не люблю этих штук! — очень вежливо сказала тетя Сима.

— Отставить, Бой, этого не любят.

Бой вильнул хвостом и зевнул.

— Он не понял, почему не любят... Теперь с мальчиком. Тебя как зовут?.. Антон? Не бойся, Антон, погладь его.

Бой подошел к Антону и обнюхал. Угол плиты стал еще тверже и острее. Внутри у Антона все похолодело и опустилось куда-то вниз. Он с трудом поднял одеревенелую руку и положил Бою на холку. Руку для этого пришлось согнуть.

— Порядок, — сказал Федор Михайлович. — Теперь иди сюда, а то Антон сейчас задохнется.

Бой отошел, Антон шумно вздохнул.

— На первый взгляд он действительно несколько великоват. Но, уверяю вас, вы скоро привыкнете. И полюбите. Со своими он безукоризненный джентльмен. Как истый джентльмен, он всегда во фраке и манишке... Бой, сидеть, покажи свою манишку.

Бой сел, на груди у него оказалось крупное белое пятно. Насколько весь он был черен, настолько белой была длинная шерсть «манишки».

— Чтобы покончить с официальной частью, представляю: порода — ньюфаундленд, имя — Бой. Полный титул — Бой, сын Долли Ландзеер и Рейнджера Третьего Великолепного. Что касается родословной, то такой нет у меня, наверное, у вас и во всяком случае нет у шаха иранского. Предки Боя перечислены до десятого колена, у шаха — всего два...

Бой снова зевнул.

— Тебе жалко шаха? Пускай, так ему и надо...

Антон уже дышал нормально, не чувствовал угла плиты. Первоначальный испуг перешел в восторженный столбняк.

— А лапу он дает?

— Попроси.

— Антон, умоляю тебя! — сказала тетя Сима.

— Смелей, смелей, ничего страшного не произойдет.

Антон присел и протянул руку:

— Дай лапу, Бой. Ну дай!

Бой посмотрел на него, на хозяина, отвернул голову в сторону и небрежно, вбок, поднял лапу.

— Видишь, — сказал Федор Михайлович. — Давать лапу, ходить на задних лапах — занятие для болонок и прочих шавок. Бой слишком велик и умен, чтобы это доставляло ему удовольствие. Вот если вы поссоритесь, он тебе сам протянет лапу, чтобы помириться...

— Ну да?

— Увидишь.

Тетя Сима подошла к крану и вымыла щеку, в которую Бой ее лизнул.

— Опасаетесь микробов? — улыбнулся Федор Михайлович.

— И глистов, — отрезала тетя Сима.

— Напрасно. Слюну у собак можно считать антисептической...

— Я предпочитаю все-таки антибиотики... А где вы его будете держать?

Тетя Сима посмотрела на плиту, уставленную кастрюлями, кухонный стол. Голова Боя возвышалась над столешницей.

Федор Михайлович перехватил ее взгляд.

— На этот счет не опасайтесь. Его можно оставить наедине с тушей мяса — не прикоснется. Он носит в зубах колбасу, жареную печенку и даже не прокусывает бумагу. Жить он будет, разумеется, в комнате. Если его оставить здесь, он будет бахать лапой в дверь, пока я его не впущу.

— А в квартире он... — тетя Сима замялась, — ничего такого не делает?

— Не беспокойтесь, собака в квартире «ничего такого» делать не умеет.

— Все это очень хорошо, — поджав губы, сказала тетя Сима, — я еще понимаю, маленькая собачка, но держать такого громилу в квартире!.. Кажется, даже есть какое-то постановление насчет собак...

— Давайте так: если вы за неделю не поладите с Боем, я оставляю поле битвы, или, говоря вульгарной прозой, съезжаю с квартиры.

— Оставьте комнату? Куда вы денетесь?

— В даль и в ночь... — засмеялся Федор Михайлович.

Федор Михайлович знал, что говорил. Тетя Сима растаяла в два дня. Бой неизменно был доброжелателен и ласков без назойливости. Каждое утро, как только Федор Михайлович открывал дверь, он появлялся в кухне, подходил ко всем по очереди и приветливо, но без больших размахов вилял хвостом — здоровался. Целовать тетю Симу он больше не пытался — запомнил. Он не был надоедливым, не приставал и никогда ничего не кланчил. Иногда у него появлялось желание поиграть. Тогда он брал в пасть свою любимую игрушку — теннисный мячик, подходил к кому-нибудь и деликатно толкал мячиком в руку. Если предложение не встречало отклика, отходил и ложился. Появлению знакомых Бой радовался и обязательно со всеми по очереди здоровался. Но если в прихожей начинался грохот, это означало, что пришел Федор Михайлович. Бой ужом вился вокруг него, нещадно колотил хвостом по дверям, стенам, сундуку, который загромождал и без того тесную прихожую. Несколько раз Антону довелось попасть под эти удары, он отскакивал и потирал ушибленное место.

— Неужели ему не больно? Как палкой...

Ритуал встречи заканчивался тем, что Бой поднимался на дыбы, башка его оказывалась ровень с головой хозяина, и он лизал во что пришлось — в щеку, в нос, в ухо.

— Ну хватит, старик, не шуми, — говорил Федор Михайлович.

Бой успокаивался, но с этого момента неотступно ходил по пятам за хозяином, куда бы тот ни шел.

— Разве это собака? — сказала тетя Сима. — Это же попятошник!

— Вот именно, — сказал Федор Михайлович. — Пока я заметил у него только один, но зато чудовищный недостаток. Если он любит, то беспредельно и деспотично. Когда-то я был

вольный казак, теперь я каторжник, прикованный к живой четырехлапой тачке, которая к тому же все понимает. Я не могу никуда уехать — один вид чемодана вызывает у него истерику. Хочу или не хочу, здоровый или больной, я должен вести его гулять. Я не могу отлучиться из дома больше, чем на восемь часов, я — увы! — не могу совершить ни одного безнравственного поступка, потому что этот поганец не спускает с меня глаз, а я не могу развращать его невинную душу...

Бой и в самом деле неотступно следил взглядом за хозяином. Голова его, как стрелка компаса, всегда была повернута к обожаемому полюсу — хозяину. Даже если Федор Михайлович сидел в кухне, а Бой спал тут же рядом, он спал в полглаза. Глаз всегда был только полузакрыт, зрачок плавал, закатывался куда-то в дремоте, но время от времени останавливался и вперялся в Федора Михайловича: «Ты тут? Тут...» — и снова уплывал в сон.

Однажды у Федора Михайловича была высокая температура, и тетя Сима со свойственной ей категоричностью сказала:

— Никуда вы не пойдете! Это же, простите, дикость — ходить с температурой. Антон отлично выгуляет Боя.

Антон надел ему ошейник, взял поводок, но Бой не хотел уходить с лестничной площадки, рвался в комнату. Потом природа взяла свое: жалобно поскуливая, он ринулся вниз. В какие-нибудь пять минут он сделал все свои дела и бросился в подъезд. Антон, боясь отпустить поводок, полетел следом, как лодчонка на буксире у торпедного катера. Дом был построен экономично — без лифта, но Антон взлетел на третий этаж, будто экспрессом. Он был в мыле, растрепан и растерзан. Бой поднялся на дыбы, всей тяжестью тела обрушился на дверь и начал свою молотьбу хвостом вокруг хозяина.

— Загонял он тебя? — сказал Федор Михайлович. — Он, наверное, подумал, что ты собираешься увести его.

Потом Бой привык и, уже не опасаясь, охотно ходил гулять с Антоном, но, если хозяин сидел дома, прогулки были короткие, скучные и крайне деловитые.

Окрестные ребята были покорены сразу, хотя поначалу едва не разразился скандал. Что делают в летние дни мальчишки на всех улицах и во всех дворах? Читают книги, чинно беседуют о прочитанном, пережитом или о судьбах мира? Нет, они играют в футбол. Их ругают прохожие, проклиная водители машин, преследуют дворники, за разбитые стекла дают взбучку родители, но все это отскакивает от них, как мяч от штанги. Без усталости, в самозабвенном упоении азарта они лупят по мячу с утра до ночи, видя в себе будущих Яшиных, Лобановских и Татушиных. Чоколовские мальчишки ничем не отличались от других, а положение у них было даже выгоднее: улицы здесь еще только намечались, дворы отсутствовали и каждый пустырь, если только строители не изрыли его ямами и не завалили мусором, мог служить футбольным полем.

Федор Михайлович приехал в субботу вечером, а в воскресенье днем, когда он повел Боя гулять, Антон пошел с ними. Бой деятельно обживал новые места — камни, штабеля досок, груды кирпича и мусора, — но, когда они повернули за угол дома, исчез. За домом был пустырь, а на нем орава ребятишек без лада и склада, но с тем большим усердием колотила ногами по мячу. В эту ораву ворвался черный ураган. Что произвело большее впечатление — величина, внезапность появления, скорость бега или разинутая клыкастая пасть? Как бы там ни было, в несколько секунд всех бесстрашных нападающих, несгибаемых защитников и твердых, как скала, вратарей сдуло с пустыря. Вопли ужаса сиренами прорезали воздух. Бой никого не преследовал. Он сколько мог разверз пасть, ухватил мяч и, гордо вскинув голову, затрусил к хозяину. Сиреноподобные вопли дошли по адресу. В открытых окнах появились

испуганные лица взрослых, раздались панические крики:

— Что?.. Что такое?.. Кто это там?.. Собака?.. Какая там собака!.. Я вам говорю, она бешеная... Безобразия!.. А если медведь бешеный, по-вашему, лучше?.. В милицию надо позвонить... А где хозяин?.. Плевать на хозяина, пристрелить, и всё... — И на все голоса, на все лады перепуганные родители начали выкликать своих Игорьков, Юрочек, Петек и Мишек.

Федор Михайлович окинул взглядом орущее многоликое собрание в окнах, нахмурился и резко скомандовал:

— Бой, ко мне! Дай мяч! (Мяч шлепнулся на подставленную ладонь.) Идем, хулиган.

Они вышли на середину пустыря.

— Эй, футболисты, не бойтесь!

Из-за груд кирпича, штабелей леса показались головы неустрашимых героев кожаного мяча.

— Чего вы попрятались? Идите сюда.

— Как же, очень надо... Чтобы полатал, да?.. Заберите свою собаку!..

Переговоры продолжались довольно долго. Наконец самые храбрые вылезли из укрытий, но остановились в изрядном отдалении, чтобы в случае чего немедля дать тягу.

— Вы не бойтесь, ребята, он зря не трогает. Просто он очень любит играть в футбол.

— Ну да, рассказывайте...

— Вот увидите. Становитесь в круг и пасуйте друг другу. А главное — не бойтесь. Ну, начали...

Федор Михайлович поддал ногой мяч — Бой метнулся за ним. Когда он уже настигал его, Антон отбил дальше. Бой заметался по кругу. Ребята старались как можно скорее и подальше отбить мяч. Не потому, что им нравилась эта игра, а чтобы поскорей отдалить от себя мяч и летящее следом за ним страшилище. Они боялись и потому часто промахивались. Тогда Бой бросался на мяч, захватывал его в пасть и, победно вскинув голову, распушив хвост, бежал по кругу. Федор Михайлович отбирал мяч и снова пускал в игру. Мало-помалу футболисты успокоились, стали меньше бояться и лучше бить. Бой метался в кругу, бросался мячу наперерез, а если тот шел поверху, подпрыгивал и отбивал носом. Ребята орали и визжали, но уже не от страха, а от восторга. Федор Михайлович улыбался, Антон сиял. Это, конечно, была не его собака, но вроде как бы и его — из их квартиры.

С тех пор он увязывался за Федором Михайловичем каждый раз, когда тот вел Боя на прогулку или в город за покупками. Тетя Сима выговаривала Антону, но Федор Михайлович становился на его сторону:

— Серафима Павловна, он мне нисколько не мешает. Даже удобно: я захожу в магазин, а он держит Боя, или наоборот.

— Бой держит Антона?

— Или меня.

Бой очень любил такие прогулки. Гордо вскинув голову, он чинно вышагивал между ними и с любопытством ко всему присматривался. Им любовались и восхищались: «Ну и собака!.. Ох, какой красавец!» — раздавалось то с одной, то с другой стороны. Бой поворачивал голову к



говорившему и невозмутимо шагал дальше. Стоило им остановиться, как вокруг собиралась толпа. Все хотели знать, что за порода, сколько ему лет, сколько он весит, ученый он или неученый. Федор Михайлович терпеливо отвечал, хотя вопросы — всегда одни и те же — очень ему надоели.

Восторгались не все. Почти всегда находилось два-три человека, которые спрашивали, сколько он съедает, недоумевали, зачем держать такую собаку, или даже зло добавляли: «Лучше бы кабана кормил...»

— Вот дураки! — негодовал Антон.

— Конечно, люди небольшого ума, — соглашался Федор Михайлович, — Но дело не только в этом. Из них попросту вылезает кулак. Если чего-нибудь нельзя сожрать или заставить на себя работать, они не понимают, зачем оно существует. Кулаков уничтожили, но кулацкой психологии еще достаточно. И не обязательно в селе, в городе тоже хватает. Случается, она лезет и из так называемых образованных. Помнишь, как у Андерсена насчет позолоченной свиной кожи? «Позолота-то сотрется, свиная кожа остается...» Когда я слышу: «Лучше бы кабана кормил», так и кажется, что говорит это кабан, который хочет, чтобы его кормили...

Федор Михайлович не заставлял Боя работать, он рвался сам. Если хозяин нес в руках сумку, пакет, книгу, Бой настойчиво старался отобрать и, еще горделивее вскинув голову, нес сам. Главной своей обязанностью он считал охрану. По натуре Бой был миротворец. Если на улице дрались мальчишки или собаки, он бросался между ними и разгонял в разные стороны. Хулиганы, орущие, размахивающие руками пьяные вызывали у него ярость. Шерсть на холке вздымалась, обнажались вершковые клыки, и тут нужно было изо всех сил держать поводок — в желании охранить хозяина он мог зайти далеко... При этом он никогда не рычал, не лаял и вообще не разводил переговоров, а просто бросался с утробным ревом.

Он вообще почти никогда не лаял. Впервые Антон услышал Боев лай только через несколько месяцев. Боя полюбили в доме, к нему привыкли соседи, поэтому, когда Федору Михайловичу пришлось уехать на несколько дней, он мог оставить Боя, не опасаясь, что тот будет голодным или невыгулянным. Увидев чемоданчик, Бой обезумел. Он вился вокруг хозяина, тыкался ему в руки, подпрыгивал, чтобы лизнуть, и умоляюще заглядывал в глаза.

— Ничего, брат, не поделаешь, — сказал Федор Михайлович. — Со мной нельзя. Я скоро вернусь. А гулять с тобой будет Антон.

Бой оглянулся на Антона, вильнул хвостом и снова с мольбой уставился на хозяина.

— Да не могу я тебя взять! Понимаешь? Нельзя со мной.

Федор Михайлович присел перед ним, взял обеими руками его голову. Бой изловчился и мгновенно облизал ему все лицо.

— Ну ладно, ты никаких резонов знать не хочешь, — махнул рукой Федор Михайлович и ушел.

Бой стал у входной двери, наклонил голову так, что большое лопухастое ухо отвисло, и прислушался к удаляющимся шагам. Потом он наклонил голову в другую сторону, отвисло второе ухо. Шаги затихли. Бой поднял голову и... бухнул. Это был не бас, а басыще. Лестничная клетка отозвалась гулом. У Антона звенело в ушах, отдавалось под черепом. Испуганная тетя Сима выскочила из комнаты, вслед за ней вышли мама и папа. Все заговорили разом, пытались его успокоить, но Бой не обращал на них внимания и бухал, сотрясая дом. Буханье его становилось все выше, жалобнее и закончилось плачем. Он замолчал и снова прислушался. Хозяин не возвращался. Он лег в прихожей носом к двери в «крокодилей», как говорил Федор Михайлович, позе: положив морду на пол между широко

раздвинутыми лапами. Так он лежал почти все время, не сводя глаз с двери. Когда наступала пора гулять, он покорно шел за Антоном, но гулял мало, неохотно и, подгоняемый надеждой, с удовольствием возвращался домой. Хозяина не было, и Бой снова ложился носом к двери. Он не хотел играть, ничего не ел, лишь изредка шел в кухню, лакал воду и снова возвращался в переднюю. Его не привлекали ни сахар, ни мясо, ни даже любимое лакомство — косточки. Так продолжалось три дня, пока не вернулся Федор Михайлович.

Тогда Бой залаял снова. Едва не сбивая хозяина с ног, он излизал ему лицо, потом поднял голову и забухал, но уже совершенно иначе — обиженно и укоризненно,

— Обиделся, старик? — Бой продолжал лаять. — Что поделаешь, жизнь не соткана из одних удовольствий...

Бой перестал лаять, но еще долго в глотке у него урчало и клекотало. Только когда Федор Михайлович сел в кухне к столу, Бой подошел к своей кастрюле и вылизал ее дочиستا. Антон положил перед ним груды накопившихся костей. Кухню наполнил громкий треск и хруст.

— Такие кости, — сказала тетя Сима, — а он хрупает, как печенье. Я с ужасом думаю, что будет, если ему в пасть попадет, например, рука...

— Боюсь, будет нехорошо, — согласился Федор Михайлович. — Лично я, как говорится, в долю в таком случае не войду...

3

— Ты собираешься в Антарктиду, в Заполярье, на необитаемый остров? Впрочем, остров там, кажется, есть, но тебе на нем делать нечего... Стало быть, барахло — прочь. Из всего оборудования тебе нужны главным образом глаза и уши. Зубы тоже пригодятся. Что касается одежды, предписывается форма номер один: трусы. Днем и ночью. На всякий случай прихвати башмаки, куртку. Ну и штаны. Штаны, пожалуй, нужно. Для представительства и дипломатического протокола. Все! Остальное не понадобится или найдется на месте.

— А носовые платки?

— Дорогая Серафима Павловна, насморк — штука домашняя. В полевых условиях его не бывает, верьте моим сединам. Там не бывает также гриппа, бронхита и прочих городских радостей.

— Но спать он на чем-то должен?!

— Пуховых перин не обещаю, зато гарантирую неизмеримо лучшее: ворох свежего сена. Ну и отыщем какое-нибудь рядно. Что еще человеку нужно, если пузо у него набито, ноги гудят и сами складываются, как перочинный нож, а глаза слипаются без клея «БФ»?

Антон был совершенно согласен с Федором Михайловичем. Впрочем, что сейчас ни скажи Федор Михайлович, Антон принял бы с восторгом. В самом деле, зачем ему рюкзак, да еще чемодан, да еще сумка? Единственное, что его огорчило, — пришлось оставить компас.

— Если ты в лесу не научишься ориентироваться без компаса, заблудишься и с ним. И не воображай, что ты едешь в джунгли. Я ведь знаю, в голове у тебя сейчас каша и сапоги всмятку: пампасы и лампасы, саванны и гаваны... Так вот: мангровых зарослей там нет, охотников за черепами тоже, единственные лианы — повилика, а употребление любого огнестрельного оружия, включая лук и стрелы, запрещено. Ясно? Ты будешь жить

совершенно нормальной человеческой жизнью, если только не захочешь ходить на четвереньках.

Кондукторша попалась добрая, не побоялась ни Боя, ни постановлений, и до окраины они доехали на задней площадке трамвайного прицепа. Здесь следовало ловить попутную машину. Машины шли одна за другой, но Федор Михайлович руки не поднимал.

— Нам открытая не годится. Мы пять-шесть часов на солнцепеке выдержим, а Бой нет. Вон какая шубища, да еще черная. В два счета схватит тепловой удар.

Только во второй половине дня неподалеку остановился грузовик с фанерной халабудой в кузове. Водитель был небрит и зол. Из-за пустяковой формальности он не получил груза и вдобавок целый день не ел. Он не стал ничего слушать, хлопнул дверцей кабины и ушел в закусочную.

— Человек — создание сложное, — сказал Федор Михайлович. — Довольно часто путь к его сердцу идет через желудок, — и тоже ушел в закусочную.

Минут через пятнадцать они вышли.

— Порядок, — сказал Федор Михайлович. Он забросил рюкзаки в кузов, откинул задний борт. — Давай! — сказал он Бою, прихлопнул ладонью по дну кузова. — Барьер!

Бой слегка пригнул голову, вскинулся и, как подброшенный катапультной, взлетел в кузов.

Угрюмое лицо водителя слегка прояснилось.

— Зверюга! — сказал он с уважением. — Из цирка?

— Точно, — ответил Федор Михайлович и подмигнул Антону.

— Чудак, — сказал водитель, поднимая задний борт, — надо было сразу сказать. Он волка осилит?..

Грузовик зарычал, затрясся и, отчаянно скрипя фанерной халабудой, выехал на шоссе. Окраина все быстрее побежала от них, умаляясь, полезла вверх — машина шла под уклон; потом деревья у моста заслонили ее, лес расступился, отодвинулся от дороги, по сторонам распластывались то зеленые, то уже желтеющие поля. Кузов встряхивало, раскачивало, из-под него стремительно вылетала серая лента дороги, сужалась в узенькую полоску, в нитку, а горизонт неторопливо сматывал, прятал и ее, и поля, и перелески.

Смотреть на дорогу, обгоняющие машины очень интересно, но от качки и толчков голова шла кругом, хотелось пить, сидеть было жестко и неудобно. Антон устал, слегка оступел, и даже областной центр, через который они проезжали, оставил его равнодушным.

За городом булыжная мостовая нырнула в лог к маленькому мосту. Машина остановилась.

— Все, — сказал водитель, откидывая борт, — мне налево, вам на асфальт прямо. Не цапнет? — спросил он, отступая в сторону, когда Бой спрыгнул и бросился к ближайшему кусту. — А медведя он поджует?

— В первом раунде, — сказал Федор Михайлович. — Спасибо, будь здоров.

Машина ушла. Бой забрался под мост, жадно и громко лакал воду в маленьком ручейке.

— Давай-ка умоемся и пожует. Хвала Серафиме Павловне, сегодня от голода не пропадем.

Они расположились в кустах, неподалеку от дороги. Бой лег рядом и внимательно следил за каждым их движением.

— Что, старик, тоже проголодался? — Федор Михайлович достал кусок сырой телячьей головы. — На, получай свою косточку.

Бой деликатно взял из рук мясо, отошел в сторонку и лег. Через несколько минут Федор Михайлович оглянулся:

— Ты что не ешь?.. А где собака? Бой, ко мне!

Бой выбежал из кустов и остановился перед хозяином, изъявляя полную готовность служить.

— А где косточка? Зарыл? Вот поганец!.. Его, видно, укачало, есть не может и спрятал про запас. Что ж, нам теперь сидеть здесь и ждать, пока у тебя появится аппетит? Или бросим косточку? А где ее потом взять?

Преданно глядя на Федора Михайловича, Бой вилял хвостом.

— Тогда вот что: раз ты не хочешь, Антон сейчас пойдет и съест твою косточку.

«Вгав!» — отчетливо произнес Бой.

— Вот тебе и «вгав»... Где косточка? Пошли, Антон.

Бой отступил, повернулся и бросился в кусты. Антон и Федор Михайлович пошли следом. Бой стоял возле одиночного дерева и смотрел в их сторону. Когда они подошли ближе, он лег и зарычал.

— Не отдашь? Только через твой труп? А ну, вставай!..

Федор Михайлович оттащил упирающегося Боя, разгреб рыхлую землю и достал перепачканный кусок мяса.

— Вот видишь, а ты еще хочешь тягаться с человеком, царем природы.

Солнце склонялось к западу, уже не жгло так нестерпимо, и они забрались в первый попутный грузовик. За несколько километров до Ганешей одиночными деревцами, куцыми, жиденькими перелесками к дороге начал подбираться лес. Ветлы и сосенки, как любопытные ребятишки, то подбегали вплотную, то, оробев и застыдившись, разбегались, прятались по лощинам, показывая оттуда только взлохмаченные ветром вихры. А дальше еще растрепанные, но уже плотные ватаги повзрослев толпились, не разбирая ни лога, ни увала, и вот уже стеной стали по сторонам зрелые богатыри, разбросали могучие узловатые корневища, расставили широченные плечи, развесили до земли седые бороды, накрыли тенью шоссе. Машина вихляла в узком коридоре просеки. Удесятеренное эхо подхватывало рычание мотора, швыряло, мяло, глушило повторами. Оно убегало, возвращалось, настигало, оглушало, но вся эта трескотня, шум и гром металась внизу, на дне коридора, а стволы были недвижны и равнодушны, кроны недосягаемы и тоже неподвижны, только остроконечные макушки еле заметно покачивались под легким ветром.

Ганеши от двух убогих магазинчиков у дороги карабкались по косогору и скрывались за ним. Лес нехотя расступился, оставив место неширокой, заросшей кустарником пойме. Путаясь меж кустами, извивалась и петляла по ней река. Слева за мостом на изволоке стояли бело-красные руины большого, как дворец, двухэтажного дома.

— Там помещик жил, Ганыка, — сказал Федор Михайлович. — Всю округу в кулаке держал. Все его было.

— И лес?

— В первую очередь.

Километра через два Федор Михайлович постучал по кабине, машина остановилась.

— Дальше пешком пойдём, тут близко. Спасибо! — крикнул Федор Михайлович водителю.

Они вскинули рюкзаки на плечи и зашагали по обочине шоссе.

Бой бежал вдоль строя деревьев, принохивался и фыркал.

— Вот он, — сказал Федор Михайлович. — Мне о нем рассказывали. Сними шляпу... хотя бы мысленно. И смотри.

На небольшой поляне, окруженный редким штакетником, стоял великан. К штакетнику была прибита дощечка с надписью: «Дуб летний. Qvercus robur. Возраст семьсот лет».

— Понял? — спросил Федор Михайлович. — Ничего ты не понял. «Кверкус» по-латыни означает «красивое дерево». Ты видел что-нибудь красивее?.. Подумай. Он был уже большим, когда произошло татарское нашествие. В то время Колумб не открыл Америки — он просто не успел родиться. А Иван Калита не начинал собирать русскую землю — его еще не было на свете. И Александра Невского тоже. Не было паровозов и электричества, самой сложной машиной было колесо телеги, люди не знали, что такое картошка и, представь себе, никогда не видели телевизора...

— Как же они жили?

— Без телевизора?

— Да нет, вообще.

— Тяжеловато. Их кормили вот — лес, река.

— А земля?

— Поля? Меньше. Во-первых, их было мало, во-вторых, какой урожай наковыряешь с помощью коряги — прабабушки сохи? Было, конечно, трудновато. Они терпели. А в утешение себе сочиняли сказки.

Пытаясь рассмотреть вершину, Антон едва не свихнул шею. Дуб можно было окинуть взглядом, лишь отойдя далеко. Только тогда становилась очевидной его громада. Большие деревья на окраине поляны были ему, как подростки взрослому, по грудь. Они стояли поодаль робким, почтительным табунком, а он распростерся над ними величавый, недоступный и даже на ветру неподвижный.

— Вот это да! — сказал Антон. — Сила!

— Высказался? — насмешливо спросил Федор Михайлович. — Даже у наших прапредков, которые ходили здесь семьсот лет назад в домотканых портках и звериных шкурах, даже у них мысли были содержательнее, и они излагали их более членораздельно.

Антон обиделся. Хорошо еще, что он не высказал свое пожелание: «Вот бы влезть!» Федор Михайлович наверняка сказал бы что-нибудь еще обиднее. И что им обязательно нужно рассусоливать, когда можно одним словом? Сказал, и все. И точка. Если так все время будет придирааться, чем он лучше тети Симы? И на кой тогда ему, Антону, все это сдалось?

В полукилометре за поворотом открылось лесничество: пять домиков, сараи, службы, еще

один домик на отшибе, уже совсем в лесу. Перед большим домом — конторой — раскинулся цветник. Федор Михайлович ушел в контору, но скоро вернулся.

— Все в порядке, пошли к деду Харлампию.

Домик на отшибе оброс малиной, сиренью. В кустах прятались сарай и хлев. Дед Харлампий сидел на завалинке и ладил сачок. Он оказался моложавым, поджарым и усмешливым. Только седой венчик вокруг лысины показывал, что лет ему много.

— Добрый день, — сказал Федор Михайлович.

— А добрый! — весело согласился дед. — Бывайте здоровы. Садитесь, коли охота.

Федор Михайлович и Антон сели на завалинку.

Федор Михайлович сказал, что лесничий направил их к нему; нельзя ли у них в хате пожить некоторое время.

— А живите на здоровье, место не пролежите. Горница пустует: внучка в город уехала. Специальность зарабатывает. Экзамены сдает, — пояснил он.

— Заочница?

— Она самая. К лесному делу приспособливается. Теперь дело таковское: куды хошь — туды идешь. Все и тычутся, куды ни попадя, как слепые кутята... Вы кто же, дачники или по работе? Ну, по работе, так и вовсе ладно. Живите. Тут у нас тихо. Окромья... — дед понизил голос и заговорщицки пригнулся, — бабы моей. Она у меня чистый генералиссимус: целый божий день с утра до ночи всех наповал сражает... Во, слышь, гремит!

В домике загрохотало что-то металлическое, шум перекрыл злой женский голос.

— А, пропасти на вас нет, будьте вы прокляты!..

— Вы ее не особо пугайтесь. Она только так, с виду гремучая, душа у ей добрая... А ведь смолоду тише да ласковей девки в селе не было. И до чего ловко они потом ведьмами обертаются, просто удивительно!

— Может, оттого, что жизнь тяжелая.

— Не особо легкая. Не сахар, нет. Мужик иной раз норовит по жизни бочком, с него как с гуся вода, а бабу как запрягут смолоду, так и тянет... В поле работай, за скотиной ходи, ребят рожай, всех корми, одевай, обстирывай да ублажай... Так и ангела остервенить можно.

Дед Харлампий говорил и не сводил глаз с Боя, который лежал перед завалинкой и внимательно смотрел на него.

— А он не того, не хватит? Что-то больно сурьезно приглядается.

— Он зря не трогает.

— Так пес его знает, что по его зря, а что нет... Он к какому делу приставленный или просто так, для удовольствия?

— Водолаз, спасает тонущих.

— Ну? — восхитился дед. — Вот так хватает и тащит? А что? Такой чертяка вполне может — вон какой здоровущий. За что же он их хватает?

— За одежду, если есть. Или за руку.

— Ну и пускай, — подумав, согласился дед, — пускай уж хватает за что ни попадя, чем в утопленники... Ох, Катря моя взовьется, — засмеялся дед, — чище всякой ракеты... Ну, вы не робейте. Катря, — крикнул он, — тут к нам люди пришли...

— Какие еще люди? — загремело в ответ. — Такие же лоботрясы, как ты? Вот и трепли с ними языком, а мне и так продыху нет, будь оно все проклято!

— Да ты выдь погляди, по делу пришли. Из конторы.

— И в конторе такие же лодыри сидят, бумагу переводят, чтоб они перевелись вместе с ней!..

Вслед за этим пожеланием в дверях появилась коренастая тетка в платке, из-под которого выбивались седые волосы. Подол юбки у нее был подвернут, ноги босы, рукава кофты закатаны, будто она собиралась идти на кулачки со всеми, кто отрывает ее от дела.

Федор Михайлович начал объяснять, зачем они пришли, но не закончил. Глаза-щелочки тетки Катри сузились еще больше, кулаки уперлись в тугие бока, и на прищельцев обрушилась лавина. Что они себе думают в той клятой конторе, если у них есть чем думать? Что у нее, хата — не минай? Дела мало? С утра до ночи как заводная — туда-сюда, туда-сюда... У других людей мужья как мужья — по дому работники, добытки, кормильцы, а ее бог наградил лайдаком — только язык чешет да хворым притворяется. А все его хворобы — одна дурость и лень, бесстыжие его очи. Вот сидит цацки строит...

— То ж на рыбу, Катря, — вставил дед Харламий.

— А где та рыба, кто ее видел?.. Нет, чтобы кабана покормить — чтоб он сдох! — нет, сидит, как кот, на солнце выгревается да еще всяких бродяг заманивает...

— Сейчас покормлю, — приподнялся дед.

— Сиди, чтоб тебя прикипело к этому месту, опять горячим накормишь...

Дед Харламий еле заметно ухмыльнулся и подмигнул.

Еще и зубы скалит, бесстыжая душа, когда только господь бог освободит ее от такого мужа-дармоеда... А тут еще поночевщиков принесло, будто у нее мороки без них мало... Что, других хат нету, что все к ней прутся?

Антон во все глаза смотрел на ругающуюся тетку. И эта ведьма была когда-то тихая да ласковая? Наврал дед... «Прогонит, — подумал он. — И ну ее! У такой жить — загрызет. Лучше сразу уйти, а то еще пульнет чем...» Он посмотрел на Федора Михайловича, но тот слушал невозмутимо, с явным интересом. Незаметно заслонив Боя, у которого вздыбилась шерсть на холке, он придерживал его передние лапы ногой.

— Да они же люди, видать, ничего, — ухитрился вставить дед Харламий. — А у нас все одно горница пустует. Жалко, что ли?

А убирать ее кто будет? Уж не он ли, лысый лайдак? Ему ничего не жалко, не его забота. А ей пополам перерваться?.. А если их принесла нелегкая, так чего они поразевали рты, торчат тут, мозолят глаза и не идут в хату, пускай она провалится в тартарары. Что ей, делать нечего — только их уговаривать? А если им что не нравится, пускай идут под три чёрты...

— Нет, почему же, — сказал Федор Михайлович, — очень нравится. Мы остаемся. Где можно умыться?

Уж не думают ли они, что она им будет подавать да прислуживать? Вон колодец, пускай сами воду достают и умываются. Да пусть не наливают там, как свиньи, убирать за ними некому...

— Очень хорошо, — сказал Федор Михайлович. — Пошли, Антон.

— А боже ж мой! — закричала снова тетка Катря. — А то еще что за сатанюка?!

Ругань тетки Катри наскучила Боя, он встал, потянулся и зевнул во всю пасть.

— С ним не будет неприятностей, он воспитанный.

Да на черта ей его воспитание? Еще чего выдумали — таких чертей с собой возить. Их в клетках надо держать, а не к добрым людям водить. Да если б она знала, что они такого чертяку приведут, ни за что бы не пустила. И пусть они его девают, куда хотят, а чтобы ей и на глаза не попадался. Он же всех курей передавит, а потом на людей кидаться будет...

Федор Михайлович вытащил из колодца бадейку воды дед принес ковш. Холодная вода обжигала лицо.

— И всегда она так? — спросил Антон.

— Завсегда! — весело подтвердил дед Харламгий.

Антон пожал плечами:

— Как вы ее выдерживаете?

— Э, милый, да я, может, и живой-то до сих пор сквозь ее руготню. Смолоду я совсем квелый был, болезни до меня липли, как смола до штанов. Чуть что — в лежку. Она как заведет свою шарманку, как примется меня костить, тут, хочешь не хочешь, выздоровеешь...

— Судя поговору, вы коренной русак?

— Костромской.

— А сюда как же попали?

— В гражданскую. В двадцатом, когда белополяков гнали, полоснуло меня, еле выходили. Катря и выходила... Ну, отхворался, отлежался и в мужьях оказался. Тут и прирос...

— Устал? — спросил Федор Михайлович Антона.

— Не очень, только от тетки этой в голове гудит.

— Пойдем пройдемся, гудеть и перестанет. Тут недалеко грабовый массив.

Тропка вилась через сосновый подрост. Бой деловито трусил впереди, распушив задранный полумесяцем хвост. Антона всегда удивляло богатство его сигнальной системы. У других собак он или висит палкой, или раз навсегда свернут бубликом. У Боя он был подвижен и бесконечно разнообразен. Он мог вилять одним кончиком, молотить из стороны в сторону, мотаться по кругу, вытягиваться горизонтально, если Бой шел по следу, задираться вверх вот таким веселым полумесяцем, если шли на прогулку, но, если он поднимался, распушившись,



и где-то с половины заламывался вниз, следовало быть начеку — значит, Бой видел или чуял врага и в любую секунду мог ринуться в атаку...

— Боя ты и дома видишь, лучше по сторонам смотри, — сказал Федор Михайлович.

Сосновый подрост кончился, вместе с ним исчезло и солнце. Они вступили в грабовый лес. Перед ними были только голые серебристо-серые или темные трещиноватые стволы. Кроны смыкались наверху в сплошной мрачный заслон. На земле ни кустика, ни травинки — только жухлые, полусгнившие листья да изредка отпавшая тонкая веточка. Буйная веселая зелень, удушливый терпкий зной сосновой рощи остались позади. Здесь было сумрачно, прохладно и сыро. Лес до краев залила гулкая тишина. Шорох листьев, треск ветки под ногами казались оглушительными.

Бой уже не бежал, а шагал пружинным шагом, сторожко поворачивая голову из стороны в сторону. Но вокруг все было немо и неподвижно, их окружали лишь редкие и прямые, как колонны, стволы.

Тропка свернула к опушке. Между стволами стали видны узкие, как стрельчатые окна, просветы голубого неба. Легким дымком поднимались от земли испарения, клубились и таяли под прорывающимися в чашу косыми столбами солнечного света.

— Как в кафедральном соборе, — сказал Федор Михайлович. — Здесь только Баха слушать. Знаешь, кто такой Бах?

— Бах? Это старик, который профессора Воронова назвал ослом?

— Воронова?

— Ну, Антона Ивановича, который сердится... Помните, в кино?

— Да? Ну... Это не главная его заслуга. В основном он сочинял музыку... Нравится тебе здесь?

— Не очень... — сказал Антон. — Будто в погребу.

— Ты еще слепой и глухой. Как всякий горожанин. Но, надеюсь, не безнадежен...

Антон снова обиделся. При чем тут Бах? Почему он должен знать этого Баха? И вообще он вовсе не затем сюда приехал, чтобы его все время воспитывали. С него и дома хватает по завязку...

4

Тропка опять вывела их в сосновый подрост, потом к шоссе. Они повернули вправо и пошли домой. Когда хата деда Харлампия уже была близко, впереди показалось небольшое стадо коров. Они возвращались с выпаса и уже не хватало на ходу траву, побеги придорожных кустов. Отягощенные, ленивые, они брели вразброд, где попало — по кювету, обочине, асфальтовой полосе. Вымени с торчащими сосками болтались, как переполненные бурдюки. Следом за коровами полз грузовик.

Шофер непрерывно сигналил, высунувшись из кабины, орал на пастуха, пастух орал на коров, но те ни на что не обращали внимания — отмахивались хвостами от мух, встряхивали ушами и брели так же лениво. Только когда пастух принялся колотить палкой по раздутым и

гулким, как барабаны, животам, коровы нехотя расступились, и грузовик прорвался.

Антон не любил коров. Видел он их редко, только издали, когда случалось бывать в броварском лесу, и старался держаться от них подальше. Не то чтобы он их боялся... Но все-таки у них были рога и как-то неприятно было смотреть в их большущие, ничего не выражающие буркалы...

Антон оглянулся на Боя. Тот, напружинившись, не спускал глаз со стада. Веселый полумесяц хвоста распушился еще больше и медленно распрямлялся. Бой еще никогда не видел коров. Они были непонятны ему, а все непонятное могло оказаться опасным. Большое и непонятное двигалось к нему, к хозяину... Хвост заломило вниз, и в бешеном галопе Бой распластался навстречу опасности.

Услышав топот, коровы подняли головы и остановились. Мелких деревенских собак они знали и нисколько не опасались. Те без конца брехали и очень боялись попасть под удар рогов или копыт. Теперь на них молча летело что-то большое, черное, с оскаленной пастью. Ближайшая корова опустила башку, угрожающе выставила рога. Но черный зверь не испугался, он был все ближе, оскаленная пасть все страшнее. Дико мекнув, корова шарахнулась в сторону, остальные ринулись за ней. Топот, треск сухих веток да раскачивающиеся кусты у обочины показывали место, где скрылась в лесу рогатая опасность. Долговязый пастух-подросток окаменел от страха. Бой не обратил на него внимания. Вскинув голову и снова взвив хвост полумесяцем, он затрусил обратно.

— Ну, сатанюка! Ну, герой! — Дед Харламбий видел несостоявшуюся баталию и восхищенно хлопал себя по штанине. — Этак он из наших коров враз чемпионов наделает, такие скоростя не всякий конь дает...

Гордый своей победой, Бой подбежал к хозяину, ожидая одобрения, похвалы, но Федор Михайлович рассердился и начал строго объяснять, что коров трогать нельзя. Бой преданно смотрел ему в глаза и вилял хвостом. Потом хвост уныло опустился, Бой зевнул. Он не понимал, за что ему выговаривают.

Все произошло, как говорил Федор Михайлович тете Симе. Дед Харламбий и Антон принесли в горницу несколько охапок пахучего сена, Федор Михайлович сделал пышную постель, тетка Катря, чертыхаясь и проклиная, добыла где-то и бросила на сено рядом. Федор Михайлович попробовал открыть окошко, но оно было заколочено гвоздями. Потихоньку от тетки Катри Федор Михайлович взял у деда топорик, отогнул гвозди и вынул всю раму.

— Свежим воздухом мы обеспечены, теперь можно спать.

Дверь в кухню была открыта, и теткина ругань, слышная все время, стала громче с явным расчетом на то, чтобы услышали и они. Федор Михайлович и Антон тут же узнали, что они шалопуты, которые шатались черт те где весь вечер, а спать легли не евши. И если у большого нет ни понятия, ни соображения, то чем дитё виноватое, зачем мальчика морят голодом бессовестные люди. И все потому, что теперь все стало вверх ногами, матери детей, как котят, бросают на произвол... А если им не нравится, что едят люди добрые, они брезгают, то пусть идут, бесстыжие, ко всем чертям, никто их держать не будет...

— Что ж, Антон, — сказал Федор Михайлович, — придется бесстыжим идти.

Они вышли в кухню. Бой скользнул следом и немедленно улегся под столом. Он сразу понял, что в этом доме главный командир и хозяин — крикливая старуха, и старался не попадаться ей под ноги.

Почему-то дома такой вкусной вареной картошки с крупной солью и черным хлебом никогда не бывает. Хлеб был вязкий, с закалом, но тоже необыкновенно вкусный. А густое и еще теплое парное молоко можно пить без конца. Антон пил, пока не осовел, а в животе не начало бултыхаться.

— А сатанюку своего голодом морите? — свирепо спросила тетка Катря.

— Надо бы ему суп сварить, да поздно и негде, завтра уж.

— Сами наелись, а скотина безответная подыхай... Хоть молока бы плеснули, не все самим сжирать.

— Бой! — окликнул Федор Михайлович.

С грохотом, едва не свалив его, Бой выбрался из-под стола.

— Молока хочешь?

Бой завиллял хвостом и облизнулся.

— Ишь, стервец, понимает! — восхитился дед Харламий.

Катря налила в миску молока. Бой жадно припал к миске, а тетка начала ядовито бурчать о том, до какого баловства люди дошли — собаку молоком поят, и сколько это нужно молока, чтобы такую лошадь напоить, и нет ни стыда у них, ни совести, потому что другие люди, бывает, и вовсе молока не видят... Но когда Бой, вылизав миску, оглянулся на нее и завиллял хвостом, она подлила ему сама.

В оранжевом свете керосиновой трехлинейки все плыло перед глазами Антона. Он встряхивал головой и с трудом открывал глаза.

— Ты что, малый, глаза тарацишь? — сказал дед Харламий. — Вали-ка на боковую, ты, видать, вовсе готов.

Они легли на пахучую, шуршащую постель, а тетка в кухне, повывисив голос — чтобы слышали! — бурчала о шалопутах и бездельниках, которые неизвестно зачем таскают мальцов за собой. А если уж им так кортит, шлялись бы сами, чтобы их нелегкая забрала...

Только теперь Антон почувствовал, как у него гудят ноги и что их куда легче сгибать, чем вытягивать, веки нельзя раздвинуть даже пальцами, и хотел удивиться, откуда Федор Михайлович знал заранее, что так будет, но не успел.

Все происшествия долгого дня, все радости и обиды спутались в клубок, в котором не было ни начал, ни концов, — Антон провалился в сон.

Сон оборвали грохот и ругань. Тетка Катря гремела горшками, проклинала их, мужа-лодыря, лоботрясов-постояльцев, которые вылеживаются, как бары, когда на дворе давно божий день. Несколько минут они лежали, прислушиваясь и улыбаясь.

— Вот дает! — восхищенно сказал Антон. — Мировая бабка, с такой не соскучишься! Вроде динамика на вокзале...

Тетка Катря уже не казалась ему грозной, и руготня ее нисколько не задевала.

— А и в самом деле хватит валяться, — сказал Федор Михайлович. — Позавтракаем да пойдем посмотрим, какой он здесь, Сокол. Марш-марш к колодцу!

Солнце взошло, но еще не показалось из-за деревьев. Листья на кустах стали матовыми, как

запотевший стакан с холодным молоком. Ветки вздрагивали и брызгали росой. Там перепархивали и наперебой свиристели неизвестные Антону пичуги, радовались утру или, может быть, спозаранку ругались, не поделив чего-то в своей коммунальной квартире.

Даже на животе кожа у Антона стала гусиной, он потянулся было за рубашкой, но, перехватив взгляд Федора Михайловича, сложил ее вместе с брюками, спрятал в рюкзак. Что, в самом деле, девчонка он, что ли? Закаляться так закаляться...

Перейдя шоссе, они вступили в смешанный лес. Бой бежал впереди. Он совершенно преобразился. Здесь не было ни поводка, ни ошейника, не было рычащих, воняющих машин и троллейбусов. Его окружали просторы, глубины и тайники, полные шорохов, потрескиваний и еще каких-то неведомых звуков. И запахи. Еле различимые струйки, потоки, водопады, лавины запахов. Незнакомых, непонятных и манящих. Он вынюхивал, перехватывал, упивался ими. То, остановившись и вытянув голову, он шевелил своими шагреневыми ноздрями и ловил доносимое еле ощутимым движением воздуха, то, почти уткнувшись носом в землю, распластывался в беге по только для него ощутимому следу. Под массивными лапами его не треснула ни одна веточка, не зашуршала хвоя. Внезапно он исчезал и, неслышный, как тень, появлялся вдруг снова.

— Великий охотник в нем пропадает, — улыбнулся Федор Михайлович.

Тропа привела к малоезженной дороге. На пригорке ее преграждал шлагбаум.

— Зачем? — удивился Антон.

— По идее, наверное, для того чтобы не ездили всякие разные личности и не безобразничали в лесу. Но, как многие другие, эта идея осуществлена наполовину. Видишь, клямка не заперта замком, а заткнута колышком. Рассчитано на такую дисциплинированность и совесть, какие не часто встречаются. Впрочем, может, замок и вешали, а его сперли...

Лес сменила полоса лощины, за ней открылось розовое поле. Над ним стлалось негромкое монотонное гудение, будто где-то далеко-далеко шел самолет. Антон посмотрел вверх. Безоблачное небо зияло бездонной голубой пустотой.

— Что это, дядя Федя?

— Будущая гречневая каша и мед. Бродить там не советую — пчелы.

На краю поля снова рос кустарник, из него ветлы поднимали свои растрепанные макушки, еще дальше вставала громада каменного обрыва. На обрыве, озаренные солнцем, пламенели медно-красные стволы сосен.

— Вот это да! — сказал Антон и побежал.

Впереди, мотая черным факелом хвоста, мчался Бой.

Окаймленный зарослями ивняка, берег обрывался к реке. Она была переменчива и капризна, будто ее сложили из разных, совсем непохожих друг на друга рек. Прямо перед Антоном она была узенькая и мелкая. Сквозь редкую поросль айра и кувшинки виднелось илистое, а дальше песчаное дно. Выше по течению из воды торчали камни, здоровенные глыбы, а направо за мелководьем река вдруг растекалась в глубоком и широком плесе. На неподвижном зеркале его лежала опрокинутая громада розовой скалы левого берега. В ней было не меньше тридцати метров. От самого уреза воды она поднималась отвесной стеной. А наверху пламенел стволами, шумел кронами сосновый лес.

Антон смотрел и не мог насмотреться. Как это было не похоже на приплюснутые, сожженные солнцем берега Днепра, поросшие низкорослым редким тальником. Федор Михайлович

подошел, остановился рядом.

— Ну, на этот раз тебе не хочется сказать «мирово», «сила» или еще что-нибудь неандертальское? И то хорошо. Давай-ка последуем примеру Боя, а то мне скоро нужно возвращаться.

Бой уже шлепал по воде, свесив башку, что-то рассматривал на дне.

Они прошли к широкому плесу. Антон съехал по крутому откосу к воде, подпрыгнул и нырнул. Еще под водой он слышал буханье. Бой стоял над обрывом и встревожено лаял.

— Это он опасается, что утонешь и тебя придется спасать! — крикнул Федор Михайлович.

— Тонули такие, как же!

Федор Михайлович тоже нырнул. Бой залаял еще тревожнее. Хозяин появился на поверхности, не оглядываясь, поплыл к левому берегу. Бой коротко рыданул, скатился с откоса и бросился следом.

— Догоняй! — крикнул Федор Михайлович.

Боя не нужно было подгонять. Он тоненько, жалобно поскуливал и греб лапами так сильно и торопливо, что по грудь высывался из воды.

Они доплыли до левого берега и повернули обратно. Бой плыл впереди и время от времени оглядывался на хозяина: «Ты здесь? Здесь...» Теперь он уже не спешил, над водой виднелись только шагреневые ноздри, круто поднимающийся лоб, уши не висели, а плыли по сторонам, как лопухи.

Они взобрались на откос и легли на траву. Бой встряхнулся, окатив их с ног до головы, и немедленно вывалился в песке, всяческом древесном соре. Внезапно он вскочил и сторожко уставился на левый берег, хвост его заломился вниз. Кусты возле воды шевелились.

— Эй, кто там? — крикнул Федор Михайлович.

Кусты зашевелились сильнее, из них долетел ребячий голос:

— Дяденька, это ваша собака? Она кусается?

— Все собаки кусаются. Только одни сдуру, другие — когда нужно.

Из-за кустов показались две мальчишечьи головы.

— А нас покусает? Нам туда надо.

— Идите, не бойтесь.

Мальчишки о чем-то посоветовались. Очевидно, заверение показалось им малоубедительным.

— Дяденька, она ученая?

— Ученая.

Это решило дело. Из кустов вышли двое ребят. Мальчик постарше закатал штаны и пошел по мелководью, опасливо поглядывая на Боя; малыша закатывание не спасало — он скинул свои вовсе, свернул в дудку и поднял к плечу.

Ребята перебрались на правый берег, но уйти были не в силах. Они остановились в отдалении и уставились на Боя.

— Хотите посмотреть — идите ближе, — сказал Федор Михайлович.

— А он не тронет?

— Если не будете драться и орать — не тронет. А будете — хватит за штаны. А которые голопузые — тех за это самое место...

Малыш, который, прижимая к груди сверток, остолбенело смотрел на Боя, лихорадочно развернул штаны и поспешно натянул.

— Теперь все в порядке, — засмеялся Федор Михайлович. — Тебя как зовут?

— Хома, — шепотом ответил мальчик.

— Ну, вот тебе и компания, Антон. А мне пора. — Бой вскочил. — Нет, со мной нельзя. Оставайся здесь, охраняй Антона. Понял? — Бой вильнул хвостом. — Лежать, охранять...

Бой, улегшись в позе сфинкса, провожал взглядом хозяина. Видя, что собака не смотрит на них, ребята подошли ближе. Бой поднялся — они замерли.

— Не надо их трогать, — строго сказал Антон. — Они хорошие ребята, поди познакомься.

Мальчики затаили дыхание, на лицах у них застыли гримасы восторга и ужаса. Бой подошел, обнюхал. Хома побелел и отчаянно зажмурился. Когда он решился и приоткрыл глаз, страшная черная собака уже лежала возле незнакомого пацана.

На Антона высыпался обычный ворох вопросов. Как она называется, сколько ей лет, сколько она ест, волкодав ли она и что умеет. Антон десятки раз слышал, что в таких случаях отвечает Федор Михайлович, и теперь объяснял все горделиво и небрежно. Он не врал, но как-то само собой получалось, что чем большее восхищение рисовалось на лицах ребят, тем больше достоинств и доблестей оказывалось у Боя. А тот развалился на боку, разбросал лапы и, вывалив язык, хахакал — ему уже было жарко. Внезапно он закрыл пасть и прислушался. Из леса, подступающего слева к реке, донесся треск. Бой повернулся на живот, лег в сторожевую позу. На опушке леса появились коровы. Это было вчерашнее стадо, и гнал его тот же долговязый пастух-подросток. Шерсть на холке Боя вздыбилась, он поднялся, как медленно взводимый курок.

— Бой, нельзя! — сказал Антон и обхватил его шею руками.

Бой даже не повернул головы — он смотрел на рогатую опасность. Опустив головы и хватая на ходу траву, коровы медленно приближались.

— Фу! Нельзя, Бой! — повторил Антон и еще крепче обхватил его шею.

Бой, вырываясь, поднялся на дыбы, наотмашь ударил Антона лапой. Антон опрокинулся навзничь, а Бой молчаливым свирепым галопом ринулся на врага. Коров разметало, как смерчем. Некоторые бросились на гречишное поле, остальные, круша, ломая ветки, — в тальник к реке. Долговязый пастух увидел Боя издали, отчаянным прыжком метнулся к дереву и сразу оказался метрах в трех от земли.

Деревенские ребята орали от восторга и науськивали. Бой не обращал на них внимания. Победоносно распушив поднятый хвост, он остановился под сосной, на которую взобрался пастух, и бухнул. Пастуха, будто пинком, подбросило еще выше. Ребята захохотали. Антон подбежал к дереву.

— Забери свою зверюку, — заныл пастух, — вон он коров в гречку позагонял, мне ж башку оторвут...

— Слезай, — сказал Антон, — он лает потому, что ты прячешься.

— Слезай, Верста! — кричали ребята. — Он не тронет. Нас же не тронул...

Пастух посмотрел на Боя — тот миролюбиво повиливал кончиком хвоста, не обращая внимания на коров, которые, уже успокоившись, безмятежно хрупали цветущую гречиху, и медленно пополз вниз. Бой обнюхал его и отошел. Пастух подобрал свой кнут, не спуская глаз с Боя, попятился к гречишному полю. Только оказавшись на большом расстоянии, он заорал на коров, погнав их к остальным. Бой тотчас присоединился к нему и загнал преступниц в кусты.

Пастух уже не так боялся и остановился, чтобы получше рассмотреть страшного зверя.

— Мне бы такую собаку... — сказал он. — Он волка задушит?

— А тут есть волки? — спросил Антон.

— Пока не слышать, а может, и есть, кто их знает.

— А кто есть?

— Белки, зайцы. Раньше козы были. Постреляли всех.

— Кто?

— Люди, кто их знает.

— А почему ты — Верста, это фамилия?

— Не, — засмеялся мальчик постарше. — Он Семен, это мы его так зовем. Вон он какой длинный...

Спутника маленького Хома звали Сашко, и он оказался одноклассником Антона, пятиклассником. Семен был на год старше и в школе уже не учился.

— Зароблять надо, — сказал он. — Вот худобу пасу. Осенью, может, батько в город, в ремесленное отвезут...

— Здесь разве негде работать?

— Та шо тут робыть, коровам хвосты крутить?

— А я бы здесь жил и жил, — сказал Антон. — Хорошо у вас!

— Раньше было хорошо, — мрачно сказал Сашко. — Когда дачники не ездили. А теперь полные Ганеши. И сюда наезжают. На машинах.

— Ну и пускай, жалко тебе, что ли?

— Не жалко. Вон посмотри: как свиньи, понакидали...

Антон оглянулся и только теперь увидел то, что раньше не замечал: черные раны кострищ в зеленой мураве, ржавые консервные банки, обрывки пожелтевших на солнце газет.

— Почему же им не запрещают?

— А кто им запретит? Одни уехали, другие приехали. Что тут, сторожа поставишь? А и поставить — надают ему по шее, и все, будь здоров, не кашляй...

— Ну, огородить, что ли... — нерешительно сказал Антон.

— Чудак! — засмеялся Сашко. — Разве лес огородишь? Тут раньше вывески вешали — то запрещается, это воспрещается. Чихали все на эти вывески. С присвистом. И перестали вешать. И зачем эти дачники сюда ездят? В городе же интереснее!

— Тут природа, — солидно сказал Антон.

— Ну и что? Зато ни кина, ни футбола.

— А ты тоже на дачу? — мрачно спросил Семен.

Антон объяснил, кто он и почему приехал.

— Ну ладно, я пошел, — так же мрачно сказал Семен, выслушав, — пора худобу гнать.

Сашко и маленький Хома, которой поочередно смотрел в рот каждому говорившему и даже шевелил своими пухлыми губами, будто повторял сказанное, тоже ушли.

Антон решил пройти вверх по реке. Еле приметная тропка вилась у самого берега среди кустов ивняка, поднималась вверх в заросли лещины, переваливала через торчащие из почвы глыбы замшелого камня. Здесь было сумрачно и сыро. В просветах между кустами поблескивала река, а над нею высилась гранитная стена противоположного берега. Она была совсем не такой неприступной, как показалась издали. Уступы и распады, заросшие кустарником и молодыми деревцами, указывали места, где можно взобраться наверх. Антон решил обязательно побывать на той стороне и все как следует рассмотреть.

Бежавший впереди Бой остановился. На тропинке перед ним появилась худенькая девочка в трусах и майке. Если бы не две косицы, ее можно было принять за мальчишку. Зацепив пальцами тесемки белых теннисных тапочек, она вертела ими в воздухе. Бой внимательно присматривался к мельканию тапочек.

— Брось, — крикнул Антон, — а то укусит!

Девочка подняла на него спокойный взгляд.

— Это собака, да? Такая большая? Зачем же она будет меня кусать? Она, наверное, умная. Правда? Ты ведь умная, хорошая собака? Нет. Ты не собака. Ты собачина. Нет — собачища... Какой ты красивый! И глаза у тебя умные. Ты, наверное, все понимаешь? Ну, иди сюда, собакин, давай познакомимся... — Девочка присела на корточки. Бой, виляя хвостом, подошел к ней и лизнул в нос. — Вот видишь, — сказала девочка Антону, — я говорила, что он умный. А откуда...

За кустами раздался сдавленный вопль и громкий всплеск. Бой метнулся туда, Антон и девочка бросились следом.

Реку преграждала гряда больших камней. По ним можно было перейти с берега на берег, не замочив ног. Посередине гряды, согнувшись, в воде стоял мальчик. Он изо всех сил цеплялся за камень, а Бой, стоя по брюхо в воде, вцепился сзади в его куртку и тащил к себе. Антон



устремился на помощь, но девочка схватила его за руку.

— Подожди, — сказала она, — очень интересно, что будет дальше.

Сверкая глазами, прикусив губу, она с ликованием и жадным любопытством следила за происходящим. Там продолжалась немая борьба: мальчик цеплялся за камень, Бой, упираясь ногами, изо всех сил дергал его за куртку.

— Толя, — с коварной нежностью сказала девочка, — что ты там делаешь? Почему ты обнимаешь камень?

Толя повернул побелевшее, в красных пятнах лицо и, должно быть, расслабил руки. Бой оторвал его от камня, но Толя тотчас еще крепче припал к другому.

— Что это... т-такое? — с трудом проговорил Толя. — Чего он хочет от меня? Куда... куда он меня тянет? — Он повернул голову, уже не ослабляя хватки, и увидел Антона. — Это ваше животное?

— Мое, — фыркнул Антон.

— Скажите ему, пожалуйста, чтобы оно меня отпустило.

— Чудак! — уже в голос захохотал Антон. — Он же тебя спасает, из воды тащит. Он водолаз, спасает тонущих.

— Я вовсе не тону, меня не надо спасать. Он только порвет мне куртку, а она новая, заграничная.

— Бой, ко мне!

Бой выпустил из пасти куртку, оглянулся и вильнул хвостом.

— Ко мне!

Бой нехотя побрел к берегу. Несколько раз он останавливался и смотрел на Антона и незнакомого мальчика — может, все-таки надо его спасти?

Толя выпрямился и сел на камень. Он запыхался, будто бежал в гору. Достав из кармана куртки аккуратно сложенный носовой платок, Толя вытер лицо, потом руки.

— Что это за чудик? — тихонько спросил Антон.

— Мой спутник. Воображает себя рыцарем, хотя он всего-навсего Санчо Панса. Только очень нудный. Ходит следом и умничает, будто пришел в гости к древним родственникам и показывает, какой он пай и воспитанный. Только ночью от меня и отстает. Чтобы не огорчать родителей. Он ужасно послушный.

— А ты?

— Я — нет. Я кошмарный ребенок. Так говорит моя мама. Наверное, так и есть... Толя, ты уселся там навеки?

— Сейчас, — ответил Толя. — Скажите, пожалуйста, — обратился он к Антону, — как называется порода вашей собаки?

— Ньюфаундленд.

— Если не ошибаюсь, это остров возле Канады?

— Не ошибаешься, остров. И собака оттуда.

— Тогда я, наверное, вылезу: эта собака должна быть культурной. Только вы ей все-таки скажите, чтобы она отошла в сторону.

— Ты всегда такой нудник? — не выдержал Антон.

— Почему я «нудник»?

— А вот так тягомотно разговариваешь.

— Это не потому, что я нудник, а потому что вежливый.

— Ну и пускай там сидит со своей вежливостью хоть до вечера, — сказала девочка. — Пошли.

Они вскарабкались по откосу к тропинке. Сзади зашлепал по воде вежливый Толя.

— Ты откуда? А как тебя зовут?.. А мы из Ленинграда. И зовут меня Юка.

— Это под кого тебя так обозвали?

— Ни под кого. Я, когда была маленькая, не могла выговорить Юлька и говорила Юка. Так все и привыкли.

— Дачница? — со всем презрением, на какое он был способен, спросил Антон.

— Да... А почему ты так говоришь? Это плохо? Или стыдно?

— И чего вас сюда принесло? — вместо ответа сказал Антон. — Аж из Ленинграда.

— Знакомая знакомой моей мамы ездит сюда уже пять лет. И очень хвалит. Вот мы и приехали. Ленинградцы всюду ездят. Им все интересно. И мне здесь очень интересно.

— Ты и в блокаду жила в Ленинграде?

— Нет, меня на свете не было. Мама жила. А я послеблокадная.

Девчонка была самая обыкновенная, даже некрасивая. Только глаза у нее были не глаза, а глазищи. Огромные, с неистовым любопытством распахнутые на все окружающее.

Сзади слышались чавкающие шаги. Следом за ними шел Толя в хлюпающих башмаках и пытался на ходу отжать воду из полы куртки.

— Тыними и выжми. И штаны тоже.

— Ничего, я так.

— И башмакиними, а то пропадут — дома влетит.

— Что значит «влетит»? — Толя поднял на Антона незамутненно голубые глаза.

— Высплют тебе, вот и все.

— Вы хотите сказать, что меня побьют?

— А что же!

— В нашей семье это абсолютно исключено, — уверенно сказал Толя.

— Самому же противно мокрому. И чего ты так вырядился? Жарко ведь.

— Он всегда так. Босиком только в постели ходит. Боится инфекции.

— Эх ты, инфекция, — пренебрежительно сказал Антон. — Ну и потей.

— У каждого свои убеждения и привычки, — невозмутимо ответил Толя, — я своих никому не навязываю.

5

Федор Михайлович пришел хмурый, рассказ о встречах Антона, подвигах Боя пропустил мимо ушей.

— Вот какая штука, Антон: придется тебе остаться одному. Мне надо съездить в райцентр. Затеваается здесь дрянная история. И я не могу не вмешаться. Лесничий получил указание выделить участки для вырубki.

— Рубить лес?

— Вот именно! Район и так лысый, как колено. Реки усыхают, овраги пожирают поля. А тут, вместо того чтобы новые леса сажать, собираются сводить единственный уцелевший. А лес не репа, за лето не вырастишь, ему столетия нужны. Вот мне с лесничим и надо ехать...

— А как же я?

— А что ты, маленький? До Чугунова недалеко. Если завтра не обернемся, послезавтра во всяком случае будем здесь. Ничего с тобой не сделается. Тетка Катря накормит, а занятие ты сам подыщешь... Слушай-ка, совесть у тебя не пробудилась? Пора бы! Если Серафима Павловна не получит о тебе сообщения, ей Черное море покажется красным, фиолетовым или еще не знаю каким и она может ударить во все колокола...

— Это да! — улыбнулся Антон. — Дикая паникерша.

— Благовоспитанные люди называют это качеством любовью, заботой о ближнем... Так вот, завтра с утра сходи в Ганеши на почту и отправь ей телеграмму. А потом можешь шататься по лесу, подставляя пузо солнцу и предаваться прочим удовольствиям. Только смотри — я ведь вас, пацанов, знаю: пугачи, самопалы и прочее грозное оружие, — предупреди своих новых дружков, чтобы при Бое не стреляли. Он обучен бросаться на стреляющих, и может получиться скверная история... И еще: ни при каких обстоятельствах не употребляй команду «фас!» — не оберешься беды. В нужном случае Бой сам сориентируется. Договорились?

— А чего ж! — сказал Антон.

Перспектива остаться одному встревожила его только в первую минуту, а чем больше он об этом думал, тем привлекательнее она казалась.

Дядя Федя, конечно, мировой парень, морали не читает, и, в сущности, они как товарищи, только один старше, другой моложе.

Но остаться на день-два совсем одному, даже без дяди Феди, — просто здорово!

После завтрака Антон свистнул Бою — пошли гулять! Бой уверенно помчался напрямик через лес к реке. Потеряв из глаз Антона, он останавливался, поджидал и снова бежал вперед.

Гречишное поле исходило самолетным гулом. Над берегом навис зной, на остекленелой поверхности реки не было ни рябинки.

— Э-гей! — донеслось с правого берега.

«Эй! Эй!» — Гранитная стена оттолкнула гулкое эхо.

На противоположном берегу стояла Юка и махала рукой.

— Подождите, я с вами! — крикнула она и бросилась в воду.

Бой стоял над обрывом и, склонив набок голову, наблюдал за плывущей. Юка гребла одной рукой, другую с зажатым пакетом высоко держала над водой. Юка подплыла.

Бой скатился по откосу и завертелся вокруг нее, мотая хвостом.

— Ты меня узнал, да? Запомнил?! — обрадовалась Юка.

— Он всех с одного раза запоминает, — сказал Антон.

— А я тебе гостинец принесла, — показала Юка пакет. — Можно его покормить?

— Нет, — солидно сказал Антон, — не полагается, чтобы посторонние кормили собаку.

— Но я же не посторонняя, я же его люблю! — обиделась Юка.

— Мало ли что! Бой, возьми пакет, давай сюда.

Бой осторожно, стараясь не прихватить зубами пальцев, отобрал у девочки пакет и принес Антону.

— Теперь лежать. — Антон развернул газету и положил Бою между лапами. — Ешь.

Юка присела перед ним на корточки. Она уже забыла об обиде и с восторгом смотрела Бою в рот. Сладостно жмурясь, закидывая вверх голову, тот громко хрупал кости.

— Так вкусно ест, даже завидно! — сказала Юка. — Это я вчера от обеда собрала. Я теперь всегда буду приносить, ладно?

— Приноси... А где чудик этот, спутник твой?

— Его в постель уложили, выпаривают инфекцию. Малиной, аспирином и еще чем-то. Чтобы потел. А зачем ему потеть, если он здоровый? Но его маме ничего нельзя объяснить. Почему это мамам никогда ничего нельзя объяснить? Они ужасно непонятливые. Твоя тоже?.. А у Тольки она кошмарно крикливая. Вчера кричала на все Ганеиш, когда Толька пришел мокрый... Ты еще не купался? Поплыли?

Они долго плавали, потом легли на песок согреться. Потихоньку подошел и сел рядом Семен-Верста.

Бой остался в реке. Он стоял на мелководье, свесив башку, разглядывал что-то на дне, разгребал лапой, взмучивая ил, ждал, пока муть унесет течением, и снова разгребал. Потом он вдруг нырнул и достал что-то черное, лохматое и блестящее.

— Галоша! Нашел старую галошу! — засмеялась Юка. — Как она сюда попала?

Горделиво вскинув голову, Бой принес свой трофей, ткнул Антону в руку и тотчас отпрыгнул, когда тот хотел взять. Началась любимая игра Боя — он дразнил и не отдавал, за ним гонялись и не могли догнать. Наконец Антон изловчился, вырвал галошу и снова забросил в реку. Бой кинулся за ней. Он нашел ее очень быстро, опять греб лапой и, нырнув, достал. Однако больше Бой не играл. Он вернулся, прихрамывая, лег и начал зализывать лапу. Из подушки второго пальца текла кровь.

— Ой, чем это он? — встревожилась Юка.

— А бутылкой, — сказал Семен.

— Да откуда там бутылки?

— Приезжают тут всякие, водку пьют, а бутылки бьют. Хоть бы оставляли, так я бы собирал да сдавал. Свежая копейка была б...

Экономические расчеты Семена не интересовали ни Юку, ни Антона.

— Но там же и люди могут порезаться!

— Еще як режутся. Я в прошлом году месяц лежал, аж в Чугуново в больницу возили...

— Вот тебе твои дачники! — язвительно сказал Юке Антон.

— При чем тут дачники? Они здесь сами купаются и не станут бросать битое стекло.

— А, — сказал Семен, — мало они кидают!.. Куды, чертова твоя душа! — заорал он вдруг и побежал.

Коровы, выйдя из леса, напрямик устремились на заветное гречишное поле. Бой поднял голову, посмотрел — враг был далеко — и снова принялся зализывать рану.

— Как теперь на почту идти?

— А ты куда, в Ганеши? Ой, пойдём вместе! Прямо через лес. Тут ближе. Бой ничего, дойдет. Мы пойдём по-медленному. И все увидят, какой это собакин! Я уже там всем-всем рассказывала...

Рана Боя перестала кровоточить.

— Может, перевяжем?

Из карманчика на трусах Юка достала носовой платок, обвязала Бою лапу. Тот внимательно наблюдал за процедурой, но, как только Юка кончила перевязку, отковылял на трех ногах в сторону и стащил платок зубами. Без повязки он прихрамывал, но не ковылял, а ступал на все четыре лапы.

Они перешли реку вброд, по узкой тропинке взобрались на вершину гранитного массива.

— Подожди минутку, — сказала Юка.

Неподалеку от тропинки возле пня лежала куча хвороста. Юка сдвинула ее, достала сложенное платье.

— Я всегда здесь оставляю, — натягивая платье через голову, сказала она. — В лесу оно зачем? А в селе нельзя. Тетки деревенские говорят, что я бесстыжая, и мама сердится.

Проход по сельской улице был похож на триумфальное шествие. Больная лапа мешала Бою бежать, он неторопливо и важно вышагивал между Юкой и Антоном. Юка держала руку на его загривке, улыбалась и сверкала своими глазищами во все стороны. Она была счастлива. Все видели, все могли любоваться необыкновенной собачиной, с которой она шла вот так запросто, обнимая ее за шею...

Собакой не любовались. По мере их приближения улицу выметало. Ребятишки бросались врассыпную, сигали через плетни и перелазы.

— А боже ж мой! — ужасались тетки, захлопывали калитки, прикрывали плотнее ворота и ругались.

Иногда из-за плетня долетал истошный лай. Четырехлапые туземцы пытались настращать чужака, но Бой в два прыжка оказывался у плетня, лай обрывался испуганным воплем и возникал снова где-то уже за хатой или за клуней.

— Вот еще четыре хаты — и будет почта, вон там, наверху, — сказала Юка.

Улица круто поднималась вверх, смытая дождями почва обнажала свое бугристое каменное подножье. Однако до почты они не дошли. Впереди послышались крики, какой-то хлопок и собачий визг. Из-за пригорка, на котором стояло здание почты, выскочили две собаки. Они мчали изо всех сил, не оглядываясь, не визжа и не лая, в том диком, паническом страхе, какой бывает лишь при встрече с бешеным зверем. Вслед за собаками показались мальчишки. Они тоже бежали во весь дух и что-то кричали. Юка и Антон остановились.

— Хлопцы! Ховай, хлопцы!.. Митька!.. Митька Казенный идет... Ховай, хлопцы! — орали мальчишки.

Бегущие собаки заметили приоткрытую калитку в заборе, пытаясь на бегу свернуть в нее, попадали, покатались кубарем, но даже и тогда не издали ни звука, вскочили и исчезли за калиткой. Мальчишки, все так же истошно вопя, промчались мимо Юки и Антона. Антон растерянно посмотрел на Юку, он не понимал, что происходит. Юка понимала не больше его. Схватив Боя за загривок, Антон подтащил его к старой толстой вербе возле плетня и притаился за ней.

Наверху появился молодой мордастый мужчина. Простоволосый, в нательной сетке, в старых офицерских бриджах и тапочках на босу ногу. К нижней губе у него прилип дымящийся окурок. Левую руку он сунул за пояс брюк, под правой держал ружье. Человек шел неторопливо и, щурясь, поглядывал по сторонам за плетни. Миновав две усадьбы, он остановился, с минуту понаблюдал, потом вскинул ружье и выстрелил. За плетнем раздался собачий вопль, раздирающий душу скулеж, и смолк. Человек довольно ухмыльнулся и достал из кармана новый патрон.

Зарядить он не успел, как не успел ни сообразить и ничего сделать Антон. В несколько гигантских скачков Бой оказался возле человека с ружьем, поднялся на дыбы и с ревом обрушился на него всей тяжестью. Человек рухнул. Падая, он успел оглянуться и в ужасе закрыл лицо руками. Ружье, гремя, покатилося по камням, ложка треснула и распалась на две части. Скорченный человек лежал, зарывшись головой в пыль. Он не шелохнулся и не издал ни звука. Бой не кусал его. Он стоял над человеком, как взведенная пружина, со вздыбленной шерстью и оскаленной пастью. В глотке у него клокотало и переливалось, и каждую секунду клокотанье это могло снова превратиться в яростный рев.

— А боже! Страх-то какой!..

За плетнями показались головы людей. Антон очнулся от столбняка, бросился к Бою, трясущимися руками ухватил его за шею и с трудом оттащил. Бой сопротивлялся,

оглядывался на лежащего. В горле его продолжало клокотать. Антон подтащил Боя к вербе, за которой они стояли. У него тряслись руки и ноги и перехватывало дыхание. Прижав кулаки к щекам и еще шире распахнув глазищи, Юка стояла как каменная. Сейчас она тоже очнулась и ухватила Боя за шею.

— Покусал?.. Загрыз?.. — тихонько, настороженно переговаривались между собой свидетели происшествия. Их становилось все больше, а происшествие в пересказах все страшнее.

Лежащий пошевелился, осторожно приподнял голову и посмотрел через плечо.

— Та не, не покусал, только налякал добряче... Эй, Митька, як воно там?

Человек поднялся на четвереньки, потом встал. Падая, он разбил нос в кровь, испачкался пылью. Залитое кровью, перепачканное лицо его перекопилось в злобном оскале. Он не смотрел ни на кого, не видел ничего, кроме Боя. Достав из кармана патрон, он начал осторожно, крадучись, подбираться к ружью. Воровской, крадущейся походки Бой не выносил так же, как и выстрелов. Разбросав в разные стороны Юку и Антона, он снова бросился в атаку. Но человек был настороже, ухватился за плетень и, теряя тапочки, мгновенно перемахнул через него.

— Ого, как летает! — захохотали зрители. — Та его без ракеты можно в космос посылать... Як добре налякати, то и до Луны допрыгне...

Симпатии зрителей явно изменились. Потерпевшего уже не жалели, над ним смеялись. А у него испуг перешел в бешенство.

— Ты чей? — заорал он и грязно выругался. — Думаешь, я тебя не найду? Я тебя под землей найду! И твою сволочь застрелю, и тебе ребра переломая... Всех перестреляю!..

Напрягая все силы, Антон оттащивал Боя, но тот отбивался лапами, злобно бухал и рвался к плетню. Юка, вцепившись в густую шерсть, тоже тащила его прочь. И тут внезапно появилось подкрепление. Сверху, крича и причитая, бежала молодая женщина с коромыслом в руках.

— Ратуйте, люди добрые! Что же это такое, люди добрые?! Где тот бандит проклятый? Я его своими руками задушу...

Человек за плетнем, размазывая кровь по лицу, остолбенело смотрел на бегущую.

— Вот ты где, подлюка? Ах ты бандюга, ах ты фашист проклятый!..

— Да ты чо? — растерянно отпрянул человек, но опоздал — коромысло гулко ударило его по голове. — Ты чо... сказала? А то сейчас как дам...

— Ты еще гарчишь, бандит проклятуций! Да я тебе башку проломлю, я тебе за своего Хомку все кости переломая... Бейте его, люди добрые! Он же, бандит, в детей начал стрелять... Он моего Хомку застрелил, боже ж мой, боже мой... Будь ты проклят, бандюга! — Она снова взмахнула коромыслом; люди бросились к ней.

Антон вцепился в загибок Боя и потащил его вниз по улице, прочь от села, подальше от всего, что случилось и еще могло случиться. Они бежали, пока Юка не взмолилась:

— Ой, больше не могу! Чутьочку передохнем...

Села уже не было видно за деревьями, но Антон все время оглядывался и прислушивался.

— Думаешь, он гонится? Ему теперь не до вас... Ой, неужто он и в самом деле Хомку застрелил? Вот ужас-то!.. Ты его видел? Смешной такой ребяенок: пухлый и всегда ужасно

серьезный... Знаешь, ты подожди тут, а я сбегаю узнаю?

Антон покачал головой:

— Ты беги, а я пойду.

— Боишься?

— Я-то не боюсь. Вот...

Бой внимательно смотрел на Антона и слегка вильнул хвостом, когда тот показал на него.

— А что теперь этот Митька сделает? Его, наверное, уже арестовали...

Это было бы, конечно, самое лучшее, но в том, что так и произошло, Антон не был уверен.

— Ты узнай и приходи к реке. А я пошел.

Тропка через лес, длинная по пути в село, показалась теперь необыкновенно короткой.

Антон перебрался через Сокол и спрятался в тени дуплистой старой вербы, окруженной молодой порослью. Отсюда видны были все спуски к реке на противоположном берегу, а самого Антона и Боя надежно прикрывала завеса листвы.

Ожидание тянулось бесконечно, как паутина, которую выпускал из себя маленький крестовик, занятый ремонтом своих тенет. Он сновал вверх и вниз, ветер срывал его, он повисал на еле различимой нити, долго раскачивался, потом цеплялся за полуразрушенную сеть и опять тянул бесконечную паутину, строя в воздухе свой геометрический чертеж. А Юки все не было, не показывались и деревенские ребята. Только когда в отдалении появилось стадо, а за ним уныло бредущий Семен-Верста, Антон понял, что перевалило за полдень. Антон позвал Семена. Тот прогнал стадо стороной, подошел и сел рядом.

— Загоряешь?

— Да нет, так... Слушай, ты в селе всех знаешь?

— А кто ж его знает? Мабуть, всех.

— Есть у вас такой Митька? Казенный, что ли, его называют.

— Та есть.

— Он кто?

— Бандит.

— Как это?

— А так. Бандит, и все. Самый настоящий. В тюрьме сидел чи в лагере.

— За что?

— Чи убил кого, чи хотел убить, кто его знает.

— Ну?

— Шо ну? Посидел, посидел трохи, и выпустили...

— Анто-он! — раскатилось над рекой, и эхо гулко подхватило: «...он... он...»



На противоположном берегу появились Юка, Сашко и маленький Хома.

— Сюда, я здесь! — закричал Антон и, вскочив, помахал Юке рукой. — Значит, он его не застрелил...

— Кто? — Семен с некоторым оживлением поднял на Антона свои всегда как бы полусонные глаза.

— Митька этот самый...

— Кого?

— Маленького Хому.

— Ого! — оживился Семен еще больше. — Перевязанный и хромотает... Раненый, чи шо?

Полусонные глаза Семена видели далеко и хорошо. Хома хромал, левая нога у него была перевязана. Антон присмотрелся и засмеялся.

— Не смертельно...

Хома припадал на левую ногу, иногда сбивался и начинал припадать на правую, но тут лее исправлял ошибку и еще старательнее хромал на левую.

Ребята перешли вброд реку.

— Ну, живой? — спросил Антон Хому.

— Это мама его с перепугу кричала, — сказала Юка. — Хому чуть-чуть задело...

— А рана? — обиделся Хома. — Хочешь, покажу? — И он с готовностью размотал повязку. Судя по тому, что она была грязной, проделывал он это уже не в первый раз. — Ось!

На икре посреди большого коричневого пятна от йода виднелась маленькая присохшая ранка.

— Больно? — спросил Антон.

— Пекло дуже, — сказал Хома, — когда этим мазали...

— Это папа мой. Он надавил чуть-чуть, дробинка и вывалилась. Она, говорит, была на излете. А может, рикошетом.

— То не дробинка, то пуля! — упорно отстаивал Хома свое положение тяжело пострадавшего. — Ось!

Он разжал кулак, в котором зажимал спичечный коробок. В коробке перекатывалась дробинка.

— А зачем он в тебя стрелял?

— Он не в меня, он в Серка — нашу собаку.

— Какая там собака, — засмеялась Юка. — Щенок. Смешной и толстый. Как сам Хома...

— Он на Серка целился, а я хотел схватить... Я как побегу, а он ка-ак бахнет... И совсем не в Серка, а в меня! А я Серка ухватил и в хату. И двери закрыл. А маты как побачили кровь, как закричали, за коромысло та за ним...

— Это я видел, — сказал Антон. — Она его по голове — как по барабану... А почему он в собак стрелял?

— Чтобы бешеных не было, — сказал Сашко.

— Разве они бешеные?

— Не. У нас сроду не было. Не то что я, тато не помнят, чтобы хоть одна взбесилась и кого покусала. А все одно каждый год стреляют. Если не на цепи, так и застрелят.

— И хозяева молчат?

— А что хозяева? Кто успеет — спрячет, а нет — амба!

— Зверство! — сверкая глазами, сказала Юка. — Прямо какой-то фашизм! Собака же людям служит, доверяет, она же человека не боится, идет к нему, а он ее расстреливает...

— Ну, наши не дуже доверяют — ученые, — сказал Сашко. — Как выстрел услышат, так все до леса тикают. И сегодня поутекали. Теперь аж дня через три домой приползут...

— А собаки же работают! — сказал Антон.

— Еще как работают! — подхватила Юка. — И на границе, и сторожевые. А ищейки? Вот Бой, вообще ньюфаундленды, они тонущих вытаскивают, а сенбернары разыскивают, кто в горах заблудится... А на севере на собаках ездят! А охотничьи? А санитарные? Да ведь собак же обучали — они во время войны с гранатами под танки бросались... И все забыли? Какие-то бессовестные, бесчувственные люди! Я сама в «Огоньке» читала, а потом это даже по телевизору показывали. В Италии одной собаке дали особую медаль за верность. Понимаете, у одного человека там была собака. Он ее спас, когда она тонула, и вырастил. И она каждый день провожала его на работу до автобусной остановки и встречала, когда он приезжал с работы. Человека этого забрали на войну, и он погиб. Ну, а собака же этого не знает. Она думает, что он уехал на работу и вот-вот вернется. И она каждый день приходит на автобусную остановку и ждет. И так шестнадцать лет!..

— Ото собака! — сказал Семен. — Мне бы такую!

— Как же! — сказал Сашко. — То она у такого хозяина была, вот и любила. А ты ж бы ее, наверно, и не кормил. За что ей тебя любить?

— По-моему, — сказала Юка, — собакам не только медали — памятники ставить надо! — Ребята засмеялись. — И нечего смеяться. Ставят! Я сама видела: снимок был такой — сенбернар Бари. Он пятьдесят пять человек в горах спас. И ему памятник поставили...

— То капиталисты выдумывают, — сказал Семен. — Буржуазия. Денег девать некуда, вот и суют куда ни попало.

— Ну и дурак же ты какой! — удивилась Юка. — А Павлов, академик, он, по-твоему, тоже был капиталист? Он сколько лет делал всякие опыты и поставил в Колтушах под Ленинградом памятник собаке. Потому что собака служит науке. И потому что у него было сердце, а не жадный и глупый мешок, как у тебя... Или Лайка! Если разобраться, кто первый в космос взлетел? Она!

— Ей тоже памятник поставили?

— Нет. И стыдно!

— А, — махнул рукой Семен. — Может, памятник и поставят, а все одно собак стрелять

будут... Ты гляди, — сказал он Антону, — подвернется твоя, и твою гахнут...

— Не посмеют: это ученая собака. И очень редкая.

— А кто спрашивать будет? Гахнул, а потом рассказывай, яка она ученая...

— Ой, Антон! — Глаза Юки округлились. — Самое же главное: мы же всю дорогу бежали, чтобы предупредить. Тебе надо скорей уезжать. Прямо сегодня. Сейчас.

— А что?

— Да Митька этот... — сказал Сашко. — Он тебя подстережет. Аж трясется... Над ним же люди смеются. Говорят, маленьких собачушек стрелял, а когда большая за них заступилась, так он на карачках пополз. И ружье поломалось. А оно совсем не его, а председателя Ивана Опанасовича. Ну и мать Хома коромыслом ему приварила... Все к одному, понимаешь? Он теперь пополам перервется, а собаку твою застрелит да и тебя покалечить может...

— То верно, — сказал Семен. — Самый вредный человек на селе. Я ж тебе говорил — бандит. Шо, ему твою собаку жалко? Да ему никого не жалко.

Все посмотрели на Боя: тот безмятежно дремал, развалясь в тени. У Антона что-то поползло по спине. Он передернул плечами, но ползанье не прекратилось, и кончики пальцев начало покалывать, будто они налились газированной водой.

— Ничего этот Митька не сделает, — неуверенно сказал Антон. — Я пойду и заявлю в милицию.

— Где ты ее, милицию, найдешь? У нас один участковый на три села и лесничество.

— Тикай, хлопче, и поскорей, — сказал Семен.

— Никуда я не поеду! — сказал Антон.

— Дело хозяйское, — сказал Семен и поднялся. — Мы тебя предупредили. А тут ховайся не ховайся — он тебя разыщет. Тогда поздно будет...

6

Семен-Верста погнал стадо в село. Сашко с маленьким Хомкой тоже ушли. Бой, приподняв голову, проводил их взглядом и снова растянулся в полусне. Антон и Юка молчали.

Конечно, наилучший выход — уехать. Однако уехать Антон не хотел и не мог.

Да и как уехать? Увезти Боя, не предупредив дядю Федю? А сумеет ли Антон договориться с шоферами, чтобы их брали в машины? И как договариваться, если деньги у дяди Федя, а у Антона нет ни копейки? И справится ли он в случае чего с Боем в дороге? Теперь Антону было очевидно, что справляется он с Боем только тогда, когда Бой сам этого хочет. А если не захочет? Не только Антона — здоровенного мужика, как щенка, брякнул об землю...

И что паниковать? Завтра приедет дядя Федя, а уж он-то наверняка совладеет с Митькой. Надо просто переждать, не уходить из лесничества, и все. Пока Митька Казенный узнает, где они живут, разыщет, дядя Федя будет уже здесь.

— Я домой, — сказал Антон. — Боя пора кормить.

Юка пошла проводить их, но, дойдя до шоссе, повернула обратно.

— Если что узнаешь, предупреди, — сказал Антон.

— Ага! — кивнула Юка. — Или я, или Сашко. Он рядом живет.

— А я вон в той хатке, сбоку...

Он пришел к обеду вовремя, но все-таки получил от тетки Катри нагоняй за то, что бродит черт те где, не пивши и не евши. Антон попытался напомнить, что утром он изрядно поел, но за это ему попало еще больше.

— Ты, братец, лучше помалкивай, — потихоньку сказал Харлампий. — Глотка у ей луженая, тренированная, тебе, хочь перервись, не перекричать...

Антон уже безропотно прикончил нехитрый обед. Бой со своим управился раньше и уже повиливал хвостом, приглашая снова идти гулять.

— Э, малый, — вспомнил дед, — тут тебе шофер писулю передал, когда вернулся. В горнице на столе лежит...

В записке Федор Михайлович сообщал, что нужного человека в Чугунове не оказалось, уехал в область. Им придется задержаться дня на два. Он надеется, что Антон, как парень вполне разумный, не натворит никаких глупостей.

Антон растерялся. Как теперь быть, где спрятать Боя от Митьки Казенного? Рассказать все деду Харлампию и тетке Катре? Допустим, они станут на его сторону, но что они могут сделать с Митькой? Обругать? Страшно Митька испугается их ругани. Обратиться в лесничество? Там все заняты своей работой, никто не будет сторожить чужую собаку. И разве его усторожишь? В комнате запереть нельзя — нужно выгуливать. А долго ли подстеречь и бахнуть из-за кустов?..

Он отчетливо, будто в кино, увидел, как Бой, добродушный, ласковый, ничего не подозревающий Бой, выбегает во двор, из кустов сирени гремит выстрел и... Антона даже передернуло от ужаса. Ну, сегодня он из дому больше не выйдет, гулять Боя выведет только ночью... А потом?

За окном раздался свист. Антон осторожно выглянул. Из-за кустов махали ему руками, делали страшные лица Юка и Сашко. Антон высунулся из окна. Юка подбежала ближе. Платье ее было до половины мокрое, видно, она бежала вброд, не раздеваясь.

— Прячься скорей, беги! Он сюда идет...

— Митька?

— Ага. Сашко увидел, сразу догадался и побежал сюда. Мы по дороге встретились... Чего ж ты стоишь? Беги скорей!

— Подождите, я сейчас...

Антон схватил свой рюкзак и выбежал в кухню. Тетки Катри не было.

Дед Харлампий, сосредоточенно скручивавший сигарку, поднял на Антона взгляд.

— Далече собрался?

— В Чугуново. Дядя Федя пишет, чтобы я приехал к нему... — выпалил Антон и покраснел: а что, если дед прочитал записку?.. Лицо деда даже не дрогнуло. — Он пишет, чтобы я взял

Боя и приехал. Срочно. Сегодня же. Так я побегу на шоссе, может, попутная машина будет и прихватит нас...

— Ну-ну, валяй прогуляйся. Поглядишь столицу районного масштабу.

— До свиданья, дедушка Харлампий... Вы только тете Катре обязательно скажите, куда я уехал, а то она будет беспокоиться...

— Скажу, скажу...

Запыхавшихся Юльку и Сашка трясло от нетерпения и страха.

— Туда побежим, в грабовник... — сказал Сашко.

Бой радостно присоединился к игре в догонялки, размашистым галопом понесся вперед.

— Стой! — сказал вдруг Сашко. — Вы бегите, а я останусь...

— Зачем?

— Посмотрю, что тут будет...

— Он же тебя узнает! — сказала Юка.

— Ну и что ж? Что он, меня шукает? Да он и не увидит, я сховаюсь...

— Вы сейчас бегите до грабовника, сделайте круг, потом к порогу на реке. Там гущина, и никто не ходит. Да ты ж знаешь, — сказал он Юке, — я тебя туда водил. Сховайтесь там, а я посмотрю, что будет, и прибегу...

Антон и Юка побежали дальше. Не углубляясь в грабовый лес, где человека можно увидеть за полкилометра, они в молодой поросли сосны повернули к шоссе. До лесничества было уже далеко.

Антон остановился.

— К реке не надо. Я подожду попутную машину и поеду в Чугуново, к дяде Феде...

— Вот это хорошо! Вот это правильно. Просто, я считаю, гениальная мысль!.. Тогда давай так. Ты сиди в кустах, а я выйду на шоссе и буду голосовать...

— Отставить, — внезапно сказал Антон и покраснел. — Никакая она не гениальная, а просто глупая... Пошли к порогу.

— Но почему же?

Антон зло отмахнулся. Внезапное решение, осенившее его дома, оказалось не решением, а просто чепухой. Дикой чепухой. Во-первых, нет денег, а даром никто не повезет. Но если б и повезли — куда? Он не знает, где остановился дядя Федя, даже к кому поехал. Дядя Федя не объяснил, а Антона тогда это нисколько не интересовало. Конечно, Чугуново — не столица, но все-таки город. Нельзя же бродить по городу и спрашивать о никому там не известном дяде Феде. Можно проходить неделю и не найти — не живет же он посреди главной улицы. И скоро вечер, потом ночь. Куда деваться, что делать с Боем? А если там собак так же стреляют, как и в Ганешах? Здесь хоть лес, спрятаться можно, а там?..

— Откуда он узнал, что я в лесничестве? — спросил Антон.

— Все знают, — пожала плечами Юка. — Ребята рассказывали, и я...

— Просили тебя болтать!..

— Никто же не знал, что так получится... И все равно узнали бы. В селе все знают про всё и про всех.

О Митьке Казенном знали не всё и потому опасались его больше, чем он заслуживал. В сущности, знали только, что последние десять лет он лишь изредка появлялся в селе, на три года исчез вовсе, как потом стало известно, — сидел. В тюрьме или лагере. Чем он занимался десять лет, где жил, за что сидел, толком не знали, а сам Митька говорил об этом многозначительно, но крайне глухо. Люди постарше помнили, что он с детства был хулиганом и первостатейным лодырем. Отец его погиб в начале войны. Мать постоянно прихварывала, с трудом тянула четверых ребятишек и все надежды возлагала на подрастающего кормильца. Ему подсовывались лучшие куски, ему справлялось все в первую очередь, его старались оградить от излишней работы, чтобы прежде времени не надорвался. Митька и не думал надрываться. Он принимал все как должное, потом стал требовать и покрикивать. Школу кончать он не захотел — что от нее толку? — ни в колхозе, ни в восстановленном уже тогда лесничестве не прижился. Там нужно было работать, то есть, по его мнению, надрываться, а к этому у него выработалось устойчивое отвращение, и он искал не работы, а заработка или хотя бы легкого хлеба. Целыми днями он торчал на Соколе — глушил рыбу, если удавалось достать взрывчатку, или с такими же, как он, байбаками ловил бреднем. Потом, дознавшись у матери, где отец, уходя на войну, закопал свой дробовик, добыл его, кое-как очистил от ржавчины и начал промышлять добычливее. Бил он все, что было крупнее воробья, не делая разбора и не признавая никаких сроков. В доме нет-нет да и появлялась свежатинка. Мать радовалась: надежды ее начинали сбываться, сын становился кормильцем. Сам Митька утверждался в убеждении, что у работы и дураков любовь взаимная, а умные могут обеспечить себе вполне сносную жизнь и не надрываясь. Он очень рано научился уклоняться от работы и потому считал себя умным.

Привольная жизнь продолжалась недолго. Лесной объездчик поймал Митьку на горячем — тот подстрелил куропатку с выводком. Объездчик вздул его и едва не изломал дробовик. Митька дробовик отмолил, божась, что больше в жизни не стрельнет... Стрелять он продолжал, только стал осторожнее и злее.

Ни посты, ни мясоеды в селе давно не соблюдались, однако и при полной неразберихе в пищевом календаре всем скоро стало известно, что у Чеботарихи что-то уж слишком часто появляется убойна. В селе действительно все слухи очень скоро становятся общим достоянием, и председатель сельсовета вызвал Митьку к себе. Вместо Митьки пошла мать. Председатель не стал слушать вранье о курочках и уточках, которые вдруг с чего-то «зачали сипеть» и пришлось их прирезать, чтобы не подохла и добро не пропало. Он предупредил Чеботариху, что, если безобразия не прекратятся, потом пускай не жалуется. Браконьерство, незаконное хранение огнестрельного оружия — не шутки, и в случае чего не посмотрят, что ее лодырь несовершеннолетний, — схлопочет на всю катушку...

Митька снова попался. Погубили злость и жадность. Объездчик, вздувший Митьку, жил недалеко от реки и держал уток. За лето они дичали, уплывали бог весть куда и даже ночью не всегда возвращались домой. Крупной хищной рыбы в Соколе не водилось, мелкие щурята взрослой утке не опасны, а ни лиса, ни волк спящей на воде утки не достигнут. Жена объездчика, дабы люди добрые не ошибались, выпуская уток на волю, красила им шею чернилами. Фиолетовые ожерелья на белоснежных шеях держались прочно и видны были издали. Митька эту метку отлично знал, и не раз его подмывало пальнуть в такую разукрашенную красавицу: своякая, домашняя утка не в пример жирнее дикой и объездчику была бы отместка... Случай долго не представлялся, но однажды, когда утки уплыли далеко, к границе участка, Митька не удержался — пальнул, но не убил, а только подранил. На беду,

это был последний патрон, добить палками, сколько их ни швырял Митька, не удалось. Дико орущая стая бросилась по реке к дому, подранок за ней, а Митька — в село. В бога он не верил, но всю дорогу приговаривал: «Господи, только бы не видели, господи...»

То ли бог не обратил внимания на мольбу неверующего, то ли Митьке следовало договориться с богом заранее, а он запоздал и бог уже ничего не мог поделывать, Митькино преступление видели, и возмездие появилось довольно быстро в трех лицах: объездчика, участкового и председателя сельсовета. Митька через огород бросился за клуню, потом к лесу. Пришедшие составили протокол, ружье конфисковали, наложили штраф, а Митьке оставили повестку: в двадцать четыре часа явиться в район. Иначе, как пообещал участковый, «будет хуже»...

В том, что так или иначе будет хуже, чем сейчас, Митька не сомневался. Дождавшись ночи, он вернулся домой, забрал все наличные деньги, одежду получше и двинул в город, предоставив матери самой выпутываться из неприятностей. Райцентр он промахнул с ходу — там его могли узнать, увидеть знакомые, в областном затеряться было легче. Он и затерялся, переходя с места на место, ища работенку полегче и поденжнее. Городская жизнь ему нравилась. Если не быть дураком, всегда найдется живая копейка, а ей легко протереть глазки: в городе хватает забегаловок и даже есть два ресторана. Митька дураком не был. Ни за какими квалификациями он не гнался — при любой квалификации надо «вкалывать» — по-настоящему, а он старался пристроиться на должности скромные, но «перспективные» — весовщика, экспедитора, кладовщика: здесь можно было погреть руки. Он и грел, уделяя, конечно, надлежащую долю тепла нужным людям. Жизнь шла легкая, приятная и веселая. После работы он переодевался по тогдашней моде франтов районного масштаба: крохотная кепочка, кургузый пиджак и штаны, выпущенные напуском на сапожки с короткими голенищами. В компании таких же франтов Митька шлялся по главной улице, по городскому саду, торчал возле кино или танцплощадки. Непохожие, они были удивительно подобны друг другу. У всех на лицах блуждала пьяненькая ухмылочка, которая мгновенно могла превратиться в злобный оскал, у всех был неисчерпаемый запас похабной ругани и готовность броситься в драку, если не грозило серьезное сопротивление.

Эту сладкую жизнь оборвала армия. В армии Митька держался болван болваном. Поэтому о сверхсрочной или учебе с ним даже не заговаривали.

Теперь, как демобилизованный воин и, стало быть, человек, заслуживающий доверия, Митька устроился кладовщиком на большое строительство. Он стал солиднее, воровал больше, увереннее и жил лучше. Матери денег он не посылал: «около земли и так прокормится». Митька благоденствовал, пока вместе с прорабом и одним из шоферов не «махнул налево» трехтонку кровельного железа. Беседовать с сотрудниками угрозыска оказалось куда страшнее, чем задирать и обливать руганью прохожих. Митька сразу стал кротким, как овца, и разговорчивым, как радиоприемник в доме отдыха. По ниточке размотался весь клубочек, и Митька получил пять лет.

В тюрьме, а потом в лагере Митька столкнулся с закоренелыми уголовниками, рецидивистами и окончательно присмирел. Здесь не шутили. Некоронованных бандитских королей почитали безропотно и повиновались им безоглядно. Митька со страхом, но с некоторой долей восхищения, даже зависти присматривался к тому, как они держались, разговаривали и справлялись с неугодными.

В ту пору только начинали брать правонарушителей на поруки. Нашлись на стройке, где воровали прораб и Митька, такие люди, которые готовы были закрыть глаза на все, только бы спасти от справедливого возмездия даже отъявленных прохвостов. Их ходатайства, просьбы и обращения возымели действие. Через два года Митьку, учитывая его примерное поведение, выпустили.

О прежней жизни на воле нечего было и думать. Пришлось начать «вкалывать», чтобы оправдать и заслужить... Усердия Митькиного хватило на полгода. Потом, наврав о болезни матери, о том, как «припухают» малые ребятишки, он уволился и вернулся в Ганеши. Не для того чтобы осесть окончательно, а просто переждать, пока позабудут о нем и его деле, чтобы потом поехать в город и попытаться вынырнуть снова.

Вот здесь-то игодились ему все словечки и ухватки, которых он понабрался от уголовников в тюрьме и лагере. Он ходил фертом, держался вызывающе, смотрел на всех вприщурку, обыкновенные слова цедил сквозь зубы, зато непечатные, которых в его лексиконе было во сто крат больше, орал громко, во всю глотку. Слава и прежде о нем была дурная, теперь стала еще хуже. Ему такая слава прибавляла веса в собственных глазах, и он говорил о своем прошлом загадочно и невнятно: непонятное всегда кажется более страшным. После нескольких лет унижений и панического страха перед беспощадными блатными Митьке нестерпимо хотелось, чтобы теперь боялись его. И его боялись. Старались не задевать, сторонились, уклонялись от споров.

Председатель предложил Митьке заняться делом, стать на работу либо в колхоз, либо куда еще. В ответ Митька выругался. Тогда председатель напомнил о законе, по которому тунеядцы и бездельники могут быть выселены.

— Шо ты меня на бога берешь? Шо ты меня пугаешь? Я уже пуганый. И сделать ты ничего не имеешь права, я человек казенный, с меня еще судимость не сняли... Меня рабочий класс на поруки взял, а ты травить хочешь? Да я знаешь шо могу сделать?..

Председатель махнул рукой и отступился. С тех пор к Митьке прилипла кличка «Казенный», которая почему-то льстила его нелепому самолюбию. Целыми днями он слонялся по селу, с презрительной гримасой слушал пересуды, сопровождая их непечатными комментариями, и не упускал случая поесть и выпить на дармовщину. Охотно он брался только за одну работу — резать кабанов, что сулило и выпивку и обильную жратву. Делать этого он тоже не умел, не раз случалось, что кабан с ножом в левом боку вырывался, дико визжа, заливая все кровью, метался по двору. Митька, ухмыляясь, раскуривал папиросу и приговаривал:

— Дойдешь, дойдешь...

Митька не забывал о своих похождениях с отцовским дробовиком, руки у него чесались, но о том, чтобы завести ружье, не могло быть и речи. Разрешения ему не дали бы, да он и не смел об этом заикнуться. После краткого знакомства с угрозой Митька был нагл со всеми, кроме работников милиции.

И единственным человеком в селе, перед которым с него слетали весь форс и фанаберия, был участковый уполномоченный. Он не страдал, ничем не угрожал, но видел Митьку насквозь, знал, за что тот сидел, и пустить ему пыль в глаза было невозможно.

И вдруг к Митьке Казенному попало ружье. Он его не украл, не купил. Ему вложили его в руки, и не кто-нибудь, а сам председатель сельсовета.

7

Произошло это потому, что председатель получил из района предписание.

В длинном вступлении перечислялись всевозможные эпидемии, эпизоотии, инфекционные болезни и прочие кошмары, в коротенькой деловой части предписывалось, «привлекая к



этому мероприятию охотников и широкую общественность», поголовно истребить бродячих собак как главных будто бы виновников санитарных напастей.

Далее перечислялись кары и наказания, которые последуют «в случае невыполнения»...

Деревенская собака — существо особенное, не очень похожее на своих городских собратьев. С момента, когда мать перестает кормить ее своим молоком, она никогда не бывает сытой: среди хозяев широко распространено удобное для них и вполне дикарское убеждение, что досыта кормить собаку не следует, тогда она будто бы злее и лучше сторожит.

Дополнительных источников пищи вроде свалок, мусорных куч и ям, которые бывают в городах, в селах не существует. В отличие от горожан сельский житель, ни старый, ни малый, не выбросит куска хлеба, даже корки, да и вообще ничего съедобного. Все съедают или сами люди, или скот. Некоторым из собак, немногим, перепадает пищи больше, но за это они платят свободой: всю жизнь такие собаки сидят на цепи. Большинство ведет жизнь полуголодную, но привольную и независимую. Жидкое хлёбово, вернее, помои, которые дают собаке раз или два в сутки, могут уморить кого угодно, но собака живет. Не зная о существовании намордников и поводков, она не упустит случая стянуть все съедобное или даже полусъедобное, если оно плохо лежит. Но такое счастье выпадает редко, и почти всегда за него приходится расплачиваться боками. Ее ничему не учили, о ней никто не заботится ни в зной, ни в лютую стужу, ни в ливень, ни в метель. Недаром человек крайнюю степень своих бед называет собачьей жизнью. Она всему учится сама, сама лечится, если болеет, в одиночку переносит все невзгоды и превратности своего воистину собачьего существования. Может быть, постоянный голод и всевозможные беды сделали ее озлобленным, угрюмым зверем, ненавидящим такую жизнь и виновного в ней своего хозяина? Нисколько. Она всегда жизнерадостна и неизменно преданна хозяевам. Собака знает только тот узкий мирок, в котором живет, не думает о других и не стремится к ним. И, уж конечно, свою голодную, жестокую, но свободную жизнь она не променяет на сытое арестантское прозябание городских соплеменниц.

И не думайте, что любой прохожий может завоевать ее расположение и даже любовь куском хлеба или мяса. Брошенный кусок она сглотнет мгновенно, но столь же мгновенно вцепится в ногу бросившего, если он переступит дозволенный предел.

Деревенскую собаку никак нельзя назвать бродячей. Она твердо знает место своей неоформленной прописки и — о, благородное, бескорыстное собачье сердце! — любит своих хозяев, даже если они жмоты. И охраняет их, не щадя живота своего. Ночью она всегда на посту — ближе к хате — и отпугивает опасности добросовестным брехом. Спит собака только урывками и то вполглаза, чутье же и слух бодрствуют даже во сне. Днем она неизменно на страже всего своего участка. Пределы этих участков строго ограничены усадьбой, прилегающим отрезком улицы и, по неписаной собачьей конвенции, никогда не нарушаются. Нарушителю конвенции грозит расправа короткая, но жестокая. Кому случалось проезжать по селам, тот всегда наблюдал одну и ту же картину. Как только подвода или машина пересекают границу усадьбы, собака, до этого спокойно лежавшая в тени, бросается на нее со свирепым лаем, и преследует до следующей границы. Там чужаков встречает хозяйка следующего участка, а первая мгновенно умолкает, трусит обратно и, покрутившись вокруг хвоста, укладывается на прежнее место. А эстафета бдительности передается все дальше и дальше, пока не угаснет на выезде из села.

Иван Опанасович знал, что бродячих собак в селе нет, у всех есть хозяева, и собаки живут на хозяйских усадьбах. Но бумага предписывала всех не посаженных на цепь считать бродячими и истребить. Предписать легко, а как это сделать? Предложить хозяевам? Никто не станет ни за что ни про что убивать верного сторожа. Иван Опанасович попытался привлечь общественность и заговорил об этом деле с секретарем комсомольской организации. Но тот даже обиделся...

— Та шо вы смеетесь, чи шо, Иван Опанасович? Мы ж комсомольцы. Наше дело — воспитательная работа. А какая же это воспитательная работа — бегать по селу и собак бить?! С нас же люди смеяться будут...

Заставить своей властью Иван Опанасович никого не мог — власти такой у него не было. Служебный аппарат? Он весь состоял из Ивана Опанасовича, секретарши Оксаны — вчерашней десятиклассницы, и тетки Палажки, которая раз в неделю убирала помещение сельсовета. Никаких охотников в селе не было. Охота, если она не промысел, требует много свободного времени и немало денег. Избытка ни того ни другого у колхозников не было, и на охоту они смотрели как на баловство. На все село ружье было только у самого Ивана Опанасовича, да и то лежало без употребления. Охотиться в лесничестве нельзя, добираться же до других угодий далеко, хлопотно и недосуг. Охотился он четыре года назад, когда работал в другом районе. Ружье ружьем... но не братья же за это дело ему самому, председателю сельсовета! Хорош он будет, если под свист и улюлюканье мальчишек, ругань хозяев, потея, тряся животом и задыхаясь, будет бегать по селу и палить в собак.

Народ здесь, как и всюду, языкатый, за словом в карман не лазит, того и гляди, приклеят какую-нибудь обидную кличку. Иван Опанасович так отчетливо представил себе это, что, хотя сидел один, покраснел как бурак и выругался.

Попробовал Иван Опанасович поговорить с участковым. С Васей Кологойдой, молодым лейтенантом, отношения у него были дружелюбные, и если не приятельские, то только по причине изрядной разницы в годах. Вася прочитал бумагу и поморщился.

— Пишут мудрецы.

— То ж для пользы дела, — неуверенно возразил Иван Опанасович.

— Для их удобства. Легкую жизнь себе обеспечивают. Их послушать, так все надо истребить. Коровы и ящуром болеют и сибирской язвой, кони — сапом, свиньи — трихиной, утки брюшной тиф передают. Так что, всех перестрелять или отравить?

— Так-то оно так, — вздохнул Иван Опанасович. — А все-таки что делать? Ты не сможешь?

— Это как же?

— Ты при оружии...

— Ну нет, Иван Опанасович! В этом деле я тебе не помощник. Я милиционер, а не живодер. И оружие мне дали не для того, чтобы собачьи расстрелы устраивать.

— Такой ты, понимаешь, нежный...

— Что, милиционеру по должности не полагается? Считай, что я плохой милиционер...

Вот так и случилось, что Иван Опанасович вынужден был в конце концов вызвать к себе Митьку. Доверять ему оружие он не хотел, и даже опасался, но выхода другого не нашел.

Митька обрадовался, однако радость свою скрыл за обычной наглой ухмылкой. Возможная ругань хозяев его не пугала — он каждому мог ответить еще хлеще. Хозяева не станут возиться с собачьими шкурами, а они могут ему, Митьке, принести живую копейку. А самое главное — в руки ему попадало ружье, и ничто не помешает пострелять из него не только в собак...

Патроны у Ивана Опанасовича были заряжены дробью, жаканов не нашлось. Митька сказал,

что жаканы он наделает сам, а пока обойдется — для маленьких собачонок хватит и дробы.

И вот в первый же день, когда он не израсходовал еще и десятка патронов, его вдруг сбила с ног огромная собака. Митьку корчило от злости. Не потому, что набросилась дура-баба с коромыслом, и не потому, что сломалась ложа. Это было даже на руку: под предлогом ремонта ружье можно подержать подольше. Самое главное — он испугался, все видели, что он испугался, и смеялись. Ничего не боящийся, таинственный и опасный Митька Казенный струсил, как сопливый пацан, побежал и от собаки, и от бабы с коромыслом. Он стал смешным и, значит, никому не страшным. Спасти свой «авторитет», вернуть страх, который он внушал односельчанам, можно только быстрой и жестокой расправой: собаку застрелить, мальчишку, который натравил, избить до полусмерти. Где их искать, он узнал сразу: все село гудело от рассказов о черной и большой, как медведь, собаке, которая набросилась на Митьку и едва не загрызла, а от ребят было известно, что мальчишка с этой собакой живет в лесничестве. Прикрутив проволокой отломившийся кусок ложи и загнав в оба ствола патроны с наспех сделанными жаканами, Митька пошел в лесничество. Теперь он не боялся. Жакан — это не дробь для уток и даже не пуля. Увесистый кусок свинца с надрезами на передней части, встречая на своем пути какое-нибудь тело, разворачивается по надрезам и наносит страшные раны. Выходное отверстие получается величиной с блюдце. Такая штука и медведя бьет наповал, если попадет в убойное место. В том, что он не промахнется, Митька не сомневался.

На подворье лесничества было пусто — люди еще не вернулись с работ по участкам. В контору Митька не пошел, чтобы не начали приставать, почему да зачем он ходит с ружьем, если охота запрещена. Харлампий, опасливо поглядывая за спину, вышел из-за кустов, окружающих хату. Под рукой он нес что-то завернутое в мешковину.

— Здоров, дед, — сказал Митька.

Дед вздрогнул и обернулся.

— Здоров, внучек, — сказал он и вприщурку оглядел Митьку. — Это какая же умная голова тебя ружьем-то наградила?

— Значит, надо, если дали...

— Снова, выходит, за старое принимаешься? Валяй, валяй, тюрьма по тебе горько плачет.

Митька едва сдержался, чтобы не выругаться.

— Я тебя на кладбище не посылаю, так ты меня в тюрьму не посылай.

— А зачем посылать? Ты и сам угодишь. Тропка у тебя утопанная, не заблудишься.

— Ты, дед, заткнись, а то как...

— Палить будешь? Вали, бей враз из двух стволов, доказывай свое геройство...

Дед Харлампий знал Митьку еще со времен его незадачливой охоты, несколько не боялся и явно издевался над ним. И что с ним делать, не бить же его, старого черта?

— Слышь, дед, в селе говорят, тут человек какой-то приехал... с собакой.

— Приехал.

— Не знаешь, где живет?

— У меня живет. А тебе зачем?

— Собаку поглядеть. Может, продаст? Я б купил...

— Это ты-то? Да ты курице корку не бросишь...

— Да брось трепаться, дед, я делом спрашиваю.

— Уехал тот человек в Чугуново. Вчера еще. А сегодня и мальчонка с собакой уехали. Так что ты в помещики погоди, другим разом выйдешь...

Оскалив в насмешливой улыбке уцелевшие зубы, Харлампий зашагал через шоссе в лес.

Митька угрюмо смотрел ему вслед. Врет или не врет? С чего бы вдруг пацан уехал? Врет, старый хрыч!..

Митька заглянул в открытое окно. В хате было тихо и пусто.

— Ты чего там лазаешь? — загремела за его спиной тетка Катря, возвращавшаяся из хлева с пустой корчагой.

— Да я вас шукал, тетя. Тут у вас приезжие, говорят, живут. Мне поговорить надо...

— Уехал старший.

— А хлопец его? С собакой.

— Бегает. Пообедал и убежал.

— А дед говорит, он тоже уехал. Что-то вы не в одно брешете...

— Это кто брешет? — Тетка Катря рывком поставила корчагу на землю и уперла кулаки в бока. — Кто брешет, я тебя спрашиваю? Собаки брешут да ты, собачий сын!.. Пришел в чужую хату да еще и рот разеваешь? А ну иди отсюда под три чорты, пока я об тебя твою пукалку не поломала...

Митька поспешно отступил. Он узнал все, что нужно. Старый черт соврал, никуда пацан не уехал и собака при нем... Сколько ни бегают, домой прибежит. А до вечера уже недалеко. Митька отошел подальше от хаты, но так, чтобы видеть подступы к ней, положил ружье на землю и лег сам. Минут через пять сирень возле хаты зашевелилась. Митька схватил ружье, но никто не появился, оттуда не донеслось ни звука, и он решил, что кусты шевелились от ветра.

...Сашко выбрался из сиреневого куста и кратчайшей дорогой во весь дух припустил к порогу. Антон и Юка притаились под обломком скалы. Почуяв Сашку, Бой вскочил, но тотчас узнал его, вильнул хвостом и снова лег.

Сашко подробно рассказал все, что слышал. Распахнув в ужасе глаза, Юка смотрела то на Сашку, то на Антона.

Тот, не поднимая головы, молча покусывал травинку.

— Боже мой, боже мой! — сказала Юка. — Что ж теперь будет?

Антон и Сашко промолчали.

— Ну и пускай сидит! — сказала Юка. — Не будет же он там век сидеть? Посидит-посидит — и уйдет. Стемнеет, и тогда ты пойдешь домой.

— Ты этого гада не знаешь, — сказал Сашко. — Он и сутки будет сидеть. И снова придет...

— Тогда знаешь что? Пойдем к нам! Мама, правда, собак боится, но это ничего, мы объясним. А папа нисколько не боится. И ты будешь у нас...

— Придумала! — буркнул Антон, покосившись на нее. — Что, я Боя в карман спрячу? Увидят, и кто-нибудь ему скажет...

— Факт! — подтвердил Сашко. — Скажут. Не со зла, просто так.

Бой насторожился и вскочил. Антон, а вслед за ним и Юка обхватили его за шею.

— Идет кто-то! — шепнул Сашко. — Держите его, я посмотрю.

Он бесшумно исчез за скалой.

— Сидеть! Сидеть, Бой! — молящим шепотом сказал Антон.

Бой внимательно посмотрел на него, сел, но продолжал сторожко поводить ушами, прислушиваясь.

Сашко вернулся через несколько минут.

— То дед Харлампович через реку пошел. Должно, на Ганыкину греблю.

— Может, ему рассказать? — предложила Юка.

— А толку? — возразил Сашко. — Он же старый. Митька его одним пальцем как чкурнет...

— Так что делать? И что вы все молчите? — вспыхнула Юка. — Ведь скоро же темнеть будет!

Антон посмотрел на нее, на Сашку и снова опустил голову.

— Вы идите, — сказал он, глядя в землю. — Идите домой. А я останусь.

— Здесь?! — поразилась Юка. — Что ж, ты всю ночь просидишь один в лесу?

— Думаешь, я боюсь?

— Не в этом дело!.. Но как это так — одному, в лесу... И спать же нужно, есть...

— Не умру. Зато ночью он нас не найдет. А найдет, пусть только сунется. Он ночью ничего не видит, а Бой не промахнется, так даст прикурить — будь здоров...

— Нет, ты сошел с ума! Я этого не допущу! — решительно сказала Юка. — Как это так?!

— А кто тебя спрашивает? — разозлился Антон. — Поменьше бы болтала, так ничего бы и не было. Он бы не знал, где меня искать...

На глазах Юки появились слезы.

— Выходит, я во всем виновата, да?

— А ну тебя! — отмахнулся Антон.

Он понимал, что неправ, обижает Юку напрасно, но не мог себя перебороть. Он не знал, что делать, куда деваться, ему было страшно и стыдно того, что ему стало страшно, и он

распалял в себе злость на Юку, потому что злость заглушала страх.

— Ну и сиди здесь, — оскорблено сказала Юка. — Думаешь, мне тебя жалко? Вот нисколечко! Мне Боя жалко...

— Жалели такие... Давай уматывай. Только смотри опять не наболтай!

Слезы выкатились из Юкиных глаз и одна за другой быстро-быстро потекли по щекам.

— Ты... ты просто бессовестный! Вот и всё...

Юка вскочила и побежала к тропинке, выющейся вдоль берега. Сашко посмотрел ей вслед, Антон отвернулся, делая вид, что его совершенно не интересует, ушла она или осталась.

— Ты шо, правда хочешь тут перебыть? — спросил Сашко. — Антон кивнул. — Может, оно и лучше. Никто знать не будет. И теперь тепло, не замерзнешь. Вот только комары...

Антон пренебрежительно махнул рукой.

— Я б с тобой тоже... — помолчав, сказал Сашко. — Только без спроса нельзя — обязательно искать начнут, а сказать — еще хуже: не пустят, еще и расскажут кому-нибудь...

— Не надо, я сам, — сказал Антон. — Ты иди.

— Не, — возразил Сашко. — Шо ж ты, так на камне будешь сидеть? Так не можно. Давай лапника наносим. Тут его до биса...

Выше тропинки росли сосны. На земле валялись обломившиеся ветки с еще не увядшими лапами. Увидев, что ребята собирают хворост, Бой тоже схватил в зубы здоровенную ветку и поволок следом. Вскоре под скалой появился хрусткий ворох лапника.

— Теперь другое дело, — сказал Сашко. — А хлеб у тебя есть?

— Нет.

— Ну ничего, я завтра раненько принесу. А пить захочешь, из речки не пей...

— Ты что, тоже инфекции боишься? — улыбнулся Антон, вспомнив Толю.

— Та не, у нас не пьют. Бросают в речку шо хочешь. А в Чугунове какую-то отраву в речку спускают... Здесь струмок есть. Вон, Бой уже нашел...

В нескольких шагах от скалы из-под корней дерева, оплетших каменные глыбы, сочилась тоненькая струйка воды.

Бой припал к лунке, выбитой родничком, и громко лакал.

Сашко поглядел на реку, на противоположный высокий берег. Стволы уже пригасли, только самые маковки крон озаряло заходящее солнце.

— Ну, бывай, — сказал Сашко. — Надо домой бежать. А завтра что-нибудь придумаем.

По торчащим из воды камням он перешел на другой берег, несколько раз его выгоревшие от солнца волосы мелькнули в кустах и исчезли.

— Вот, брат, какая петрушка получилась, — мрачно сказал Бою Антон. Теперь они были вдвоем, можно было не стесняться и не притворяться. — И все из-за тебя... — Бой повилял хвостом. — А ты даже не понимаешь...

Они остались одни в огромном лесу, которого Антон толком даже не видел. Ему стало не по себе, и он разговаривал с Боем, чтобы заглушить это неприятное чувство.

Антон достал из рюкзака брюки, рубашку и куртку. Бой подошел ближе и, наклонив голову, внимательно провожал взглядом все, что добывал из мешка Антон.

— Есть хочешь? А я, думаешь, нет? Мало всяких переживаний, так еще переживай их натошак...

По общераспространенному мнению, переживания должны отбивать всякое желание есть, но с ним этого почему-то не случалось. Тетя Сима и мама Антона каждый раз, когда случались неприятности, говорили, что у них пропал аппетит, кусок не идет в горло, и прочие подобные вещи. Антон относился к таким заявлениям с недоверием, хотя мама и тетя действительно переставали есть. Антон этого не понимал. Какие бы переживания ему ни выпадали, это не сказывалось на его аппетите, пожалуй, даже наоборот — есть почему-то хотелось еще больше. Вот и теперь Антон чувствовал все более возрастающее нытье под ложечкой.

8

Чтобы заглушить голод, он припал к родничку и долго пил. После этого стало тяжело и холодно в животе, но голод нисколько не уменьшился. В лесу правого берега уже сгущалась тьма, подкрадывалась все ближе, одно за другим деревья тонули в ней. Вместе с темнотой наплывала прохлада. Антон зябко поежился и оделся. Бой вскочил, завилял хвостом, заглядывая ему в лицо.

— Нельзя нам домой, — сказал Антон, лег на ворох лапника и оперся скулами о кулаки.

Бой лег возле, положил голову на вытянутые вперед лапы, потом шумно вздохнул и развалился на боку. У него тоже были свои переживания, и в дреме он, должно быть, заново переживал все, что произошло за этот долгий и тяжелый день. Лапы его подергивались — он куда-то бежал, преследовал, хвост отлетал в воинственном размети, в горле глухо рокотало и переливалось. Однако и во сне он слышал все. Бой внезапно притих и тут же вскочил. Антон вцепился в его пышный воротник. Как ни напрягал слух Антон, ничего не мог расслышать, но Бой явно что-то слышал, следил доносящиеся до него звуки и весь напряжился, устремляясь туда, откуда они долетали. Антон облегченно перевел дух: Бой смотрел не в сторону лесничества, откуда мог появиться Митька Казенный, а туда же, где раньше Сашко видел деда Харлампия. Должно быть, дед возвращался теперь домой и вскоре настолько удалился, что даже Бой перестал его слышать, расслабил мускулы и снова лег.

День погас, синяя изгарь закатного пожарища поглотила лес и землю. На небе зеленоватые отсветы заката вытесняла густеющая чернь, тусклый оловянный блеск реки затухал.

Антону стало не по себе. Ничего не случилось, а ему становилось все неприятнее, и он старался преодолеть неприятное ощущение, понять, отчего оно возникло. И вдруг он понял, отчего появилось это странное и неприятное ощущение, — вокруг стояла немотная тишина. Тишина, с какой он не сталкивался никогда — ни во сне, ни наяву. Она была всюду и во всем, гнетущая, непроницаемая, и уплотнялась все больше, давила как неосязаемая, но невыносимая тяжесть. Всегда непрестанно и непрерывно его овеивал океан звуков. Знакомые, привычные или неизвестные и непонятные, оглушительные или еле слышные, приятные или раздражающие, они наплывали со всех сторон, наполняли собой весь мир. Голоса людей, птиц и животных, грохот, стук машин, свист ветра, шум леса, плеск воды, шелест листы — это было всегда. Больше или меньше, громче или тише, но оно было, наполняло жизнью

окружающее. А теперь вдруг все смолкло, затихло, онемело.

Это становилось невыносимо, и Антону нестерпимо хотелось вскочить и закричать. Не что-то определенное, а просто заорать, издать бессмысленный вопль, лишь бы взорвать невыносимую немоту окружающего. Но было еще страшнее обнаружить себя, привлечь внимание всего, что притаилось вокруг в зловещем, выжидательном молчании.

И вдруг совсем рядом зазвучал еле различимый шепот. Кто-то, шепелявя и пришепетывая, торопливо бормотал одну и ту же фразу. Бой не спал и, конечно, тоже слышал, но не обращал на это внимания, а невидимый все бормотал и бормотал, присюсюкивая и шепелявя.

«Да это же родничок!» — обрадовался Антон.

Монотонное шепелявое бормотание родничка будто сняло со всего зарок немоты. Неподалеку тихонько что-то треснуло и мягко прошуршало по земле. «Ветка упала», — догадался Антон. Негромко плеснуло в реке, под еле ощутимым дуновением зашептались листья орешника, в кустах пискнула то ли мышь, то ли пичуга. Нет, мир не умер, жизнь не угасла и не онемела. Просто ночью она была совсем иной, и голоса ночи звучали иначе, чем голоса дня.

Сковавшее Антона напряжение спало. И тут Антон заметил, что темнота тоже не такая непроглядная, как казалось поначалу. Правобережный лес за спиной Антона был по-прежнему черной сплошной стеной, но Антон уже без большого труда различал ближайшие купы кустов, светлую струю речного быстротека. Над скалой левого берега стал заметен неровный гребень древесных вершин, а в небе, будто щурясь, замерцали редкие мелкие звезды. В глубокой дали за лесным гребнем кусочек неба посветлел и стал наливаться воспаленной тревожной краснотой.

«Неужто пожар? — подумал Антон. — В Ганешах? Или горит лес?»

Он читал описания лесных пожаров. Описания были очень красивые, но от них становилось жутко и хотелось бежать, как бегут перед ревущей стеной огня все обезумевшие от ужаса жители леса. А куда бежать ему в случае чего? Спрятаться в речке? Не та речка — в ней вода попросту закипит...

Тревожные мысли его прервал странный далекий звук. Похоже было, будто кто-то диким басом проревел «у» в большую пустую бочку. Бой вскочил.

— Тихо! Тихо, Бой! — сказал Антон. — Это ничего, это бугай ревет...

Антон узнал этот звук. Однажды ночью в пионерском лагере, выйдя по нужде, он услышал такой же странный, пугающий звук. Сторож, отчаянно борющийся с дремотой, обрадовался возможности поговорить и долго, обстоятельно объяснял Антону, что ревет водяной бугай, по-ученому выпь, угрюмая болотная птица, крик ее слышно за километры...

Выпь снова испустила пугающий вопль. Должно быть, поняв его как вызов, Бой приподнял башку и глубоким басом бухнул в ответ. И тотчас свора таких же басовитых псов обрушила на них свое буханье. Десятки собачьих глоток старательно повторили: «бух, бух, бух...» Казалось, их расставили цепью вдоль всего левого берега, и они, будто рассчитываясь, по цепочке передавали сигнал. Бой от неожиданности даже присел, шерсть на холке у него поднялась. Ему отвечали такие же большие, сильные псы, их было много, очень много, но он бесстрашно принял вызов. «Бух-бух!» — уже зло пролаял он. Эхо снова подхватило гулкий голосище и, передразнивая, понесло вдоль реки.

Бой гремел. Он обливал врага презрением, призывал и угрожал жестокой расправой. А



невидимые бесчисленные враги отвечали ему тем же, без конца повторяя и передразнивая. Антона трясло от смеха.

— Бой, замолчи! Там никого нет! — хохоча, уговаривал Антон, пытался придержать его челюсти, но Бой вырывался и снова бухал.

Это продолжалось долго, однако мало-помалу Бой, то ли проникшись презрением к брехливым, но трусливым врагам, то ли поняв, что ему отвечают какие-то не настоящие собаки, лаял все реже, долго прислушивался к эху, наконец решительно вернулся к вороху лапника и лег.

Зарево за лесной далью разгоралось, все больше светлея, поглощало звезды, потом из-за гребня сосновых вершин появилась серебряная краюха луны.

И тотчас заискрилось, заблестало зеркало реки; как солдаты по команде, шагнули, выступили вперед одиночные деревья и кусты, отбросив за спину черные плащи теней.

Бой вскочил и прислушался. Теперь он смотрел не за порог и не на левый берег, а туда, где вилась еле заметная тропка, по которой они пришли сюда и которая вела к гречишному полю и к лесничеству. Антон хотел схватить Боя, чтобы оттащить глубже в тень и зажать ему пасть, но не успел. Бой прыгнул вперед и бесшумно исчез среди кустов. Сердце у Антона остановилось. Каждую секунду мог раздаться яростный рев Боя, выстрел...

На тропинке послышались странные звуки, будто кто-то ласково урчал и одновременно смеялся. Потом из темноты шумно скатился по откосу Бой. В зубах у него белел сверток. Следом за Боем сбежала маленькая фигурка с большим тюком в руках.

— Ты?! — глупо спросил Антон, не веря своим глазам.

— Я, — почему-то виноватым голосом сказала Юка. — А что? Думаешь, я обиделась? Я обиделась. А потом подумала, что глупо и несправедливо обижаться на тебя сейчас.

— И не страшно тебе было?

— Нисколечко... — сказала Юка, но тут же помотала головой. — Нет, неправда! Очень-очень страшно. Прямо жутко!

— Зачем же шла?

— Но ведь тебе одному еще страшнее! А вдвоем не так. Правда? Ты бы ведь тоже так сделал?

Антон промолчал. Он совсем не был уверен, что поступил бы так же, как она.

— А потом... — начала Юка и осеклась.

Этого объяснить нельзя.

Когда она была маленькой, папа называл ее «Ошибкой».

— Почему я Ошибка? — спрашивала Юка.

— Ты по ошибке родилась девочкой. Тебе следовало родиться таким сорванцом с тугими кулаками и вечно расквашенным носом...

Юка была девочкой, тем не менее нос ее часто бывал расквашен. Во всем и всегда она

искала и требовала справедливости. Она расстраивалась и сердилась на книжки и кинокартины, если в них находила несправедливость, и, не раздумывая, лезла в драку, если сталкивалась с несправедливостью лицом к лицу. Ее били, она не плакала и никому не жаловалась. С девочками было скучно. Они болтали о тряпках, шушукались о мальчишках, жеманничали, притворялись ужасно нежными и взрослыми девушками. Юке все это не интересовало, и она предпочитала водиться с мальчишками. Иногда они были грубы, но по крайней мере поминутно не куксились, не манерничали и умели мечтать. Они мечтали стать летчиками, моряками, исследователями, Чапаевыми, открывателями кладов и всяких сокровищ. Правда, зачастую мечты у них были какие-то очень деловитые, иногда просто шкурные.

Когда Юке прискучивали чересчур практичные мечтания товарищей, она уходила гулять одна. Тогда никто не мешал глупой болтовней о деньгах и о том, что с ними можно сделать. Деньги — это прямо какое-то несчастье: о них без конца думают и говорят, будто весь мир можно купить, разменять на какие-то металлические кружочки или бумажки в радужных разводах... Он ведь так беспредельно огромен и удивителен! И полон тайн. Они не только в далеком будущем, за морями, за горами. Они здесь, они всюду. Вот стоит только свернуть за угол или заглянуть в тот двор, протянуть руку — и откроется тайна...

Юка не умела ходить медленно. Она начинала идти медленно, чинно, как все, потом шла все быстрее, быстрее и наконец пускалась бегом. Ей казалось, пока она идет медленно, там, впереди, может быть, в той улице или вон в том переулке, случится что-то чрезвычайно интересное, важное, а она не увидит, раскроется тайна, а она не узнает... И она бежала. Так было легче и лучше. Она бежала навстречу всему, широко распахнув в удивлении и восторге свои большие синие глаза.

Особенно любила Юка гулять в белые ночи. Это удавалось редко. Но иногда мама и папа уезжали в субботу вечером к друзьям в Петергоф и оставались там ночевать.

— Смотри, Юленька, — говорила мама, — ты уже большая девочка, я на тебя полагаюсь. Из дома не выходи, поужинай, послушай радио и ложись спать.

— Да, конечно, мамочка, — серьезно отвечала Юка, но, как только дверь закрывалась, делала по комнате круг колесом.

Это искусство стоило ей долгих часов труда и многих синяков, но, когда она однажды во дворе, зашлив подол платья английской булавкой, прошлась колесом перед ошеломленными ребятами, все признали, что колесо она делает даже лучше, чем Петька из семнадцатой «а».

Потом она стелила себе постель — по возвращении на это никогда не хватало сил! — и, стараясь, чтобы не заметили соседи, выскальзывала из парадного.

До угла, где улица Рубинштейна вливается в Невский, подать рукой, а там и вовсе близко до Аничкова моста. На нем стояли «наши лошади», как говорила про себя Юка. Еще было не очень поздно, по проезжей части мчались машины, по тротуарам текли потоки пешеходов, и Юка всегда поражалась, почему они даже не поднимают головы, чтобы посмотреть на лошадей. Кони так прекрасны, так непохожи на замученных животных, которые изредка волокли по улице громыхающие тяжелые подводы. Эти были горды, сильны и непокорны. Разметав в могучем рывке хвосты и гривы, они вставали на дыбы, вырывали поводья из рук юношей. Юноши были тоже красивы, но Юке они не нравились. Они пытались покорить гордых, свободных лошадей, чтобы потом, может быть, запрячь их в громыхающие подводы... Юка знала, помнила каждый клочок гривы, каждую жилку на могучих телах коней, но, заложив руки за спину и задрав голову, она обходила и рассматривала каждого заново.

— Вы молодцы, — потихоньку говорила она, — смотрите не поддавайтесь! — и шла дальше.

В странном призрачном свете замирало движение машин, исчезали озабоченные, усталые пешеходы. И тогда становились видны бродяги, а среди них была Юка, одинокая маленькая девочка в большом городе. В нем было живым все, и Юка разговаривала со всем живым.

В сквер перед театром Юка не заходила — памятник Екатерине ей не нравился. Екатерина была похожа на тумбу, а сидящие вокруг постамента придворные наклонялись друг к другу и фальшиво улыбались, будто гадко сплетничали.

Юка напрямик шла к каналу Грибоедова. Там был ее любимый висячий мостик. Две пары грифонов, взметнув вверх золоченые крылья, зажимали в пастях цепи, на которых висел мостик. Юка гладила их тугие холодные бока, мускулистые лапы, оглядывалась по сторонам, нет ли кого поблизости, и говорила львам:

— Тяжело? Устали, бедняжки? А знаете что? Вы возьмите и опустите мостик. Пусть полежит, ничего ему не сделается. А вы отдохнете. Или вы боитесь, кто-нибудь увидит? Так я посторожу и, как кто появится, свистну. Ладно? Вот стану за то дерево и даже сама не буду подсматривать. Вот честное слово, не буду!

Юка бежала и пряталась за дерево. Она все-таки не выдерживала и подглядывала. Самую чуточку. Крылатые львы, наверное, догадывались, что она хитрит, и никогда не опускали мостика.

— Эх, вы, — говорила Юка, — какие вы боязливые. А еще львы! — и шла дальше.

В колоннаде Казанского собора шептались парочки. Они провожали удивленными взглядами маленькую девочку, шагающую между колоннами; Юка не обращала на них внимания. В это время она шла среди гигантских стволов окаменевшего леса. Здесь было пустынно, дико, и тайна могла выглянуть из-за каждого ствола...

В садике возле Адмиралтейства она подходила к памятнику Пржевальскому и гладила надменно-скорбную морду бронзового верблюда,

— Плохо тебе, да? — сочувственно говорила она. — Я понимаю. У нас в Ленинграде такой ужасный климат...

Потом она шла к памятнику Петру. С Медным всадником у нее были сложные отношения. Она восхищалась им и очень осуждала за то, что он так жестоко поступил с несчастным Евгением. В конце концов, что он сделал такого? Он ведь такой жалкий, даже не требовал, не просил, а только думал о том, что мог бы бог ему прибавить ума и денег...

Опять эти проклятые деньги!.. И потом у него утонула невеста, несчастная Параша. За что же было его пугать и сводить с ума? Нет, это просто жестоко и несправедливо!

Приложив ладошку козырьком, Юка подолгу всматривалась в одутловатое лицо всадника. Черные провалы его глазниц смотрели поверх голов пешеходов, Невы, строений на Васильевском, куда-то в такую даль, в какую не могла заглянуть Юка. Но все равно, какой он ни великий, Юка не боялась и каждый раз укоряла его: «Такой большой и сильный — на маленького и слабого! Неужели не стыдно?!» Бронзовый великан не обращал внимания на козявку у своих ног, смотрел в свое неведомое далеко, и рука его так же неподвижно простиралась в пустоте.

От памятника Юка направлялась на набережную и шла вдоль каменного парапета к Адмиралтейству, потом к Зимнему. Она шла и в такт медленным шагам повторяла чеканные строки.

Все это так и было, так и есть, как писал Пушкин: и державное течение, и спящие громады, и

узор оград, и надо всем и во всем прозрачный сумрак, блеск безлунный... Это было так прекрасно, что у Юки перехватывало дыхание, сердце замирало и на глазах выступали слезы.

Она очень не любила и сердилась, если в такие минуты к ней обращались. Почему-то взрослые задавали всегда одни и те же очень глупые вопросы:

— Девочка, что ты здесь одна делаешь? Как тебя одну пустили? Почему ты сама с собой разговариваешь?..

Однажды с такими вопросами прицепились к ней две девушки. В это время Юка была Бейдеманом из «Одетых камнем» и, сердито сверкнув глазами, мрачно ответила:

— За двадцать лет заключения в каменном мешке я разучилась говорить и теперь учусь заново...

Одна из девиц глупо хихикнула, вторая испуганно сказала:

— Она же просто псих, ненормальная!

Девицы поспешили прочь. Юка довольно посмеялась и пошла дальше.

Она любила сидеть на гранитной скамейке и смотреть на слитный бег могучих вод к близким просторам моря; за ними пепельно-серый массив Петропавловки пронзал небо золотым лучом — шпилем собора.

Потом она, не торопясь, обходила каменную пустыню Дворцовой площади и мимо Эрмитажа снова выходила к Неве. Подле атлантов у входа в Эрмитаж она проходила поспешно, не глядя. И мимо нимф, что возле Адмиралтейства держат земную и небесную сферы. Ей было их жалко, как жалко было и крылатых львов Банковского мостика. Они все несли и несли, держали и держали ужасные тяжести, взваленные на них. И лица у них были озабоченные и печальные, как у живых людей. И сердце ее сжималось от жалости...

Идти ночью по лесу было очень страшно. Ласковый и добрый, шумно веселый днем, сейчас он замер в угрюмом, угрожающем молчании. Юка знала, что нет ни духов, ни привидений, не верила в леших и русалок, знала, что в этом лесу нет хищных зверей, а люди все спят и она никого не встретит. Но тайна, так хитро и ловко прятаясь днем, могла открыться за тем кустом, притаиться в той ложбине или повиснуть над головой в распростертых, как руки, могучих ветвях. Юка останавливалась, прислушиваясь, и снова шла дальше. Наверное, все-таки она ужасная трусиха, если так боялась, старалась идти неслышно и затаивалась при каждом шорохе. Но она шла и не жмурилась от страха. А смотрела и смотрела во все глаза, ведь это могло появиться только на одну секунду и, если прозевать, — исчезнет навсегда...

Нет, этого нельзя объяснить. И лучше не пробовать. Вдруг Антон ничего не поймет и просто посмеется.

— Смотри, — сказала Юка, — вот одеяло. Я сплю в сараюшке на сене. Мама боится, что я простужусь, и затолкала мне в пододеяльник два шерстяных одеяла. Я одно вытащила и принесла. У тебя же ничего нет.

— Да зачем? Не холодно.

— И не рассуждай! Сейчас не холодно, а под утро ого как замерзнешь!..

Бой ткнул Антона в руку свертком.

— Ой! Самое главное: я же вам поесть принесла, вы же оба голодные... — Она взяла у Боя

сверток и развернула. — Это тебе. А это вот Антону...

Ни Антона, ни Боя не нужно было уговаривать. Несколько минут было слышно только затрудненное дыхание жующего Антона и хруст костей, возле которых лег Бой. Юка смотрела на них сияющими глазами. Она была счастлива.

9

— А если хватятся?

— Никто не хватится, — беззаботно тряхнула головой Юка. — Галка — хозяйкина дочка, мы вместе в сараюшке спим, — так спит, хоть стреляй. Ее за ногу можно тащить, не проснется... Мама поздно встает, а папа встает рано, но он же не пойдет проверять — ему и в голову не придет... А я раненко прибегу,

— А еда?

— Подумаешь, сколько тут еды... Ой, как они кусаются, прямо крокодилы какие-то... — Юка нещадно хлопала ладошкой по голым ногам.

— Ты одеялом прикрой.

Юка укутала ноги.

— Страшно было?

— Да ну... — буркнул Антон.

— И правильно — чего бояться!.. Как тут тихо... «Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут...» Ты стихи любишь?

— Нет, — решительно отрезал Антон.

— Ну и глупо! Иногда стихотворение, оно как живое. Непонятно, почему и как, а читаешь, — и даже сердце щемит...

На холмах Грузии лежит ночная мгла;

Шумит Арагва предо мною.

Мне грустно и легко; печаль моя светла;

Печаль моя полна тобою, Тобой, одной тобой...

Широко открытыми глазами Юка всматривалась в изломы черных теней, призрачного лунного света и раздумчиво повторяла: «Печаль моя светла; печаль моя полна тобою...» Словно отгоняя наваждение певучих строк, она встряхнула головой:

— Дальше там про любовь. Хорошо, но уже не так интересно... А ты кого-нибудь уже любишь?

Антон ошарашено посмотрел на нее. Юка засмеялась.

— Я еще тоже нет. А когда люблю, наверное, не буду про это говорить. По-моему, про это нельзя говорить. У нас мальчики или девочки иногда друг другу говорят или записки пишут: «Давай будем дружить». Глупо и противно. Как будто об этом можно условиться или сторговаться... Это или получается само, или не получается вовсе. Правда? А когда сначала договариваются — противно...

Антон кивнул, хотя эта проблема его не интересовала: он никому не писал записок и не пытался договариваться о дружбе. Некоторые девочки в школе и во дворе ему нравились, то есть иногда ему было приятно на них смотреть, и только. Он не испытывал никакого предубеждения против девочек, они просто были ему неинтересны, и даже разговаривал он с ними редко. Зачем и о чем с ними говорить? А вот с Юкой говорил о чем угодно. Вернее, говорила она, но Антону было не скучно, даже забавно. Она вообще какая-то неожиданная... Может, все ленинградские девчонки такие? Наверяд ли. Что у них, порода другая, что ли?.. Смелая. Вот не побоялась одна идти ночью через лес. И что думает, то говорит. Должно быть, никогда не врет. Чтобы врать, глаза нужно другие. Поменьше, что ли. А у нее вроде окна настезь — все видно...

— Слушай... — сказал Антон.

Юка не ответила. Свернувшись клубком, она уже спала и время от времени поеживалась: то ли ей было прохладно в легком платье, то ли донимали комары. Антон осторожно прикрыл ее свободным концом одеяла.

Станным образом, ему стало спокойнее. Юка спала, а если бы и не спала, что она — защитник? Но все-таки он был не один и уже не испытывал неприятного чувства заброшенности, ощущения своей малости среди огромных камней, деревьев в лесу, которому он не знал ни конца, ни края. До Ганешей было километра три, до лесничества полтора. А сколько до границы леса — пять или двадцать? Или, может, все сто? Ну, сто навряд. Дядя Федя говорил, лес не очень большой... Что он сейчас делает, дядя Федя? Спит, конечно. А вот ему спать нельзя, и вообще неизвестно, что делать...

Тревога и растерянность снова овладели Антоном. Надо в конце концов все обдумать и решить... Прежде ему казалось, что он очень самостоятельный, всегда все решает сам и поступает так или иначе потому, что решил так поступить. Но если по правде — а сейчас Антон судил себя по правде, — в сущности, он решал только в пустяках. А во всем серьезном решали папа, мама, тетя Сима, учителя... И если даже Антону предоставляли свободу выбора, всегда можно было спросить, посоветоваться, и ему говорили «лучше так» или «наверно, следует так»... А вот теперь не у кого спрашивать, не с кем советоваться, никто за него не может решить. Решать и делать должен он сам, один. И так, чтобы это было безошибочно: здесь нельзя «переиграть», начать сначала. Ошибка может кончиться бедой, которую ему не простят, которую нельзя простить и которую он сам никогда простить себе не сможет...

Антон прилег, облокотившись на локоть. Луна уже спряталась за правобережным лесом, пригасшие в ее свете звезды снова разгорались и, как показалось Антону, насмешливо подмигивали. Юка пошевелилась во сне и уткнулась носом ему в плечо. От ее дыхания плечу стало тепло и щекотно.

«А если б ребята увидели? — подумал Антон и так покраснел, что ему стало жарко. — Засмеяли бы, затюкали...» Он хотел отодвинуться, встать, но не сделал ни того ни другого. «Пускай, — вяло подумал он, — никто не увидит...»

Он проснулся от неприятного ощущения, какое возникает у человека, когда на него скрытно и пристально смотрят. Антон вскочил. Уже рассвело. Бой, взъерошив загривок, заломив вниз

хвост, смотрел вверх. На откосе стоял незнакомый высокий человек. Он был стар, но держался очень прямо. На голове у него была широкополая соломенная шляпа-брыль — когда-то крестьянский головной убор, который теперь носят уже только горожане на курортах. Это был несомненно городской житель. Лицо даже для горожанина неестественно бледное, на плечах фланелевая куртка с множеством карманов, за спиной рюкзак. Он опирался на длинную, как посох, палку и внимательно смотрел на Боя, Юку и Антона. Бой услышал движение Антона, мельком оглянулся, снова повернулся к незнакомцу и предупредительно бухнул.

— Не шуми, братец, — спокойно сказал человек.

— Вам чего? — настороженно спросил Антон. — Не подходите, укусит.

— А зачем ему меня кусать? — так же спокойно возразил человек. — Среди собак дураки встречаются, но редко. В основном это народ умный. А этот господин к тому же, должно быть, образованный. Верно?

— Верно! — тряхнула головой Юка. Она проснулась от Боева лая и во все глаза смотрела на пришельца.

— Стало быть, не укусит. Кабы было за что, он бы уже тяпнул без всяких предварительных переговоров. А он понимает, что опасаться меня незачем. И вы не бойтесь.

— Мы и не боимся, — сказала Юка.

— Вот и хорошо. Тогда я с вами маленько посижу. Устал. Можно?

— Садитесь, пожалуйста, — великосветским тоном ответила Юка. — А вы кто?

Человек, опираясь на палку, медленно спустился с откоса, сел на камень. Еще совсем не было жарко, но на висках у него выступили капельки пота, дышал он тяжело, с трудом. Он снял брыль, достал платок и вытер лицо.

— Кто я? Бродяга, странник, как больше нравится.

— Не похоже, — сказала Юка, — бродяги обязательно оборванные и грязные, а странники ужасно волосатые.

— Разоблачила! — улыбнулся странник и потрогал гладко выбритый подбородок. — Придется отпустить бородищу, как у старорежимного дворника.

Лицо у него было сухощавое, суровое. От носа к твердо сжатым губам шли глубокие борозды, над глазами нависали кустистые брови, и глаза казались сердитыми, но, когда он улыбался, они щурились мягко и усмешливо.

— Из дома выгнали или сами сбежали?

— Сами.

— Брат и сестра?

— Нет, — сказала Юка.

— На сельских вы не похожи. Приезжие? — Антон и Юка согласно кивнули. — Как же вас зовут?.. Очень хорошо... А меня Сергей Игнатьевич. Вопросы есть?

— А как же! — с энтузиазмом сказала Юка. — Почему вы так дышите? У вас стенокардия? Я знаю, — сказала она в ответ на взгляд Сергея Игнатьевича. — У моей мамы после блокады

сделалась стенокардия. У вас тоже от блокады?

— У меня не от блокады. От слишком усердной жизни.

— Тогда вам ходить нельзя. Это же не обязательно — всегда можно доехать на чем-нибудь.

— Для человека, милая девочка, обязательно только одно — помереть. А ходить мне надо. Я по жизни, можно считать, в курьерском пролетел; болтало, грохотало, в окна пыль, а увидел немного. Надо хоть напоследок осмотреться. А для смотра лучше пешего хода ничего нет... Раньше были такие странствующие философы. Всю жизнь пешком бродили.

— И нигде не работали?

— На службе не состояли... — усмехнулся Сергей Игнатьевич. — Бродили по земле и людей учили.

— И вы тоже?

— Я не философ, никого не учу. Сам учусь.

— Зачем вам учиться, у вас же, наверное, высшее?

— А что значит «высшее»? Такое высокое, что выше быть не может? Это название люди себе в утешение придумали, для самообмана. Умнеть никогда не поздно.

— У вас часы есть? — спросил Антон.

— Часы? — переспросил Сергей Игнатьевич. Он постоянно задавал вопросы, переспрашивал, словно плохо слышал или все время думал о чем-то другом и каждый раз ему надо было отрываться от этого другого и сообразить, о чем говорят. — Часов нет, дома оставил. Они у человека вроде надсмотрщика или погонялы. А я и без того жил впопыхах, взащей себя толкал. Ни оглянуться, ни подумать... Тебе время знать надо? Вон часы по небу ходят и под ногами лежат, — показал он на одуванчик. — Солнце встало в четыре, сейчас шесть, седьмой... — Сергей Игнатьевич присмотрелся к кустам на другом берегу и, улыбаясь одними глазами, сказал: — Если вы тут окопались от врагов, то, по-моему, пора занимать круговую оборону. Неприятель уже на ближних подступах, сейчас начнет артподготовку...

Юка проследила его взгляд.

— Нет, это наши, — сказала она и вскочила. — Сашко, давай сюда, не бойся!

Из-за кустов появились Сашко и Хома. Животы у них устрашающе вздулись, они несли их, придерживая руками.

— Ну, как оно тут? — спросил Сашко, искоса поглядывая на незнакомца.

— Порядок, — сказал Антон. — Митьку не видел?

— Нет, — сказал Сашко и снова посмотрел на Сергея Игнатьевича.

— Это дядечка хороший, ты его не бойся, — сказала Юка. — Чего это вы нагрузили?

Сашко, а вслед за ним Хома потянули рубашки кверху, на землю посыпалась картошка.

— Вот. Есть же Антону надо.

— Так она же сырая, а варить не в чем.



— А если испечь?

— Правильно, — сказал Сергей Игнатьевич. — Печеная даже вкуснее. Раз уж вы признали меня своим, а харчей у вас мало, принимайте меня в долю. — Он вынул из рюкзака кусок сала и положил рядом с картошкой. — К этому бы еще луку...

— Лук я принес и соль, — сказал Сашко, выгружая карманы. — Хлеба нету. Дома мало осталось, маты б заметили...

— Магазин в селе, конечно, есть. А что в магазине?

— Подушечки! — выпалил Хома, не сводивший глаз с чужого.

— И ты их любишь?

— Ага! — Хома в застенчивой улыбке показал щербатые зубы.

— Ты, часом, не подушечками зубы себе подпортил?

— Хуч бы, — вздохнул Хома, — а то сами выпадывают.

— Хлеб есть, керосин, сахар... — сказал Сашко.

— Ну, завтракать с керосином вроде не обязательно, а?.. Может, ты сходишь?

— Гроши надо...

— Гроши найдутся. Держи. Купи буханки две. А лучше три. В осаде нужно иметь запас продовольствия. Верно? — подмигнул Сергей Игнатьевич. — Ну и подушечек, конечно, на всю братию... Что ж ты малого оставляешь? А кто подушечки будет нести?

Забыв о своей хромоте, Хома побежал следом за Сашком.

— Я тоже пойду, — сказала Юка, — надо дома показаться, а то еще искать начнут.

— А мы пока подготовим самое главное, — сказал Сергей Игнатьевич. — Пошли собирать хворост.

Сушняк горел жарко, почти без дыма. Под наблюдением Сергея Игнатьевича Антон старательно уложил картофелины в груды пепла под углями.

— Основная работа сделана, — сказал Сергей Игнатьевич, — теперь надо подать на стол тарелки...

Антон удивленно посмотрел на него.

— Вон они плавают, — показал Сергей Игнатьевич на листья кувшинки.

Антон попробовал рвать, листья плохо поддавались, длинные стебли тянули за собой корневища. Он вспомнил о своем великолепном ноже, и скоро груды глянцевых, пахнущих свежестью и в самом деле похожих на тарелки листьев лежала у костра.

— Стругай палочки сантиметров по двадцать — тридцать... Есть такое кушанье — шашлык по-карски. А мы приготовим шашлык по-царски. По рецепту того дядьки, что думал, будто цари едят сало с салом...

На выструганные палочки они нанизали вперемежку кусочки сала и кругляши нарезанного лука.

— Остается посолить, и полуфабрикат готов. Жарить будем потом...

Бой вскочил, прислушиваясь к треску в лесу, но увидел на тропинке Семена-Версту и снова лег. Семен спустился с откоса.

— Здоров, — сказал он. — Это ты тут сховался?

— Ты смотри не рассказывай никому, — сказал Антон.

— А чего б я рассказывал, шо мне за это гроши платят?

— А если заплатят? — спросил Сергей Игнатьевич.

— Шо? — не понял Семен.

— Если заплатят, говорю, тогда расскажешь?

— На шо оно мени нужно?.. Кому надо, хай сам шукает...

— Анто-он! — раскатилось над рекой. — Анто-он!

На левом берегу стоял Толя с большим свертком под мышкой.

— Ну, чего кричишь? — сердито ответил Антон. — Здесь я.

Балансируя на камнях порога, Толя перебрался на правый берег.

— Здравствуйте, — вежливо сказал он Сергею Игнатьевичу. — Я принес тебе немножко покушать. Мне Юля еще вчера рассказала, но вчера, я не мог, мне не позволяли вставать. Здесь творог, вареные яйца и хлеб с маслом...

— Где ты все это взял?

— Дома, разумеется.

— Стащил?

— Неужели ты думаешь, что я способен украсть?

— Значит, ты рассказал? Значит, все узнают? — наливаясь негодованием, спросил Антон.

— Никто ничего не узнает. Я сказал, что мне нужно.

— И всё?

— И всё.

— От бреше! — сказал Семен.

Толя снисходительно посмотрел на него.

— Брехать, как ты выражаешься, не в моих привычках. Я говорю правду.

— И тебе поверили? — допытывался Антон. — Ни о чем не спрашивали, вот так просто и дали?

— Конечно.

Толя не врал, однако на самом деле все было не так просто. Прежде всего мама не хотела

выпускать его из постели. По ее мнению, нормальная температура и самочувствие ничего не доказывали. После такого купания могло все случиться — и грипп, и гайморит, и воспаление легких, и ревмокардит, и еще бог весть что. Мамин папа был провизором, поэтому мама чувствовала себя на короткой ноге с медициной, а тем более фармакологией и без устали практиковала на себе и окружающих. В доме всегда пахло как в аптеке после погрома. Шкаф, комод, подоконники заполняли флаконы, пузырьки, коробочки, банки, баночки, и при малейшей возможности весь этот арсенал обрушивался на каждого, кто заболел или, по мнению мамы, мог заболеть. Она была убеждена в своем праве учить всех и всему, потому что совершенно точно знала, как человек должен себя вести, что говорить, даже думать в любом положении, и на «подставившегося», как говорил Толин папа, низвергались потоки, ниагары, океаны слов об одном и том же. Выдержать это было труднее, чем любое лекарство. Толя очень рано научился «не подставляться». Он любил свою маму, но, что греха таить, давно уже относился к ней снисходительно, хотя, разумеется, как вежливый мальчик, не давал ей этого заметить.

После злополучного купания он безропотно проглотил полдюжины порошков и микстуру, улегся в постель, отлично выспался и проснулся на рассвете без тени недомогания. Если бы недомогание и чувствовалось, Толя при всем своем правдолюбию не признался бы, так как пообещал Юке рано утром отнести Антону какую-нибудь еду. Выполнить обещание — долг чести, а в исполнении долга чести Толю не могло ничто остановить. Поэтому он вежливо, но непреклонно восстал против попытки мамы продержать его еще один день под одеялом.

Папа, невозмутимо пыхая трубкой, долго слушал грозные мамины пророчества, потом вынул трубку изо рта и сказал:

— Прости, Соня, что я тебя перебиваю. Но, может быть, в самом деле ему не следует лежать в постели? Все-таки он упал не в Ледовитый океан, а в Сокол, и к тому же в июле месяце. Разумеется, вряд ли можно приветствовать купание в одежде, но это уже частность, не меняющая существа дела. Особенно для несовершеннолетних, я хочу сказать.

Толин папа, так же как и мама, маленького роста, но совсем не толстый, а худенький и даже щуплый. При его комплекции ему бы надо говорить высоким, слабым голосом, но голос у Толиного папы неожиданно низкий, басовитый и такой глубокий, что, кажется, голосовых запасов у него, как льда у айсберга, который показывает на поверхности только маленькую часть своего массива. Говорит он всегда очень вежливо, никогда не повышает тона и, говоря, не опускает не только частей предложения, но, кажется, даже знаков препинания. Если разок послушать Толиного папу, то потом не нужно уже спрашивать, почему Толя разговаривает именно так, а не иначе. Справедливости ради следует сказать, что подражает ему Толя совершенно бессознательно, он даже иногда пытается говорить рокочущим на низах голосом, но из этого ничего пока не выходит — голос самого Толи совсем не басовитый, а по-мальчишески высокий и звонкий.

Получив такую мощную поддержку, Толя моментально оделся, выпил стакан молока и спросил маму, не может ли она дать ему некоторое количество продуктов, которые не требуют приготовления и которые можно есть сразу.

— Зачем тебе? Ты хочешь уйти на целый день, не придешь обедать? Это исключено! Нельзя целый день бегать натошак, есть всухомятку, обходиться без жидкой пищи, без горячего...

Толя заметил, что ему жидкой пищи следует есть поменьше, у него и так излишне полная фигура, тем не менее он не будет бегать натошак, а продукты ему нужны не для себя.

— А для кого?

— Извини, мамочка, но я не могу тебе сказать.

— То есть как? Почему?

— Это не мой секрет.

— Что за чепуха? Какие у тебя могут быть секреты от матери?

— Лично у меня от тебя секретов нет. Я же сказал, что это секрет не мой и открыть его я не могу, не имею права, так как обещал никому не рассказывать.

— Ах, вот как? Ты считаешь, что от матери можно утаивать хоть что-нибудь? Заводить секреты, тайны? Делать что-нибудь потихоньку? Так вот: ты ничего не получишь и никуда из дому не пойдешь. Я не разрешаю!

— В таком случае я вынужден буду уйти без твоего разрешения, самовольно и заранее предупреждаю об этом.

— Что?! Ты смеешь мне говорить такие вещи? Да я тебя запру, отвезу домой в Чугуново, да я...

— Мамочка, ты совершенно напрасно кричишь, это не поможет и ничего не изменит. Я должен пойти, и я пойду. Потом можешь со мной делать что хочешь.

Если бы Толя вышел из себя, тоже кричал, плакал, просил, быть может, мама и не пришла в такое негодование, не наговорила всего, что она наговорила, но Толя внешне был совершенно невозмутим, говорил ровным, спокойным голосом и так же спокойно и невозмутимо принял первый шквал, который минут десять бушевал в комнате.

— Подожди, Соня, — своим низким, рокочущим голосом сказал папа, — может быть, он прав? Если мальчик обещал...

— А если он связался с хулиганами, бандитами? Мало ли с кем он может связаться?!

— Ну, не думаю. Он не станет этого делать. Правда, Толя?

— Конечно.

— Ты можешь обещать, что ни ты, ни те, кому ты хочешь нести продукты, ничего дурного не сделали и не замышляете?

— Я могу поручиться своей честью! — сказал Толя. Эту фразу он недавно прочитал в затрепанном, вспухшем от грязи романе без начала и конца, и она покорила его своей торжественностью.

— Вот видишь, Соня, ничего страшного. Толя ведь никогда не лжет. И если он не говорит, значит, действительно не имеет права выдавать чужой секрет.

— Совершенно верно, папа.

Уходя, Толя услышал, как отец негромко сказал матери:

— Не надо так шуметь по пустякам. Мало ли что могут выдумать мальчишки. Наверное, затеяли игру в новых Робинзонов или еще во что-нибудь.

Толя вернулся.

— Извини, папа, я нечаянно слышал, что ты сказал. Мы не играем в Робинзонов. И вообще ни во что не играем. Ты ведь знаешь — я не люблю детских игр. Это не игра, а очень серьезно, это — жизнь.

— Я понимаю, — серьезно сказал папа и улыбнулся только тогда, когда Толя вышел.

10

— Чего ты, собственно, боишься, от кого прячешься? — спросил Сергей Игнатьевич. — Впрочем, может, это военная тайна?

Антон не успел ответить.

— Антон! — прокричала Юка с другого берега. — Он уехал! Слышишь? Уехал!..

Вздымая буруны, Юка и Сашко бежали вброд. За ними, подняв над головой бумажный кулек, спешил Хома.

— Ты слышишь, Антон? — подбежала запыхавшаяся Юка. — Он уехал. Сашко сам видел... Что ж ты молчишь? — повернулась она к Сашко.

— Как же я буду говорить, если ты кричишь? — сказал Сашко, укладывая на камень принесенный хлеб. — Мы когда до магазина пришли, так там батькова машина стоит. Батько в колхозе на машине работает. И бабы уже садятся, с оклунками, как на базар. А Митька уже в кузове, с ружьем. Я у батьки спрашиваю: «Куда это вы, тато?» — «В район, говорит. А ты чогу тут? Беги до дому...» Тут сразу пришел голова колхоза, сел с батьком в кабину, и они поехали. Митька, должно, повез ружье в ремонт. Еще вчера люди говорили, что Иван Опанасович здорово ругал Митьку за поломанное ружье. Вот он и поехал в Чугуново.

— Понимаешь? — сверкая глазами, сказала Юка. — Теперь уже можно не бояться! Теперь уже ты можешь пойти домой...

— А когда батька твой приедет? — спросил Антон.

— Кто его знает? Может, сегодня к вечеру, может, завтра. Как все дела сделают.

— Нет, — подумав, сказал Антон. — Домой мне нельзя. Он же сегодня или завтра вернется. Если я приду домой, все будут знать, что я не в Чугунове, и Митька узнает... Надо ждать дядю Федю.

— А как он выглядит и где его искать? — спросил Толя. — Дело в том, — ответил он на удивленный взгляд Антона, — что мой папа сегодня собирается съездить домой, в Чугуново. Я могу попросить его взять меня с собой и попытаться разыскать Федора Михайловича. Конечно, я не могу поручиться за успех, но почему не попытаться?

— Говорят, ребята, — сказал Сергей Игнатьевич, — что голодное брюхо к советам глухо. К тому же сгорит картошка. Поэтому подсаживайтесь ближе — шашлык по-царски каждый жарит для себя сам.

Жарить над углями нанизанное на палочку сало было занятно; поджаренное таким способом, оно оказалось необыкновенно вкусным, а печеная картошка распространяла такой аромат, что минут на десять все примолкли. Когда подушечки были запиты самым вкусным, по мнению Сергея Игнатьевича, сортом чая — ключевым, а тлеющие угли костра залиты водой,

Юка сказала:

— Зачем нам тут сидеть? Пошли туда, к гречишному полю... Митьки же пока нет!

— Кто такой этот Митька и почему вы его боитесь? — спросил Сергей Игнатьевич.

Антон рассказал происшествия вчерашнего дня.

— М-да, история подлая. И глупая!

— Почему глупая? Разве мы что-нибудь не так сделали? — спросила Юка.

— Не вы глупы. Те, кто такую команду дал.

— Это ж какой-то начальник, — сказал Сашко. — Что он, маленький, что ли?

— Думаешь, как взрослый, так обязательно умный? — вскипел Антон. — Знаешь, какие дураки бывают?.. Хо!..

— Бывают, бывают, — вздохнул Сергей Игнатьевич.

— Так надо их убрать! — решительно сказала Юка.

— Оно бы хорошо, конечно, — засмеялся Сергей Игнатьевич, — взять да издать такой приказ: «Пошли вон, дураки!..» К сожалению, нельзя. Их директивой не уберешь. Это процесс трудный, затяжной. Вы, наверное, слышали — на пленумах, совещаниях разоблачают всяких очковтирателей, обманщиков и прочих героев показухи. И гонят их. И в этом деле все должны помогать.

— И мы?

— И вы. Почему же нет?

— Кто нас будет слушать?

— Коли дело скажете, услышат. Главное — нельзя молчать и мириться с дураком и дурацкими его делами. Отчего твоя собака хромает? — перебил сам себя Сергей Игнатьевич.

Антон и Юка подбежали к Бюю.

— Сидеть! Покажи лапу!

Бой уселся, готовно поднял лапу, но при каждом прикосновении вздрагивал, пытался выдернуть ее из рук Антона. Она была горячей, порезанная вчера подушечка распухла, из раны сочилась сукровица. Все склонились над Боем, а он, наклонив башку, внимательно следил, что делают с его лапой.

— Завязать? Опять сорвет...

— Где это он так?

— В речке. Приезжие всякие битые бутылки бросают...

— Временный житель — штука скверная. Временному ничего не жалко, на все наплевать. Он пожил, напакостил и укатил. Ну, а вы-то что же смотрите? Вы живете здесь постоянно...

— Мы с Антоном приезжие, — сказала Юка. — А они же сельские.

— Это взрослым надо, — сказал Сашко. — Что мы можем сделать? Нас побьют, и все.

— Взрослые другим делом заняты, у них руки не доходят. А вы свободны, и вас много — всех не побьют. Главное, не надо бояться! Вы же в общем народ бесстрашный, верно?

— Ого! — сказала Юка. — Вон Хома ружья не побоялся, Серка своего заслони, его даже этот Митька ранил...

— Вот видите! А вас много, если организуетесь, такая сила получится — никто тронуть не посмеет...

— А что? — загорелась Юка. — Вот устроить такой заслон из ребят, кордон такой... Чтобы никто сквозь него не пробрался. Не вообще, а чтобы не гадили, не уродовали... Чтобы штаб был и свои разведчики... Вот! — показала она на Семена. — Готовый разведчик. Он со своими коровами всюду ходит...

— На шо оно мне нужно? — мрачно возразил Семен.

— Как это «на шо»? Тебя это не касается?

— Я тут до осени. Осенью в город, в ремесленное поеду. Потом в армию подамся. В летчики. Может, потом в ракете полечу...

— Нужны там такие!

— А шо? Гагарин тоже в ремесленном учился.

— Ладно, допустим, — сказал Антон. — Может, и наш теленок волка съест. Пустят тебя в ракету. А дальше что?

— Героя дадут...

— Я не про это. Ну, выстрелят, полетаешь, полетаешь, потом куда денешься? Так и будешь в космосе болтаться? Небось опять на землю прилетишь. И сюда приедешь. А здесь все вырублено, загажено... Это хорошо, по-твоему, правильно, да?

— А хай воно горьть! Я сюда не приеду, в городе жить буду.

— А если ты сюда не приедешь, пускай тут хоть что, да?

— А шо мне?

— Шкура! — сказал Сашко.

— Шо шкура? — не понял Семен.

— Не шо, а кто. Ты шкура. Только про себя думаешь.

— А про других хай коняка думает, у ней голова большая.

— Эх, ребятки, ребятки, — сказал Сергей Игнатьевич. — Вот вам в школе говорят про Родину и всякие такие слова. А что такое — Родина?

— А что тут объяснять? — пожал плечами Антон, — Ну, Москва... и строительство... и всё вообще.

— Вот то-то и оно — «вообще». Я об этом тоже раньше не думал. Работы всегда выше носа — не до того... А вышел на пенсию, — что делать, в домино играть?... Я бы тому, кто домино

придумал, на памятнике написал: «Изобретателю наилучшего способа превращать человека в обезьяну»...

Ребята засмеялись.

— Смеяться нечему. Штука эта прилипчивая, как зараза. А когда «козла» забивают, убивают время, значит, расходуют свою жизнь на дурацкие костяшки и разучиваются думать. Начисто! Да... Я подумал-подумал и решил: пока ноги носят, надо хоть землю посмотреть, на которой живешь. А то кого видел, кроме сослуживцев? Где был, на курортах? Это та же толкучка, только жарче и много соленой воды... Взял я рюкзак на плечи, палку в руки и пошел. Второй год хожу — не наглядеться, не послушаться... Вы поглядите-ка, — повел рукой Сергей Игнатьевич, — какая красота жизни вокруг!

Ребята, как бы повинувшись его жесту, оглянулись вокруг себя.

— Здорово, конечно, — сказал Антон. — Красиво.

— Эх, ты, — усмехнулся Сергей Игнатьевич. — Об этом такими словами сказать — все одно что кузнечным молотом стрекозу выковать... Слова должны человека до красоты этой поднимать! Жил такой умного сердца поэт Алексей Константинович Толстой. Он говорил об этом так, что дух захватывает.

Благословляю вас, леса,

Долины, нивы, горы, воды!..

— Ага, — подхватила Юка, — я знаю:

Благословляю я свободу

И голубые небеса!

И посох мой благословляю,

И эту бедную суму,

И степь от краю и до краю,

И солнца свет, и ночи тьму,

И одинокую тропинку,

По коей, нищий, я иду,

И в поле каждую былинку,

И в небе каждую звезду!

Смущенный замечанием Сергея Игнатьевича, Антон отвернулся, потом невольно посмотрел на палку и рюкзак Сергея Игнатьевича. Палка была самая обыкновенная, только длинная,



рюкзак нисколько не похож на нищенскую суму, но сейчас они выглядели совсем иначе, будто стали значительнее, необычнее, чем за минуту перед тем.

— Вот, — сказал Сергей Игнатьевич. — «И в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду!..» Это вы должны понимать, потому что всему этому вы — наследники. Учат вас понимать красоту земли своей? Нет. И меня не учили...

— У нас в старших классах, — сказал Сашко, — уже по специальности учат — кто в доярки, кто в трактористы...

— Это хорошо, нужно. Но вся природа в сельское хозяйство не укладывается. А человек ведет себя иной раз как злейший свой враг. Мордует красоту земли своей, а то и уничтожает ее силу...

— Реки отравляют, — сказал все время молчавший Толя. — У нас в Чугунове завод есть. Маленький, а все равно вредный. Он в реку химикаты какие-то выпускает. Вся рыба передохла, одни жабы остались.

— Вот-вот. И все молчат, мирятся. И вы тоже, наследнички дорогие. Что наследовать-то будете? Испакощенную землю? Надо этих пакостников за ушко да на солнышко, чтобы весь честной народ видел, как они к будущему дурацкие поправки делают...

— Я придумала! — сказала Юка. — Сделать из ребят такой кордон. И назвать — кордон бесстрашных! Чтобы ничего не боялись, и расставить всюду пикеты. Ребят же много...

— Это не серьезно, — сказал Толя. — Детская игра.

— Никакая не игра! Всех таких, которые безобразничают, прогонять или делать им такое, чтобы больше не ходили и не ездили. Вот взять и перекопать дорогу вон там в лесу, где шлагбаум. Шлагбаум что? Подняли — и ездят сколько хочешь. А через канаву не переедут...

— Не годится, — сказал Сергей Игнатьевич. — Ездят ведь не одни безобразники. За что же всех наказывать? На природу замок повесить нельзя. Она не музей, человеку нужна, и пускай все пользуются. Но без хулиганства... Придумайте что-нибудь другое.

— Тут без взрослых не обойтись, — сказал Сашко.

— А и не надо без взрослых. Вы следите, предупреждаете, а не послушают — зовите взрослых на подмогу. Думайте, ребятки, думайте.

— Тут нечего и думать, — сказала Юка. — Делать надо. И я согласна хоть сейчас. А вы, ребята?

— А ну вас, — сказал Семен, поднимаясь. — Еще побьют... Як шо и делать, так треба так, шоб никто не чув и не бачив. Потихоньку. А взагали на шо оно мне нужно? Шо мне — больше всех болыть? Мне вон коров треба пасти...

— Ну и уходи! — рассердилась Юка. — Ты просто трус!

Семен ничего не ответил; сбивая кнутом цветы под ногами, поплелся к своим коровам.

— Семен! — закричал ему вслед Антон. — Ты мимо лесничества будешь проходить, посмотри, дядя Федя не приехал? Только никому не говори, где я. И ему не говори. Скажи, чтоб не беспокоился, я сам приду...

— Ладно, — донеслось из-за кустов.

— Вот трус! — продолжала негодовать Юка. — За шкуру свою боится...

— Может, и не трус, а просто хатоскрайник. Из тех, чья хата всегда с краю. Благодаря хатоскрайникам дурак или какой-нибудь чиновный маклак и орудует безнаказанно. А маклак ради того, чтоб его похвалили, все может: и реку отравить, и лес свести, все затоптать и продать. Смотрите, ребятки, у вас все впереди, присматривайте за своим наследством сызмалу, берегите его...

Ребята сосредоточенно молчали, глядя на него, ждали, что Сергей Игнатьевич скажет еще, но он сказал самое обыкновенное:

— Отдохнул я с вами знатно, можно дальше двигать.

— А куда вы теперь?

— Сначала в Ганеши — хочу кое-кого повидать, потом дальше пойду.

— Можно, я с вами? — сказала Юка.

— Отчего ж, вдвоем веселее.

— Мне тоже домой надо, — сказал Сашко.

— Я с тобой, — сказал Толя. — Папа скоро в Чугуново поедет.

— Бывай здоров, — сказал Антону Сергей Игнатьевич. — Не робей. Все утрясется.

Антон молча кивнул.

— Я скоро приду, — сказала Юка, — еще поесть принесу.

Сергей Игнатьевич надел рюкзак, взял палку и зашагал по берегу. На правом берегу вдоль гречишного поля почти не было кустов, и еще долго виднелись удаляющаяся высокая фигура Сергея Игнатьевича и маленькое пестрое пятнышко — Юка. Сашко, Толя и Хома перешли вброд реку и скрылись за кустами. Антон долго лежал, слушая самолетный гул над полем, и наблюдал ленивое таяние облаков. Потом он вспомнил, что здесь его могут увидеть сельские или работники лесничества, и пошел к порогу. Там лежали спрятанные под камнями Юкино одеяло, продукты, принесенные Толей, и остатки хлеба. Бой уже не бежал впереди, тяжело плелся сзади, припадая на раненую ногу.

Семен-Верста трусом не был. И соображал он значительно быстрее, чем можно было подумать, глядя на его всегда полусонное лицо. Просто он уже давно решил про себя, что не следует показывать сразу, что ты понял, о чем говорят или чего от тебя хотят другие, и тем более не следует обнаруживать свое к этому отношение. Сначала надо подумать, выгодно это или не выгодно, к чему приведет и чем закончится, а в зависимости от того говорить или не говорить, делать или не делать. И сейчас он сказал, что ему нет до этого дела не потому, что так думал, а потому, что еще не решил для себя, как он, Семен, должен к этому отнестись и должен ли он что-либо делать, а если сделает, чем это кончится для него, Семена. Стишки, всякие там слова про красоту — ерунда. Думая об этом, Семен даже оттопырил презрительно губы. Красоту не съешь и чоботы из нее не сошьешь. Хозяйственная душа Семена возмущалась другим. Прошлым летом он сам порезал ногу и едва не умер. А нынешней весной Кострицына корова легла и пропорола вымя какой-то железякой. Железьяку бросили приезжие, потому что кто же из сельских понесет ее сюда и бросит, если ее можно употребить в дело. А летом прошлого года, когда стояла страшная сушь, кто-то зажег костер и бросил. Зажег зря — было видно, что на костре ничего не варили и не жарили. И, значит,

жгли просто так, чтобы горело. А зачем днем огонь, если жарко было так, что коровы только по холодку и паслись, а то прятались в тени и лежали? Когда Семен увидел брошенный костер, огонь был уже близенько от сосняка, а там хворост сухой, как порох. Семен руки и ноги себе пожег, пока огонь забил, а все угли засыпал землей.

А грибы приедут собирать? Ничего не видят, не понимают, вытопчут, как кони, все грибы, а сами ничего не наберут. А если найдут, рвут с корнями, грибницу портят, и там уже грибы больше не растут... Ну и мусор всякий кидают.

А еще когда рыба была, приедут, взрывчаткой глушат. А что тут, киты были, сомы пудовые? Ну, щурята, окуньки вот такусенькие, плотичка... Как жахнут, вся рыба кверху пузом; они покрупнее выберут, а вся остальная так и пропадала... Все это было так. А что с этим делать — неизвестно. Пугать? Напугаешь их, как же! Приедут на грузовике человек двадцать — тридцать. Наорут, нагадят, водки напьются. Попробуй скажи им что. Душу вынут!.. На легковых приезжают — народу меньше, а тоже нагадят, будь здоров.

Легковиков Семен особенно не любил. Во-первых, у них были машины свои, собственные. Куда хотят, туда едут, и никто им не указ. Бывали, конечно, и старые, мятые «Москвички», и трепанные газики, чадящие и стреляющие выхлопом, как трактора. Но приезжали и слепящие лаком и хромом новенькие «Москвичи» и «Волги». Хозяйства этих машин были хорошо, по-городскому одеты. И у них были всякие разные вещи, которые Семен издала плохо различал, но они тоже сверкали никелем, яркими красками и были непонятны. Семен потом подходил к брошенной стоянке и старательно присматривался. Он всегда надеялся — вдруг они забудут или потеряют какую-нибудь хорошую, полезную вещь, а он, Семен, найдет. Но приезжие ничего не теряли и не забывали. После них оставались мусор, мятая грязная бумага и пустые консервные банки. Семен швырял ногой бумагу, читал надписи на консервных банках. Иногда он даже не мог прочесть — надписи были на иностранном языке. От банок пахло непонятно и очень вкусно. Семен с завистью думал, как, должно быть, много у этих людей денег, если они покупают автомобили и разные другие штуки, могут ездить куда хотят и едят, должно быть, очень дорогие и вкусные вещи, которых Семен никогда даже не пробовал и неизвестно, попробует ли когда-нибудь. А еще он думал, почему это так, что у этих людей есть все это, а у него, Семена, нет. Он яростно им завидовал и потому очень не любил.

И к легковикам тоже не сунешься. Они всегда так смело и уверенно говорят все и делают, что прямо кто их знает, что они за люди... Вот если бы что-нибудь такое придумать, чтобы они и не видели и не знали, кто да что, и доказать не могли. Что-нибудь назло сделать, чтобы отбить охоту сюда ездить. Раз, другой напорются и перестанут...

Но, как ни раздумывал Семен, ничего такого, что было бы неприятным для чужаков и что можно было бы сделать скрытно и остаться незамеченным, придумать не мог. Его осенило внезапно, на обратном пути, когда он издалека увидел стоящий на берегу синий «Москвич». Возле него никого не было. Семен подошел ближе. Кусты заслоняли реку, оттуда доносились плеск, мужской голос и женский смех. Дверцы машины были распахнуты. На сиденье лежала большая белая сумка. Она сверкала как лакированная. «Пластмассовая», — подумал Семен и снова посмотрел на реку. Голоса за кустами звучали слабее, удалялись. Семен схватил сумку, сунул ее под рубаху и скатился в ложбинку, скрывшую его с головой. Добежать по ложбинке до кустов лещины — дело одной минуты. Семен нырнул в кусты, пробрался в гущину, отвалил попавшийся по дороге камень, положил под него сумку, набросал на камень веток, так же бегом вернулся к своим коровам и неторопливо погнал их по опушке, огибая гречишное поле со стороны леса и удаляясь от реки.

Время от времени Семен поглядывал в сторону синего «Москвича». Там появились мужчина и женщина в купальных костюмах. Голоса на таком расстоянии не слышны, но было видно, что люди возбужденно о чем-то говорят или ссорятся. Потом женщина начала рыться в кузове машины, мужчина полез в багажник.

«Шукайте, шукайте, — злорадно подумал Семен. — Три года будете искать, а не найдете...»

Он погнался дальше. Машина становилась все меньше, люди возле нее казались крохотными. Семен перестал смотреть в их сторону, поднимал опавшие сосновые шишки и швырял в шишки, еще торчащие на ветках.

И вдруг он увидел, что совсем близко, прямо по гречишному полю, к нему идет уже одетый мужчина. У Семена перехватило дыхание, будто ему кто «дал раза под дыхало», он еле удержался, чтобы не броситься бежать. Облизнув внезапно пересохшие губы, он схватил висящий на плече кнут, стрельнул им и заорал на коров:

— Куды, шоб вас холера...

— А ну, стой, парень! — раздалось у него за спиной.

Семен обернулся и отступил на шаг. Перед ним стоял высокий молодой мужчина. Кулаки его были сжаты так, что кожа на косточках побелела. По спине Семена пробежали мурашки. «Такой как даст — враз перекинешься», — подумал он.

— Ты взял сумку? — спросил мужчина.

— Яку сумку? — изображая спокойное удивление, сказал Семен.

— Белую дамскую сумку. В машине.

— Не бачив я ниякой сумки! — возмущенно сказал Семен. — На шо она мне сдалась, ваша сумка?.. И чога б я лазил в вашу машину?

— Ты дурака не валяй! Кроме тебя, здесь никого не было...

— Та шо вы до меня цепляетесь? Яке вы имееете право...

— Вот я тебе сейчас дам право! А ну, показывай карманы!..

— Натте! — Со злорадным удовольствием Семен вывернул пустые карманы.

— А что в мешке?

Семен так же охотно вывернул мешок, болтавшийся у него на плече. С утра в нем лежал кусок хлеба, хлеб Семен давно съел, и сейчас там не было ничего, кроме крошек.

— Ну, бачилы? Тут ваша сумка? Я взял, да? — Поняв, что приезжие ничего не видели, доказать не могут, Семен расхрабрился и перешел в наступление. — Ездят тут, до людей цепляются...

— Слушай, парень, — не разжимая зубов, сказал приезжий. — Лучше по-хорошему отдай сумку. Я ее все равно найду. Но тогда пощады не жди!

На мгновение Семен внутренне дрогнул — может, в самом деле лучше отдать, не пачкаться с той сумкой? Но тут же успокоил себя: ничего он не найдет и не докажет. А признайся такому — у него не кулаки, а кувалды...

— Та шо вы до меня пристали?! — оскорбленно заныл Семен. — Не бачив я вашей сумки!

— Ну смотри, парень! — испытующе глядя на него, сказал мужчина. — Потом не жалуйся!

Он круто повернулся и пошел к машине. Минут через десять «Москвич» тронулся с места, сверкнул на солнце ветровым стеклом и скрылся в лесу, потом, должно быть, выехав на шоссе, затих. Однако Семен не был уверен, что приезжие уехали на самом деле, а не притворились только и теперь скрытно за ним наблюдают. Поэтому он, все так же плетясь за коровами, обогнул гречишное поле и только тогда погнал коров к тому месту, где стоял «Москвич». Здесь он еще посидел с полчаса, прислушиваясь и приглядываясь ко всему кажущимися сонными, а на самом деле зоркими и цепкими глазами. Оба берега были безлюдны, в послеполуденном зное даже гудение пчел звучало тише. Семен полез в кусты, достал сумку и пошел к реке. Теперь найти подходящий камень, сунуть в середку — гульк! — и пускай ищут...

Он с самого начала так и решил — взять и закинуть. Куда угодно. Хоть в речку. Так, чтобы не могли найти. Небось после этого больше не приедут. Побоятся, что еще что-нибудь пропадет. Он и на секунду не собирался оставлять сумку у себя. Что он с ней будет делать, куда денет? Все знают, что у него такой вещи нет и быть не может, начнутся спросы да расспросы... В лесу нашел? Навряд ли, чтобы кто поверил... Да и на черта она ему сдалась? Что он, вор, что ли?..

Найдя подходящий камень, Семен расстегнул замок-«молнию» и хотел всунуть камень, но отложил его. Надо хоть посмотреть, что там... Сумка была почти пустой. На дне лежали продолговатая коробочка, записная книжка, расческа и дымчатые очки. В таких очках ходили многие дачники и приезжие. Ему б такие тоже пригодились — целый день на солнце... Он достал и надел очки. Все вокруг сразу погасло, будто солнце закрыла грозозная туча. Семен снял очки, в глаза ударил буйный блеск света, льющегося с неба, от реки, от самого воздуха, волнистыми струями переливающего зной. Он надел очки, и мир потух, снял — мир снова вспыхнул. Он вспыхивал и гаснул, вспыхивал и гаснул, пока Семену не надоело. Только тогда он заметил, что видит все через очки как бы смазанным, размытым. Он протер их рубахой, но и в чистых стеклах все расплывалось, теряло четкие очертания и контуры. К тому же начали болеть глаза. Семен обозлился. За каким чертом делают очки, через которые хуже видно, чем просто так, да еще от которых болят глаза? Он размахнулся и зашвырнул очки на глубину.

Расческа была мировой. Голубая, прозрачная, зубья идут в три ряда и гнутся, как резиновые. Семен снял кепку и попробовал. Расческа гнулась, но чесала здорово. Такая вещь вполне годилась. Пожалуй, если сказать, что расческу нашел, поверят: вещь маленькая, ничего не весит, потерять — легче легкого.

В прямоугольной коробочке-футляре была щетка из белого жесткого волоса, маленькие, сверкающие хромом кривые ножницы, плоская, как картонка, пилочка и еще какие-то штучки с треугольными наконечниками и вроде лопаточки. Для чего эти вещи, Семен не знал, но выбрасывать их стало жалко. В селе показать нельзя, но, может, если поехать в Чугуново, удастся там загнать?..

Книжка была старая, потертая и вся исписана адресами. В карманчике обложки лежали какие-то квитанции, выданные Сорокину Ю. П. Семен порвал квитанции, разорвал книжку, обрывки сложил в валяющуюся под ногами консервную банку, зачерпнул у берега грязи, чтобы была тяжелее, пригнул на место крышку и швырнул в реку. Банка булькнула и сразу же утонула.

На дне лежала еще круглая кожаная пудреница на «молнии». На крышке выдавлен и раскрашен какой-то чудной рисунок и люди, похожие на китайцев. Внутри было зеркало и

остатки желтоватой пудры. Пудреницу и сумку тоже стало жалко выбрасывать. Их ведь тоже можно продать. Не сейчас, так потом, когда подвернется случай. А пока пускай лежат под камнем, ничего им не сделается.

Семен сложил все, кроме расчески, обратно в сумку, прикрыл ее, как и прежде, камнем, потом ветками. Он вспомнил о Сорокиных, которые заплатили за эти вещи, должно быть, немалые деньги, но тут же подумал, что «грошей у них до биса», ничего с ними не станется. И уже со спокойной совестью и новенькой расческой в кармане погнал коров в село.

Иван Опанасович кончал обедать, когда возле хаты заворчал автомобильный мотор.

— К тебе, — сказала жена, выглянув в окно. — Чужие какие-то. Господи, и поесть человеку не дадут!

Иван Опанасович вытер губы. Вместе с остатками масла на губах после вареников с лица его исчезло выражение покоя и довольства, сменившись выражением деловитым и хмурым. Он вышел на крыльцо, когда от синего «Москвича» шли незнакомые мужчина и женщина.

— Вы председатель? — спросил мужчина. — Здравствуйте.

— Ну, я председатель, — хмуро, но вежливо ответил Иван Опанасович, прикидывая, что за люди и какие от них могут произойти неприятности.

Что будут именно неприятности, Иван Опанасович не сомневался. За все время его работы председателем, кто бы ни приезжал — из района, из области, — обязательно начинались попреки в недоработках, упущениях, послаблениях и прочих недостатках деятельности Ивана Опанасовича.

— Паспорта со мной нет, но вот мое служебное удостоверение, — сказал мужчина, протягивая коричневую книжечку.

«Сорокин Юрий Петрович, механик цеха № 4», — прочел про себя Иван Опанасович. Кроме фотографии, печати и каких-то непонятных значков вроде звездочек, на удостоверении ничего не было. По бокам треугольной печати стояла надпись: «Завод почт, ящик №...»

— Так в чем дело? — возвращая пропуск, спросил Иван Опанасович.

От души у него отлегло: ни завод, ни почтовый ящик его не касались. Стало быть, ничего требовать люди эти не имеют права; будут о чем-нибудь просить, а когда просят, отбояриться легче, чем когда требуют...

— Вы, наверное, знаете, кто в селе пасет скот. Коров, я имею в виду...

— А на шо то вам? — снова насторожился Иван Опанасович.

— Видите ли, мы проезжали по шоссе, решили выкупаться, подъехали к Соколу, там, где гречка растет. Это ведь ваша территория? Пока купались, из машины украли сумку, вот женину. — Жена Сорокина кивнула. — Ну, сумка так себе...

— Как это «так себе»? — сердито сказала жена. — И там же были вещи!

— Вещи — ерунда. Там важные документы... Ну вот. Вокруг не было ни души. Только пастух-подросток с коровами. Кроме него, никто не мог взять.

Дело оказывалось совсем пустяковым. Сумку украли? Не надо было оставлять... Ездят,

морочат голову всякой ерундой. Иван Опанасович окончательно успокоился и даже стал менее хмурым.

— Пастухов у нас трое. Ну, двое туда не гоняют, по сю сторону пасут. На левый берег только Бабиченков сын гоняет» Он тут недалеко живет. Вон в том конце крайняя хата.

— Может, вы поможете? — теребя дрожащими руками косынку, сказала Сорокина. — Поговорить просто с ним. Может, он и так отдаст... Зачем ему это?

— Некогда мне, — сказал Иван Опанасович. Он еще раз посмотрел на дрожащие руки Сорокиной и кивнул. — Ладно, пошли.

— Понимаете? — стараясь не отстать от него, говорила Сорокина и поминутно заглядывала ему в лицо. — В конце концов, сумка и вещи не такие уж дорогие. Жалко, конечно. Но принципиально! Как это так? А самое главное — там у меня лежали квитанции в записной книжке... Понимаете? Подошла очередь получать машину — а денег таких нет. А мы пять лет в очереди — не отказываться же! Влезли в долги — не хватило. Тогда мы все зимние вещи заложили в ломбарде... Вы понимаете, что будет, если квитанции пропадут?!

Иван Опанасович молчал, и в молчании этом явно ощущалось отчуждение и неодобрение. Несерьезные люди какие-то. Нет денег — нечего машины покупать. По одежке надо тянуть ножки... А если вещи заложили, за каким чертом таскать эти квитанции с собой? Что они, дома не могли лежать? Он даже хотел это сказать, но посмотрел на расстроенное лицо маленькой женщины и промолчал.

Иван Опанасович постучал клямкой — в хате никто не отзывался, он толкнул дверь. От печи повернулась к ним хозяйка — еще не старая женщина с преждевременно увядшим лицом. Хозяин, маленький, заросший седеющей щетиной, сидел на табуретке и обматывал ногу портянкой.

— Здравствуйте, — сказал Иван Опанасович, — вот до вас люди пришли.

— Здравствуйте, — торопливо ответила хозяйка.

Хозяин молча продолжал обуваться.

— Такое, понимаешь, дело, Бабиченко. Вот у них вещички пропали, украли, что ли. И подозрение на твоего сынка.

Хозяйка всплеснула руками, тихонько ахнула. Бабиченко исподлобья глянул на нее, на пришедших, натянул сапог и начал обматывать портянкой вторую ногу.

— Так что ты давай разберись в этом деле, — сказал Иван Опанасович. — Как следует. А я пошел, некогда мне.

Сорокины вышли из хаты вслед за ним.

— Вы не сомневайтесь, — сказал председатель. — Он разберется, хозяин строгий.

Хозяин вышел через несколько минут. Вслед за ним появилась жена, но не подошла ближе, а так и осталась в дверях. Бабиченко выслушал Сорокиных, не поднимая головы. Под щетиной его вздулись злые бугры желваков.

— Он скоро придет. Я спрошу, — глухо сказал он. — Такого за ним не замечалось. Ну, если...

В голосе его прозвучала такая жестокая угроза, что жена снова тихонько охнула и прижала руку к горлу.

— Цыц! — ощерился на нее Бабиченко. — Я тебе пожалею!..

Хозяйка скрылась в хате.

— Погуляйте, — сказал Бабиченко, не глядя на них. — Он скоро коров пригонит. Идите в хату, як хочете...

— Нет, зачем же? Мы здесь подождем, — поспешно сказала Сорокина.

Бабиченко пошел к поленнице, начал рубить дрова и бросил. Взял грабли с вывалившимися зубьями, принялся чинить и тоже оставил. Потом зачем-то вынес из сеней и повесил на плетень старые сыромятные вожжи.

— Он ужасно переживает, — тихонько сказала Сорокина мужу. — Все из рук валится...

Сорокин неприязненно покосился на нее и промолчал. Он злился на себя и еще больше на жену. Ну черта, в конце концов, в этой сумке? Сумка бросовая, хлорвиниловая. И вещи тоже, в общем, пустяковые. Вот квитанции — да. С ними будут неприятности. Все-таки как-нибудь обошлось бы. Парня, конечно, вздуть следует. Но уж больно дядька этот свиреп. Вон мыкается, места себе не находит. Оно понятно — за сына горько и стыдно. Перед ними, чужими людьми, стыдно, перед соседями. Это ведь не в городе: вышел на другую улицу — и тебя уже никто не знает. Вот он, Сорокин, даже всех соседей в своем подъезде не знает, кто они, что делают, как живут... А здесь всё знают про всех. И, конечно, все село будет знать, что сделал Бабиченков сын. Сорокин попробовал представить себя на месте Бабиченки, и ему стало так нехорошо, что он крякнул и поежился. И ему тоже стало стыдно. Перед Бабиченко, которого он заставил стыдиться, перед его женой, которая заранее умирает от страха за сына, даже перед председателем сельсовета. Хотя тот ничего и не сказал, но во всем его поведении сквозило пренебрежение и к ним, и к тому делу, ради которого к нему пришли...

Бабиченко перестал слоняться по двору, присел на землю возле плетня, где сидел Сорокин, но не слишком близко.

— Закуривайте, — предложил Сорокин.

— Не балуюсь, — ответил Бабиченко и посмотрел туда, откуда должен был появиться Семен с коровами.

— В колхозе работаете? — спросил Сорокин. Ему было неловко сидеть вот так, молча, с человеком, которого он нехотя обидел своим подозрением — может быть, и зря? — заставил стыдиться, и он хотел как-то смягчить и его и то жесткое напряжение, которое застыло на лице Бабиченко, но он не знал, с чего начать, и лучше этого вопроса ничего не мог придумать.

— Нет, — сухо ответил Бабиченко. — На строительстве. Сторожем. Тут дом для туристов строят... Идет, — дрогнувшим голосом сказал он.

Из лесу лениво выбрели коровы, вслед за ними появился Семен. Дойдя до ближайшего куста, он наклонился, но сейчас же выпрямился и пошел дальше. Бабиченко встал. Сорокин тоже поднялся. Семен подошел совсем близко, скользнул взглядом по Сорокиным и равнодушно отвернулся. Лицо его стало еще более сонным.

— А ну, иди сюда! — сказал Бабиченко. — Ты этих людей знаешь?

— Коло речки бачив.

— Ага, бачив! А сумку ихнюю бачив? Ты украл?



Лицо Семена даже под загаром посерело.

— Не брал я никакой сумки...

— Ты еще брешешь? Говори, а то сейчас как...

Семен попятился и уперся спиной в плетень.

— Ой нет, пожалуйста, — сказала Сорокина. — Мы же хотим по-хорошему. Пускай отдаст сумку, и всё.

— Чуешь, что люди говорят? Ну!..

— Не брал я, — сказал Семен и отвернулся.

— Слушай, парень. — Тупое упрямство пастуха начало раздражать Сорокина. — Скажи спасибо, что мы сюда пришли и хотим кончить дело по-хорошему. И признавайся, пока не поздно. А нет, я сейчас поеду в областной центр, в угрозыск. Тут всего двадцать четыре километра. И через час приеду с собакой-ищейкой. Тогда уж пеняй на себя, тогда так просто не обойдется. Куда бы ты сумку ни спрятал, ищейка найдет, будь покоен! Тебе что, в тюрьму хочется? А если в это дело вмешается угрозыск...

— Не брал я, — повторил Семен, все так же глядя в сторону.

— Подожди, — сказала Сорокина мужу, — дай я... Послушай, Семен. Ты пойми: мы хотим тебе добра. Мы ведь могли просто сразу поехать в угрозыск и привезти собаку, а она привела бы сюда. От нее ведь не спрячешься! И тогда что же, суд, тюрьма или какая-нибудь там колония? Ты ж там пропадешь!.. Ты ведь еще совсем мальчик, у тебя все еще впереди. А ты хочешь испортить себе всю жизнь? Разве можно начинать жизнь с тюрьмы, всю жизнь носить клеймо вора?.. Ну, ты ошибся, взял чужую вещь. Я понимаю, в этом стыдно, очень стыдно признаться. Но лучше пережить один раз такой стыд, признаться и покончить с этим, чем самому, своими руками загубить свое будущее, свою жизнь. Подумай, Семен! Верни сумку, мы уедем, не станем никуда заявлять, заводите дело, и все забудется, и ты останешься честным, незапачканным человеком...

Семен молчал. Он смотрел в сторону леса. Деревья там расплывались, как тогда, когда он смотрел через те клятые очки, и он не понимал, что расплывается все потому, что смотрит он сквозь слезы, которыми налились глаза. Губы его вздрагивали, будто он неслышно что-то говорил. Он и в самом деле повторял про себя одно и то же: «Пропал! Ох, пропал!..» Спасения не было. Как бы он ни запирался, ему не поверят. И привезут ищейку. И тогда все... Он так отчетливо представил, как ищейка бежит по следу, тащит за собой на поводке милиционера (он видел это в кино), а потом, оскалив клыки, бросается на него... И все это видят. И потом милиционер везет его, арестованного, в город, и там сажают в тюрьму, где сидят одни бандюги вроде Митьки и где Семена затуркают и забьют и он совсем и окончательно пропадет... И не будет уже осенью ни города, ни ремесленного, не будет ничего... И на что ему сдалась эта клятая сумка и то барахло?.. И как бы хорошо, если б он ее не трогал и даже вовсе не видел... Но он увидел и взял, и теперь уже ничего не вернешь и не поправишь. И что же ему теперь делать? Запираться? Не поможет. Признаться? А что тогда сделает с ним батько? Он такой, что... А как он дальше будет тут жить? Ведь все люди узнают, что он украл, и будут считать, что он вор, и думать, что если он украл один раз, то будет красть и потом... И хоть так, хоть иначе, а нет ему никакого спасения, пропал он, и больше ничего...

— Где спрятал? — сквозь зубы спросил отец.

— В лесу. Около речки... — еле слышно ответил Семен и быстро-быстро заморгал, чтобы согнать с глаз слезы.

— Ага, значит, люди правду говорят — ты украл все-таки, — с ужасающим спокойствием сказал Бабиченко, словно только подтверждения Семена и не хватало ему, чтобы окончательно успокоиться. — Ну подожди, поговорим мы с тобой... А теперь беги, и чтобы сумка сейчас же была тут!

— Давайте лучше на машине, — сказал Сорокин, — быстрее будет.

Они молча сели в машину, молча промчали пять километров по шоссе, проехали через лес к реке. Руки у Семена тряслись, он плохо соображал, что делает, и, вместо того чтобы открывать дверцу, старался ее закрыть, хотя она и без того была заперта. Сорокин отстранил его руки, распахнул дверцу. Волоча ноги, Семен побрел в кусты, принес сумку. Сорокин, не открывая, бросил ее на сиденье. Так же, не произнеся ни слова, они приехали обратно.

— Смотрите, — сказал Бабиченко, — все там или нет.

Сорокина расстегнула сумку:

— Прибор, пудреница... А где записная книжка, очки, расческа?

Семен молчал.

— Ну? — сказал Бабиченко. — Что ты там за кустом спрятал? Думаешь, я не видел?.. Живо носи сюда!

Семен побрел к кусту, возле которого наклонялся, когда возвращался в село.

Он старался идти быстро, чтобы не злить отца еще больше, но ноги были как чужие или деревянные и не слушались.

— Ось, — сказал он, подавая голубую пластмассовую расческу.

— А книжка, очки? Очки же тебе все равно не годятся, они для близоруких...

— Закинул, — сказал Семен.

— Куда?

— В речку.

— А книжка записная? Там же самое важное — квитанции...

— Порвал.

— Боже мой! — воскликнула Сорокина. — Зачем ты это сделал? Как же мы теперь...

— Ну и дрянь же ты, парень! — в сердцах сказал Сорокин. — Ладно, поехали, — повернулся он к жене. — Теперь ахай не ахай — все равно...

— Извиняйте, — сказал Бабиченко, твердо глядя в глаза Сорокину. — Спасибо, что до меня пришли и сказали. Теперь я с ним поговорю...

Сорокина повернулась уходить и увидела в окне лицо матери, глаза ее, со страхом следящие за мужем.

— Только я вас очень прошу, — умоляюще сказала Сорокина. — Не бейте его! Он же сознался и все понял. Не надо его бить!

— То уже наше дело! — ответил Бабиченко, снимая с плетня сыромятные вожжи. — Иди в хату!

Семен затравленно оглянулся, опустил голову и, волоча ноги, побрел к двери. И, так же опустив голову, пошел за ним отец.

— Ну и вздует он его, — сказал Сорокин, садясь в машину. — Теперь дурень этот неделю сидеть не сможет... Гнусно! Черт его знает, наверное, все-таки не с того конца нравственные устои надо внушать...

— Не знаю с какого, но внушать их надо. Иначе жить нельзя. А, конечно, жалко...

«Москвич» выехал на шоссе, послал солнечного зайчика ветровым стеклом и скрылся за поворотом.

12

Еще издали Иван Опанасович увидел, что на крыльце сельсовета сидит чужой человек, а рядом с ним девочка в пестром платье. «Еще что-то стряслось, — раздраженно подумал Иван Опанасович. — Вот будь они неладны, понаехали и морочат теперь голову...»

Проходя мимо щита для объявлений, он краем глаза заметил, что там появился не то новый плакат, не то объявление, но, так как знал, что ничего серьезного без его ведома появиться там не может и, скорее всего, это объявление о кино, присматриваться не стал, хмуро ответил на приветствие незнакомого мужчины, открыл дверь и сказал:

— Заходите, если ко мне.

— Если вы председатель, то к вам, — сказал незнакомец. — Подожди меня здесь, Юка.

В сельсовете было душно, воздух, настоенный на свирепом самосаде, хоть руби топором. Иван Опанасович распахнул окно, сел на свое место, вытер сразу вспотевшую шею.

— Слышал я, собак у вас начали уничтожать, — сказал Сергей Игнатьевич.

— Есть такое распоряжение. Мы и то опоздали, надо бы раньше.

— Возможно. Но при отстреле собак ранили ребенка, маленького мальчика?

В комнате стало так жарко, будто она превратилась в вагранку.

— Ну, несчастный случай... И его так только, малость задело...

— По-вашему, мало? Надо, чтобы задело больше? Или убило совсем?

— Ну, кто ж это говорит... Разве нарочно?..

— Не хватало еще, чтобы нарочно!

— А вы откуда? — осторожно спросил Иван Опанасович.

— Из Киева.

Иван Опанасович похолодел. Уже до Киева дошло! Теперь не расхлебашь... Черт бы их драл с такими распоряжениями! Ну, не выполнил бы, за это не повесят... А теперь попробуй оправдайся. Сбрехала, значит, Безенчучка, сказала, что не заявит, а сама побежала заявлять... Вот так и верь людям. И кто это такой? Следователь? Не похоже, в штатском. Хотя кто его разберет, он может ходить и в штатском. Нет, при нем девчонка, следователь девчонку с собой не повезет...

— Так что, и в Киеве про это знают? — пытаюсь улыбнуться, сказал Иван Опанасович.

— Пока не знают. Я был здесь поблизости, поэтому узнал. А кроме того, узнал, что произошло это не случайно...

— То есть как?

— Вы поручили это какому-то темному, уголовному типу.

«Крышка! Следователь», — решил Иван Опанасович. Он прямо физически ощущал, как ревет в вагранке пламя, плавится чугун и вместе с ним он сам.

— Ну, ведь человек этот, так сказать, амнистирован, взят на поруки...

— И этого достаточно, чтобы дать ему в руки оружие?

— Это, конечно, возможно, моя ошибка, недоучел... — начал Иван Опанасович, и внезапно его осенило: никакой это не следователь! Разве следователь пешком придет? Он обязательно приедет! И вообще не приедет, а к себе вызовет. — А почему, собственно, вас это интересует? Кто вы такой?

Сергей Игнатьевич глянул на него из-под кустистых бровей и недобро усмехнулся.

— Показать документы? Пожалуйста. Бывший инженер, теперь пенсионер.

Иван Опанасович окончательно обрел привычную уверенность в себе, внимательно просмотрел паспорт. Бессрочный, невоеннообязанный. Он заглянул даже в прописку. Прописка действительно киевская. Ну и что? Подумаешь, цаца...

— Так что вы хотите? — уже совсем другим, сухим и официальным тоном спросил Иван Опанасович, возвращая паспорт.

— Ответа на свои вопросы.

— А почему я вам должен отвечать? Делать мне больше нечего? У вас, понимаете, должности никакой, заниматься нечем, так вы от скуки лезете, где вас не спрашивают. Получаете свою пенсию, ну и отдыхайте, не лезьте, если до вас не касается...

— Вот что, товарищ председатель, — жестко сказал Сергей Игнатьевич. — На службе я больше не состою, как говорится, просто гражданин. Но меня все касается. Вы — представитель советской власти, к тому же, наверное, член партии и должны это понимать. Если вы этого понимать не хотите или же не умеете и думаете, что считаться нужно только с официальной должностью, то мы сейчас этот разговор прекратим. Но тогда не обижайтесь. Я сказал, что в Киеве пока о ваших подвигах не знают. Можете быть уверены, я сумею сделать так, что узнают и в области, и в Киеве. И вряд ли за эти подвиги вас представят к награде...

Ивану Опанасовичу снова стало невыносимо жарко. Инженер говорил негромко, но так жестко и внушительно, как говорят только люди, привыкшие командовать. Наверное, видал виды,

ходил в немалых начальниках. С таким лучше не связываться, дать задний ход, а то наплачешься... И Иван Опанасович дал задний ход.

— Ну вот, понимаете, чуть что — так сразу область, Киев... Что, мы сами на месте не можем разобраться?

Они начали разбираться, и оказалось, что точки зрения у них довольно близкие и даже кое в чем прямо совпадают. Иван Опанасович тоже считал распоряжение это не слишком умным. Собак истреблять не штука. Шуму наделали, отрапортовали, а толку? Бешенство-то у собак откуда берется? От волков и крыс. Их надо истреблять! А их истреблять — дело трудное, на «раз-два-три» не отрапортуешь... Конечно, народу надо разъяснять, чтобы зря лишних собак не заводили, следили за ними, делали прививки. В городах же делают... То в городах! А в села кто поедет прививки делать? Бумажки-то такие легче писать. Отписал, свалил на других, и дело с концом. А собак стреляй не стреляй — люди все равно держать будут, собака человеку нужна — она и сторож, и друг, и защитник... Конечно, всяким темным личностям доверять оружие нельзя. Хорошо еще, что так кончилось, бог знает что могло быть... Такой Митька и в человека выпалит, не моргнет. Привезет ружье из ремонта — всё, больше он его не увидит...

Расстались они чуть ли не друзьями. Сергей Игнатьевич попрощался и, провожаемый Юкой, пошел из села.

Иван Опанасович начал читать газеты. Прежде всего он просмотрел районную — не прошли ли по их сельсовету, потом областную и республиканскую. Нигде не упоминался Чугуновский район, ни даже область. Начали приходиться посетители. Тому нужна справка, тому совет, тот с кляузой. Иван Опанасович подписывал справки, давал советы, обещал разобраться в кляузах. Он занимался многочисленными своими делами, время от времени вспоминал Сергея Игнатьевича и все более креп в убеждении, что человек он несомненно хороший и поступил правильно. Все бы так!..

Посетители сменяли друг друга, и все они как-то чересчур внимательно присматривались к Ивану Опанасовичу, будто видели его впервые или открыли в нем новое качество, которого прежде не знали и которое почему-то всех забавляло и даже вроде смешило. Случалось, говоря о каком-нибудь деле, посетитель ни к селу ни к городу вдруг ухмылялся. Правда, под строгим и недоумевающим взглядом Ивана Опанасовича ухмылка исчезала, но Иван Опанасович был уверен, что она появлялась снова, как только посетитель поворачивался спиной. Так продолжалось до тех пор, пока не пришел бригадир Зименко. Тот уже не ухмылялся, а просто ржал и с порога крикнул:

— Вот это да! Вот это молодец голова! Вот если бы все так по-большевистски самокритику принимали...

— Какую самокритику?

— Тю! Так ты что, и не видел? А я думал, ты принципиальность доказываешь. Там на тебя такую самокритику навели — будь здоров! Иди погляди...

Иван Опанасович вышел на улицу, подошел к щиту для объявлений. То, что показалось ему объявлением о кино, было на самом деле карикатурой. Крупными печатными буквами сверху было написано: «Наши гицели». Под этим были нарисованы два человека со зверскими рожами. Один с огромным топором, другой с ружьем. Оба человека заляпаны красной краской, будто кровью. На животе человека с топором было написано «Голова», на втором — «Митька Казенный». Вокруг валялись трупы собак, тоже заляпанные красной краской. А под всем этим безобразием стояли стишки:

Нашему голове нема чего робыты,

То вин почав собак быты

И рисунок и стишки были глупыми, совсем неумелыми и даже как бы детскими, но от этого ничуть не менее оскорбительными. Ивана Опанасовича как оглушило. Он стоял и смотрел на карикатуру, висящую на доске, а в голове у него мелькало только одно: «Я ж так и думал! Я ж так и знал!..» Случилось то, чего он боялся с самого начала, — подняли на смех. Теперь всё, теперь жизни не будет, затюкают, засмеют... Хоть из села беги!..

Иван Опанасович трясущимися руками отодрал приклеенную мякишем карикатуру, сложил и сунул в карман. Документ, улика... Ну, попадись теперь этот клятый пенсионер! Ишь подъехал, подходы развел, а сам такую пакость... А еще старый, седой человек... Ничего, я тебя найду, я не посмотрю, что старый, выведу на чистую воду, узнаешь, как клеветнические карикатурки малевать, честных людей позорить...

Иван Опанасович оглянулся, словно пенсионер должен был стоять где-нибудь поблизости и скалить от удовольствия зубы, любоваться его позором. Но поблизости никого не было, слепополуденный зной даже кур загнал в тень, только в отдалении бежал куда-то соседов мальчишка.

— Эй, Сашко! — крикнул Иван Опанасович.

Сашко подбежал.

— Ты не видел тут человека такого, не нашего... В синей тужурке такой...

— Не, не видел, — сказал Сашко и во все глаза уставился на председателя. — А шо такое, дядько Иван?

— Та ничего... Ты как увидишь его, так пулей ко мне.

— А чего ж? Я прибегу, как увижу...

Толя вместе со своим папой подъезжал к Чугунову. Дорогу он видел не один раз, можно сказать, знал наизусть, поэтому в окно не смотрел и почти все время молчал. Встреча с Сергеем Игнатьевичем произвела на него большое впечатление, но Толя никогда не довольствовался первым впечатлением, ему обязательно нужно было все обдумать, оценить и решить для себя, что было хорошо, а что плохо, что правильно или неправильно, и определить свое ко всему отношение. Антон не первый назвал его нудником, это случалось и прежде. И не потому, что Толя говорил всегда правильными, будто списанными из учебника грамматики фразами. Дело, скорее всего, было именно в Толиной привычке неторопливо и обстоятельно обо всем размышлять и говорить, докапываясь до таких сторон и обстоятельств, о которых товарищи его обычно не думали. У них не хватало терпения, или им становилось скучно, они на бегу, наспех что-нибудь говорили или решали и считали дело ясным и конченным. Толя дотошно докапывался до самых корней, не оставлял никакого вопроса невыясненным, а дела недоделанным.

Старенький «ПАЗ» дребезжал и поскрипывал, отец сосредоточенно сосал погасшую трубку и тоже о чем-то думал.

— Папа, — сказал Толя, — мне нужно с тобой серьезно поговорить.

— Сейчас? — Отец посмотрел на него и повел взглядом по набитому пассажирами автобусу.

— Это не мешает, — ответил на его взгляд Толя, — так как никакого секрета или тайны я обсуждать не собираюсь.

Отец кивнул.

— Вот мы строим новое общество, коммунизм. В нем всего должно быть много, все должно быть лучше и красивее. Правильно? Поэтому люди должны — все люди! — заботиться о том, чтобы все хорошее, полезное, красивое сохранилось.

— Не все красивое обязательно вместе с тем полезно. Пороги на Днепре были очень красивы, но не полезны, а вредны. Построили Днепрогэс — красоту величественную, но бесполезную и вредную заменили очень важной и нужной.

— Это я понимаю. Очень хорошо, что ты заговорил о реке, я тоже хотел о реках. Вот Чугуново стоит на Соколе. Ты же знаешь, этот наш заводик отравил реку, в ней не стало рыбы. Вода стала вонючая... Меня здешние ребята прозвали «Инфекцией». Будто я боюсь заразы и поэтому не купаюсь. Я ничего не боюсь, ты же знаешь, что я не трус. — Отец кивнул. — Мне просто противно купаться в Соколе. Это уже не река, а какая-то сточная канава.

— М-да... — сказал отец. — Наша газета об этом писала. Было принято постановление, чтобы на заводе поставили очистные сооружения.

— Их поставили?

— Пока нет. Видишь ли, Толя, нельзя подходить ко всему с меркой, так сказать, районного масштаба. Что она в масштабе страны? Есть задачи поважнее, затраты, так сказать, первоочередные...

— Я понимаю. Но ведь здесь живут люди! Люди, для которых строят коммунизм и которые тоже его строят. Почему они должны строить его, живя возле сточной канавы, и с этим мириться?

— Никто и не собирается мириться. Мы об этом писали...

— И что?

— Пока ничего нельзя сделать.

— Почему?

Толя поднял голову и увидел, что отец смотрит в окно, а правое ухо его, обращенное к Толе, наливаясь густой краской. Толя отвернулся.

— Видишь ли, — после паузы сказал отец. — Бывают обстоятельства, через которые нельзя перепрыгнуть... Мы написали, это было правильно. Но ассигнований не отпустили. Мы пытались снова поставить этот вопрос, но редактору сказали, что сейчас это неуместно: поскольку средств нет, незачем печатать, — это уже будет вредная демагогическая болтовня.

— Стало быть, надо мириться и молчать?

Автобус остановился. Пассажиры бросились к дверце, открытой шофером. Толя не услышал ответа и больше его не добивался. Дома ему делать было нечего; он сказал отцу, что придет вечером, и пошел к своему однокласснику и другу Вовке Савину.

Вовка был его противоположностью. До отказа заряженный энергией, он, как петарда, каждую минуту мог взорваться самой неожиданной выходкой, невзирая на ущерб, который наносил окружающим и самому себе. Он был бесстрашен, ловок и неистощим на выдумки. Толя не участвовал в его затеях, находя их несерьезными, детскими, но, когда к концу дня Вовкина энергия иссякала или он попросту уставал, они говорили долго и обстоятельно, по-Толиному, обо всем. Говорил, вернее, думал вслух, главным образом Толя, а Вовка служил при этом как бы катализатором. Распирающая его энергия не позволяла ему ограничиваться только рассуждениями, он постоянно искал и предлагал способы, как рассуждения претворить в действие. Толя мирился с излишне практичными порывами и устремлениями друга. Ему нужен был слушатель; угомонившийся Вовка был слушателем идеальным, и они отлично ладили.

Мысли Антона вернулись к тому, о чем говорил Сергей Игнатьевич. В конце концов он прав: они действительно наследники. Ну, сейчас они еще мальчишки, но пройдет каких-нибудь семь — десять лет, и они станут совсем, окончательно взрослыми. А те, что сейчас взрослые, или помрут, или по-переходят на пенсию и ничего уже не смогут делать. А все будут делать нынешние ребята. И за все отвечать. И за этот лес, и за реку, и за все поля, и заводы, и шахты, за все, что делается, и за все, что должно делаться, а не делается, потому что кто-то не умеет или не хочет... И тогда уже ни за кого нельзя будет спрятаться, не на кого надеяться, чего-то или кого-то ждать...

Эти семь — десять, может, даже пятнадцать лет промчались, как стриж, который крохотной живой молнией мелькнул перед глазами, и Антон увидел себя большим, взрослым. Он уже кончил учиться и работает. Кем — не важно, выяснится потом... Уже не ему, а он сам дает советы (только никого не заставляет говорить по-своему!), действует самостоятельно, работает так, чтобы всего было больше и всё было лучше. А если нужно, переделывает то, что было плохо сделано до него, до них...

И законный наследник, владетельный хозяин пошел по своей земле, видя ее вроде бы и точно такой же, как за минуту перед тем, и вместе с тем как бы совсем другой. Вот так же будут с визгом носиться за невидимой мошкаркой стрижи, а шмели, грозно гудя, пикировать на цветы, так же будет дрожащими струями переливаться зной между небом и землей, только небо сделается еще чище и голубее... Ведь тогда уже не будет в воздухе дыма и пыли ни от заводов, ни от земли, потому что земля станет совсем другая. Не будет никаких пустынь, а там, где они были, появятся озера, сады, леса. Дыма не станет совсем. Дым появляется, когда что-нибудь сжигают, а тогда уже жечь ничего не нужно. Атомные электростанции и солнце дадут столько энергии — завались. И наверняка они найдут, изобретут какую-нибудь новую энергию, которая посильней атомной... До чего же будет интересно и хорошо жить! И умирать никто не захочет... А люди вообще перестанут умирать. Потому что войны будут запрещены. И никакого оружия не будет. Даже ребятам запретят играть в войну, чтобы не приучались. И болезней никаких тоже не станет. Просто ученые найдут такое средство, чтобы всех вредных микробов уничтожить, и все. И не будет никакой заразы на всей земле. Никого и ничего не нужно бояться...

Бой подошел и ткнулся носом в Антонову руку.

— Ты что?

Бой вильнул хвостом.

— Есть хочешь? — Бой завилчал сильнее. — На, ешь. Что мы с тобой потом есть будем?

Антон отдал Бою творог, тот слизнул его и уставился, ожидая, не дадут ли еще такого вкусного. Вкусного больше не дали, и он принялся за хлеб.



Все встало на свое место. Придуманное им будущее отодвинулось в десяти- или пятнадцатилетнюю недостижимость, Антон снова стал тем, кем был, — мальчиком, который должен бояться, что какой-то Митька Казенный застрелит Боя, и прятаться. А что может сделать он, Антон?

А может, еще где-нибудь есть и такие Антоны (что он, какой-нибудь особенный? Самый обыкновенный!), и такие Хомки, которые собой заслоняют своих Жучек и Белок?.. Ребят же много. Почему в самом деле они должны только терпеть, бояться и прятаться? Может, прав Сергей Игнатьевич, что, когда все возьмутся, ничего с ними не сделают и не запугают...

Чем больше Антон думал, тем сильнее крепло в нем убеждение, что надо не ждать и надеяться, а делать. Он только никак не мог придумать, что именно должны они, ребята, делать, чтобы с этим бороться. «Ничего, вместе придумаем», — решил он.

Он свистнул Бою и пошел по тропинке к гречишному полю. Он шел и смотрел на кусты, деревья, скалы, застоявшуюся между ними глубокую черную воду, сверкающие на быстрине струи. Все это было его, их. Не в будущем, а сейчас. И не в будущем, а сегодня, сейчас нужно все это беречь и хранить от пустоглазых маклаков, хапуг, пакостников и хулиганов, которые не думают ни о чем, кроме себя. И главное — не бояться!

13

В тени старой дуплистой вербы стояла светло-серая «Волга». Рядом на подстилках расположились хозяева: мужчина в плавках и молодая женщина. Вокруг разложенной на газетах еды ковыляла совсем маленькая девочка. Держа палец во рту, она разглядывала лежащее перед ней и ковыляла дальше. Она была только в трусиках, но зато с огромным белым бантом. Подвязанный к пучку волос на макушке, он на каждом шагу вздрагивал и колыхался, как опахало. Мужчина и женщина наблюдали за девочкой и смеялись.

Антон приостановился, потом решительно направился к сидящим. Он шел не слишком быстро, но и не медля, а так, как ходят занятые делом люди. Он придумал. Бой, прихрамывая, вышагивал рядом.

Женщина увидела их, глаза ее округлились, она схватила девочку, бросилась в машину и захлопнула дверцу.

— Что такое? — недоуменно оглянулся мужчина, увидел подходивших и поднялся.

— Здравствуйте, — вежливо сказал Антон. Он решил, что все нужно делать вежливо.

— Здоров, — ответил мужчина. — Ты что своим страшилищем людей пугаешь?

— Его не нужно бояться. Он зря не тронет.

Антон достал из кармана куртки огрызок карандаша, завалывшийся там еще с зимы блокнот, старательно записал серию и номер машины.

— Это зачем? — спросил мужчина и насмешливо улыбнулся. — Может, и права предъявить?

— Права не нужно. Понадобится, вас и так разыщут. Я вас предупреждаю: после себя бумаг, хлама не оставлять, бутылки не бить. Костры жечь нельзя, рубить и ломать деревья тоже.

— Да? — все так же насмешливо сказал мужчина. — А как быть, дорогой юноша, если ничего

этого мы не собирались делать?

— Не знаю, — сказал Антон, — другие делают. Вон сколько накидано.

— Хм, верно. Мы сами с трудом чистое место нашли. Значит, ты всех нарушителей берешь на цугундер?

— Я не один, нас много.

— А потом?

— Сообщаем в лесничество. Оно само штрафует, а если удерут, находит через автоинспекцию. Не спрячутся!

— Ну? — уже серьезно сказал мужчина. — Это молодцы! Это правильно... А то вот мы ездим много, в разных местах бывали, действительно черт знает что делают! Правильно у вас придумали. Надо бы так и в других местах. Пора со свинством кончать...

Девочке стало скучно сидеть в машине, ее тянуло к необыкновенно большой и черной собаке. Высунув голову над полуопущенным стеклом, она сказала:

— Гав! Гав!.. Папа, я хочу к тебе!

— Правильно, Машка, — засмеялся отец. — Напугай эту страшную собаку... Не тронет? — тихонько спросил он Антона.

— Маленьких? Ни за что!

Мужчина направился к машине.

— Игорь, ты сошел с ума! — сказала мать девочки.

— Ничего, пускай привыкает, а то вырастет такой же трусихой, как ты. Пошли, Машка! Только, чур, не дрейфить и не реветь.

Голопузая Машка и не думала ни дрейфить, ни тем более реветь. Как только отец поставил ее на землю, она заковыляла прямо к Бою и ухватилась за его гриву. Бой вильнул хвостом, повернул к девочке свою широко раскрытую, хакающую пасть.

— Игорь! — взвизгнула мать и в отчаянии зажмурилась.

Отец шагнул было к дочери, но, видя, что собака не проявляет враждебных намерений, засмеялся.

— Смотри, Машка, придется тебе заняться перевоспитанием матери... В самом деле, Валя, хватит прятаться, вылезай. Поедим — и пора ехать. Может, и ты с нами? — сказал он Антону. — Присоединяйся давай...

— Спасибо, я не хочу есть, — сказал Антон. Есть он хотел, и на газетах были разложены очень вкусные вещи, но он стеснялся и вообще считал, что в такой ситуации неудобно. — Вот если только у вас, может, кости какие остались? Для собаки...

— Кости? По-моему, в жареном мясе обязаны быть кости... Ну-ка, Машка, держи, угощай нового приятеля.

Мужчина вырезал из куска мяса изрядную кость, протянул дочери. Та заковыляла с ней к Бою. Бой заранее лег, следя за приближающимся угощением, облизнулся. Машка стала на четвереньки и сбоку заглядывала ему в рот.

— Папа, па! — закричала она. — У него жубы! Во! — И, как толбко могла, широко раздвинула руки.

— Ну, это ты врешь, не приучайся врать даже в восторге. И вообще, хватит восторгов, иди ешь...

Антон тихонько свистнул Бою и пошел дальше, к маленькому пляжу у излучины. Они поплавали, полежали, подсыхая, на песке, а когда пошли обратно, хозяева «Волги» собирались уезжать.

— Ну, сторож, принимай хозяйство, — сказал мужчина.

— Я не сторож, а доброволец.

— Тем лучше, заслуга больше.

Вокруг машины все было прибрано.

— Ну как, порядок?

— Порядок! — улыбнулся Антон. — Все бы так...

— Можно всех приучить. И нужно! Ну, будь здоров, желаю успеха.

— До свиданья, собака! — закричала Машка, высовываясь в окно. Она размахивала обеими руками, кивала головой, и огромный бант на ее макушке колыхался, как опахало.

«Волга» укатила. Антон еще раз оглянулся. Вокруг не было ни консервной банки, ни клочка бумаги. Все получилось очень легко и просто. Достаточно сказать, и люди поймут. Что же, все назло или нарочно делают? Просто не думают об этом, а если напоминать, перестанут безобразничать. Он так был доволен первым успехом и так горд своей выдумкой, что ему не терпелось поскорее кому-нибудь рассказать. Может, потом и в самом деле введут такое. Он твердо решил, как только приедет дядя Федя, рассказать ему свою идею; он подскажет лесничеству, а лесничество — учреждение государственное, и оно добьется. Но пока ему не терпелось рассказать хоть кому-нибудь, и он обрадовался появлению Юки больше, чем еде, которую она принесла.

— Вот, — сказала Юка, раскладывая свертки. — Это особо-минская. Вполне приличная колбаса. И сало. И молоко. Видишь, литровая бутылка...

— Подожди, — уписывая за обе щеки, сказал Антон. — Я придумал. И проделал первый опыт. Здорово получилось, прямо мирово!

Юка пришла в восторг. Это было как раз то, чего они не могли придумать, а теперь, раз придумали, все пойдет превосходно. Надо действительно всем говорить и требовать, чтобы вели себя культурно, а не по-свински...

— Постой, — спохватился Антон. — Откуда ты все это взяла?

Юка заулыбалась.

— Во-первых, у меня прорезался аппетит. Мама всегда жалуется, что я плохо ем. Мне и в

самом деле никогда особенно есть не хочется. А теперь я сказала, что, когда прихожу домой, у меня нет аппетита, а вот когда гуляю в лесу или купаюсь, мне ужасно как есть хочется. И мама мне вот и молока дала, и коржиков, и даже, видишь, вареники с вишнями.

— А колбаса, подушечки. Это же из магазина?

— Ну... — замялась Юка, — во-первых, у меня были свои деньги. Немножко, правда... А потом Сергей Игнатьевич, когда я его проводила за село, достал трешку и говорит: «На, возьми, Юка». Я говорю: «Зачем это я буду брать у вас деньги, с какой стати?» А он говорит: «Пригодятся. Я же тебе не на конфеты, не на мороженое, а для дела. Раз Антон оказался в таком положении, надо парню помочь, пока приедет его дядя Федя?» Я подумала-подумала и решила, что правильно, взяла и сказала спасибо и что мы с Антоном этого никогда не забудем. А он улыбнулся и сказал, что нас он тоже не забудет, что мы подходящие ребята... Правда, какой он хороший человек, а? Просто удивительный! Ой! Я же самое главное забыла! Мы когда пришли в Ганеши, Сергей Игнатьевич пошел в сельсовет и так говорил с председателем, так говорил, что тот прямо не знал, куда деваться...

— А ты откуда знаешь? Подслушивала?

— Ну, не совсем... — слегка смутилась Юка. — Знаешь, в сельсовете всегда открыты окна, жарко потому что. Так мне уши затыкать, что ли? Вот я и слышала... И председатель сказал, что правильно, таким типам оружие доверять нельзя и, как только Митька приедет, он отберет ружье, и все! И, по-моему, теперь уже нечего бояться, ты хоть сейчас можешь идти домой.

— Ну да! Я лучше подожду, пока отберет. А то он, может, сегодня приедет и прямо в лесничество, к деду, придет...

— Что ж, — подумав, согласилась Юка, — пожалуй, ты прав. Лучше побыть здесь, ничего с тобой не случится за несколько часов...

— Тихо! — сказал Антон и прислушался. Лесное эхо донесло отдаленный рокот автомобильного мотора. — Еще кто-то едет... Надо сходить посмотреть, — хозяйским тоном добавил он.

— Подожди, я же не все рассказала! На председателя и Митьку кто-то карикатуру нарисовал, как они собак убивают. Я сама не видела. Сашко рассказывал. Председатель прямо чуть не лопнул от злости... А еще Сашко говорил, что отец Семена-Версту так бил, так бил... Вожжами! — Юка в ужасе распахнула глаза.

— За что?

— Он что-то такое украл. У людей из машины. Когда они купались.

— Так ему и надо!

— Как тебе не стыдно, Антон?! Разве можно, чтобы били!

— А что, разъяснительную работу среди него вести? Он послушает-послушает, а потом опять украдет. Один украдет, а на всех думать будут... Я б ему еще сам добавил. И ребят бы подговорил объявить ему бойкот, и все! Нечего с вором водиться.

— Жалко его. Может, он так... по глупости?

— Да брось ты эти штучки-мучки, нюни распускать? Что он, маленький? Вон дубина какая — пятнадцать лет...

Благородное негодование не повлияло на аппетит Антона, он основательно «заправился», накормил Боя, спрятал под камни остаток припасов.

— Я пошел. Посмотрю, кто там приехал, и в случае чего — шугану.

— И я с тобой! — вскочила Юка. — Я тоже хочу.

Антон заколебался. С одной стороны, ему очень хотелось, чтобы другие ребята, а особенно Юка, видели, как здорово у него получается: как он призывает этих автосвиней к порядку и как они становятся шелковыми. Но, с другой стороны, появление с Юкой могло испортить все. Одно дело, когда подходит он один и разговаривает с этими людьми всерьез, по-мужски, и совсем другое, если он подойдет с девчонкой... Нет, это не солидно.

— Давай так, — сказал Антон. — Мы пойдем вместе, но ты подходить не будешь. Спрячешься и будешь наблюдать. И ни в коем случае не показывайся!

Юка недоуменно и обиженно накопылила губы.

— Подожди, не надуйся. Когда я один, то получается вроде как я на службе и обхожу свой участок. Понимаешь?.. И потом я с тобой Боя оставлю, а то пугаются его...

— Ну хорошо, — нехотя согласилась Юка.

Они подошли к опушке. Шагах в двадцати от нее под нежарким уже солнцем стоял обтянутый брезентом, выдавший виды «ГАЗ-69», называемый в просторечии «козлом». Кто знает, откуда взялась эта кличка? Может, появилась она благодаря тому, что кургузая машина эта отзывается на рытвины и ухабы всем корпусом, то есть попросту подпрыгивает на них, и тогда действительно напоминает козла? А может, в кличке этой нет насмешливого пренебрежения и прозвана она козлом за то, что поистине с козлиной настырностью в любую пору года идет и проходит по всем и всяким дорогам, даже по таким, которые полгода в году заведомо непроходимы, непроезжи и называются грунтовыми, в отличие от дорог, на самом деле существующих.

От скатерти, расстеленной на земле, к «козлу» и от «козла» к скатерти ходила женщина, одетая в платье из материи, которая называлась «петушиные перья». Когда женщина двигалась, казалось, население целого птичника бросается в атаку. Изрядная грузность не мешала хозяйке «петушиных перьев» двигаться споро и бойко. Она убирала со скатерти свертки, сверточки, отбрасывала в сторону пустые консервные банки, скомканную бумагу с объедками. По другую сторону скатерти лежал живот. Большой, круглый и желтовато-бледный. Живот пошевелился, и оказалось, что пониже живота надеты трусы и что у живота есть руки, ноги и голова.

В стороне на откосе берега сидел еще один мужчина, но одетый и с животом совершенно нормальным. Он, несомненно, имел касательство к людям, находящимся возле скатерти, но то, что лежало на скатерти, к нему явно отношения иметь не могло. Опираясь локтями о раздвинутые колени, он сосредоточенно выделывал перочинным ножом узоры на коре только что срезанной ореховой палки.

— Бой, лежать! — Бой послушно улегся. — Смотри, Юка, не показывайся, мало ли что... — сказал Антон и вышел из-за кустов.

Степан Степанович рассердился. Возвращаясь из областного центра, он решил заехать по пути в лесничество. До конца рабочего дня в Чугуново все равно не поспеть, а здесь можно было совместить полезное с приятным: на месте проверить, выполнено ли указание о выделении участка, а потом часок-другой провести в лесу возле речки, полежать на солнышке. Такое удовольствие Степан Степанович мог позволить себе не часто. У себя в городе для этого никогда не хватало времени, да и выглядело бы несолидно. Что бы о нем сказали, если б он вдруг появился в трусах на городском пляжике среди мальчишек и девчонок, играющих в волейбол? А здесь, в лесу, как говорится, сам бог велел — никто не увидит и ничего не скажет...

Благодушное до того настроение испортили в лесничестве. Лесничий, оказалось, уехал в город, участок до сих пор не выделен, так как лесничий не согласен с данным ему указанием и поехал его опротестовывать. Во-первых, кто спрашивает его согласия? А во-вторых, если он и не согласен — что никого не интересует, — обязан выполнить команду, а потом пускай протестует сколько влезет, пока ему не вправят мозги. Что получится, если каждый начнет рассуждать: того не хочу, этого не желаю — и совать свое мнение, где его не спрашивают? Работать надо, а не рассуждать. Распустили людей, панькаются с ними, а важнейшее мероприятие срывают...

Окажись лесничий на месте, ему попало бы по первое число, но лесничего не было, поэтому досталось ни сном ни духом не виноватому шоферу Лёне и Марье Ивановне (в семье Степана Степановича говорили друг другу «ты», но называли по имени-отчеству). Так бывало всегда. Степан Степанович жил своей работой, можно сказать, горел на работе. Каждую недоделку или срыв он так близко принимал к сердцу, что выходил из себя, и тогда, случалось, влетало не только виноватому, но и правому, если подвертывался под горячую руку. В Лесхоззаге все знали, что Степан Степанович горяч, но все так же знали, что это оттого, что в работе он не терпит никакого разгильдяйства, очень расстраивается и переживает каждый такой случай. Расстроенному Степану Степановичу уже все было не то и не так: и солнце чересчур жаркое, а вода чересчур прохладная, Марья Ивановна слишком расплывшаяся, а луговая трава кололась, как стерня, даже через вигоневое одеяло, комаров чертова пропасть, а шофер Леня уселся в стороне и демонстративно вырезывает палку, обиду свою показывает...

Поэтому, когда из-за кустов появился какой-то мальчишка, Степан Степанович встретил его не слишком ласково.

— Тебе чего тут?

— Сейчас скажу, — ответил Антон, деловито достал блокнот и записал номер машины. — Подберите после себя мусор. Здесь люди бывают.

— Это какие еще люди? Ты, что ли?

— И я, и другие тоже.

— Вот и подберете сами.

— Мы вас всерьез предупреждаем. А то нехорошо вам будет.

— Что? — Степан Степанович приподнялся. — А ну пошел отсюда!

— Вы на меня не кричите, — сказал Антон. — Мы охраняем лес. И я предупреждаю: после себя никакого хлама не оставлять. А то мы сделаем так, что вы сюда больше не приедете.

Степан Степанович встал:

— Ты это кому говоришь? Да я тебе сейчас...

У Антона пересохло во рту, он отступил, но только на один шаг. Он вовсе не хотел скандала и, конечно, не хотел, чтобы его побили, но понимал, что отступать нельзя, иначе все пойдет насмарку. А кроме того, за кустом стоит Юка, она все видит и слышит, увидит и услышит, как он сдрейфил, отступил.

— Вы мне не грозите, я вас не боюсь. А полезете драться — пожалеете...

— Вот я тебе покажу...

Степан Степанович сжал кулаки и шагнул вперед. Антон коротко, резко свистнул. Напролом через куст к нему бросился Бой. Он взглянул на Антона и уставился на голого незнакомого человека, шерсть на его загривке начала подниматься.

— Лучше не подходите! — побелевшими губами сказал Антон,

Он совершал непоправимое, ужасался этому и не мог сделать иначе. Он хорошо помнил запрет дяди Феди — ни в коем случае не давать команду «фасе!», но знал, что, если брюхтей полезет драться, он эту команду даст, а что произойдет тогда — об этом даже страшно было подумать...

— Ты... ты...

Больше Степан Степанович не мог произнести ни слова, Но и этого было достаточно: верхняя губа Боя поднялась, обнажая верхковые клыки, Степан Степанович задышался от ярости, кулаки его тряслись, но он не двигался. Он вдруг понял, что ничего не может сделать. Будь он у себя в кабинете, за столом, где кнопка звонка к секретарше, телефон, он бы закричал, позвонил куда следует, и все немедленно было бы сделано... Но не было ни кабинета, ни секретарши, ни телефона. У него не было никаких атрибутов власти, никаких средств ее проявить и никаких возможностей показать, что он этой властью обладает. Он был один. И он был голый. На нем не было ничего, кроме трусов, и Степан Степанович впервые понял, какой у него большой, мягкий и совершенно беззащитный живот. А напротив стоял какой-то сопливый мальчишка, он не знал, кто такой Степан Степанович, поэтому несколько не боялся его, и Степан Степанович не мог мальчишку вздуть, потому что рядом с ним гнусный черный зверь скалил верхковые клыки. Зверю наплевать на должность Степана Степановича, его авторитет, он в любую секунду может броситься и впиться своими клыками в горло, ляжки Степана Степановича, его жирную грудь или в живот. Степан Степанович с ужасом понял, что это не только нестерпимо само по себе, он не только беспомощен и беззащитен, он смешон и — что самое скверное — за спиной стоят свидетели его неслыханного и смешного унижения — Марья Ивановна и шофер. Жена будет молчать, но шофер... У шоферни языки как на подбор. Кого хочешь просмеют. Этот — тихоня, но все они хороши. Уж он прославит, раззвонит...

Сколько он стоял так: час, три, бесконечные солнечные сутки? Или всего три секунды? Время исчезло, остались только злобно оскаленные клыки, и Степан Степанович не мог отвести от них взгляда, даже обернуться, позвать на помощь.

По ушам хлестнул пронзительный визг, хлопнула дверца машины. Уже из этого надежного укрытия Марья Ивановна закричала шоферу:

— Леня! Что ж ты стоишь и смотришь?!

Шофер положил нож в карман, перехватил палку поудобнее и направился выручать своего начальника, но не слишком поспешно — размеры и собаки и клыков он оценил издали. Таких он никогда не видел, но знал — даже одна овчарка, играючи, справится и с тремя мужиками,

если у них нет огнестрельного оружия. А у него была только легкая палка, вроде тросточки...

— Кыш! — сказал он. — Пшла, ну!

— Бросьте палку! — крикнул Антон.

Он опоздал. Бой взметнулся в прыжке, схватил палку возле самой руки шофера и, едва не опрокинув его, вырвал.

— Бой, ко мне! — отчаянно закричал Антон, ужасаясь того, что разразится дальше.

Бой вернулся к нему, бросил палку и снова оскалил клыки на чужих. Побледневший шофер улыбнулся кривой, пристыженной улыбкой.

— Ну ее к богу в рай! — сказал он. — Такая зверюга из кого хочешь душу вырвет. Что я, нанимался с собаками воевать? Мое дело машину водить...

Степан Степанович разъяренно посмотрел на него, сделал три попятных шажка, потом повернулся и, поглядывая через плечо, поспешил к своей одежде.

— Слышь, парень, уведи свою собаку, — сказал шофер. — Что ты, в самом деле, на людей такого черта натравливаешь?

— Я не натравливаю, — сказал Антон. — Не трогайте меня, он вас не тронет.

— Да кто тебя трогает?

— А чего этот брюхтей драться полез...

— Чш-ш... — сказал шофер, понижая голос. — Да ты знаешь, кто это такой?

— А мне наплевать, кто он там такой, — громко и уверенно сказал Антон. Победа была полной, теперь он не боялся никого и ничего. — Мне нужно, чтобы хлама после себя не оставляли...

Шофер оглянулся на пиршественную скатерть:

— Ну соберем, большое дело, подумаешь...

— Вот я и подожду, посмотрю, как вы соберете.

Степан Степанович кончил одеваться и сел на свое место рядом с водительским. Марья Ивановна «ни за что на свете» не хотела выйти из машины. Леня свернул в узел все оставшееся на скатерти, подал ей. Потом он сгреб бумаги и пустые консервные банки, запихал себе под сиденье, сел и завел мотор. Сунув кулаки в карманы, Антон вприщурку наблюдал.

«Козел» тронулся, но, поравнявшись с Антоном, по знаку Степана Степановича остановился. Степан Степанович был одет, и, хотя находился не в кабинете, а всего-навсего на переднем сиденье «козла», он уже не боялся. Вместе с этим сиденьем и штанами к нему вернулась уверенность в себе и непреклонная вера в то, что, как скажет он, Степан Степанович, так и будет.

— Ты чей? Откуда? — слегка приоткрыв дверцу, резко и властно спросил он. — Из села? Лесничества?

— А разве вам не все равно, чей я и откуда? — сказал Антон.



— Ничего, тебя найдут, не спрячешься.

Дверца захлопнулась, «козел» заковылял по кочкам к лесной дороге.

Юка ужасалась и восхищалась, Антон скромно сиял. До сих пор все его победы не выходили из круга сверстников и сводились к тому, что побежденный в принципиальном споре получал на одну-две зуботычины или затрецины больше. Здесь не сверстники — два здоровенных мужика. И, хотя до зуботычин и затрецин не дошло, они позорно сбежали. Испугались они, конечно, не Антона, а Боя, но это уже не так важно. Сам-то Антон не побоялся и не отступил, стало быть, он и победил... Подогреваемое восторгами Юки ликование распирало Антона, но он помнил назидания тети Симы о скромности, которая украшает человека, и напускал на себя небрежность и равнодушие. Эта поза плохо удавалась Антону, особенно когда Юка начала изображать в лицах бесславных героев недавнего столкновения. Тоненькая Юка так похоже изображала и толстяка и его жену, что оба смеялись до изнеможения и колотья за ушами. Бой тоже принял участие в веселой игре: разинув клыкастую пасть, тяжелым галопом носился вокруг них, рычал и всячески притворялся кровожадным зверем. Насмеявшись, они выкупались, почувствовали голод и, чтобы приготовить шашлык «по-царски», по способу Сергея Игнатьевича, пошли к скале, где были спрятаны Антоновы припасы. Разжигать костер не умели ни Антон, ни Юка, он разгорался плохо, дымил, оба по очереди раздували его, наперебой кашляли и чихали, но это нисколько не огорчало, а только смешило еще больше.

Все было хорошо и весело. День склонялся к вечеру, а вместе с ним должны кончиться все несчастья и напасти. Ружье у Митьки отберут, без ружья он и за версту побоится подойти, и тогда нечего будет бояться, незачем прятаться. Тогда можно по-настоящему организовать ребят, чтобы наблюдали за всякими дачниками и туристами и не допускали свинства.

Костер наконец разгорелся. Антон и Юка начали нанизывать кусочки сала на палочки и так увлеклись, что не заметили, как к ним подбежал мокрый Сашко с кепкой, полной воды. Не говоря ни слова, он перевернул ее над огнем, костер выстрелил клубом дыма и, пригасая, зашипел.

— Ты что, сдурел? — вскочил Антон.

— Заливай скорей! — проговорил запыхавшийся Сашко. — Надымили на весь лес... Сюда Митька идет!

— Как?!

— Потом!.. Бежать надо, ховаться... Скорей заливайте!

Через полминуты от костра осталась кучка мокрых черных головешек. Антон запихал в рюкзак оставшиеся продукты, Юка подобрала одеяло.

— Может, тебе показалось? — спросила она.

— Чего показалось? Я сам все слышал... Бежим, дорогой расскажу...

— Да куда же бежать?

— На Ганыкину греблю, больше некуда. Там сховаешься...

Они перебрались через реку и по прибрежной тропке побежали вдоль гранитного обрыва влево, вверх по течению Сокола.

Всю вторую половину дня Сашко околачивался неподалеку от сельсовета. Им руководил строгий расчет. Правление колхоза находилось рядом, отец обязательно должен подъехать к правлению, а с ним и Митька Казенный, если он вернется. Он, наверное, зайдет к

председателю, и тогда сразу будет видно: отберет Иван Опанасович ружье или он сбрежал Сергею Игнатьевичу, ружье оставит у Митьки и, стало быть, Митьки нужно по-прежнему опасаться. Некоторое время он терзался сомнениями — все-таки подглядывать и подслушивать вроде нехорошо. Ну, а если для пользы дела? Особенно, если надо помочь товарищу? Разведчики, они же подглядывают и подслушивают, и никто не говорит, что это стыдно. Наоборот! А чем он не разведчик?.. Придумав такое оправдание, Сашко забыл о своих терзаниях и уже без всякого зазрения совести подслушивал и подглядывал. Услышал он не все, но и услышанного было достаточно, чтобы испугаться.

Степан Степанович всю дорогу до Ганешей молчал и старался вспомнить, как называлась та книжка... Книжки читать было некогда, да он и не очень любил: сплошные выдумки, из головы все сочиняют, а не настоящую жизнь описывают, но эту случайно прочел. Застав сына вместо уроков за этой захватанной и разбухшей, как стоптанный валенок, книжкой, Степан Степанович дал сыну легкий, но вполне назидательный подзатыльник, а книжку унес к себе. Он вспомнил о ней только перед сном и решил поинтересоваться, что читает подрастающая смена. Пробежав две странички, он погасил верхний свет, оставив настольную лампу, и принялся читать внимательно. Марья Ивановна, непривычная к тому, чтобы он тратил ночные часы на чтение, сердито ворочалась. Степан Степанович слышал это, но не оторвался, пока не дочитал до конца. Закончив, он минут пять посидел, раздумывая и наливаясь негодованием. Книжка несомненно вредная. Непонятно только, почему ее до сих пор не изъяли. К удивлению Степана Степановича и еще большему возмущению, книга оказалась вовсе не дореволюционного издания, а совсем недавнего, прошлогоднего, а затрепанность ее свидетельствовала лишь о том, как много и жадно ее читали. Черт знает что! О чем они там думали, когда издавали? Переводили еще с английского... Ну, за границей, понятно, такие вещи в ходу — воспитывают всяких гангстеров. А у нас зачем? Мозги засорять?

Зачем читать про то, что какой-то проходимец откормил громадную страшную собаку, натравливает ее на своих родственников, те один за другим погибают, а проходимец подбирается к наследству, чтобы его единолично захватить?.. Какая тут идея? Какая может быть от этого польза? Ничего, кроме вреда! А если, понимаешь, у нас начитается кто-нибудь таких книжек и сам начнет?..

Книжка начисто вылетела из головы, вытесненная серьезными делами и заботами, но всплыла в памяти теперь, после столкновения на берегу Сокола. Выходит, он правильно подумал тогда, что книжка вредная. Вот — факт налицо. Даже у них в районе появились любители разводиться такое зверье и натравливать на людей... С этим надо в корне кончать! Вот только как называлась та собака?.. Лишь поднимаясь на крыльцо сельсовета, он вспомнил. Хмуро кивнув вышедшему навстречу Ивану Опанасовичу, он прошел впереди него в кабинет, швырнул разложенные на столе бумаги.

— В кабинете отсиживаешься? В бумажках зарылся?.. Что у тебя с собаками делается?

Иван Опанасович остолбенело посмотрел на него. Сдурели они с этими собаками сегодня, что ли? То один, то другой... Или, может, ему уже сообщили и про малого Хомку и про Митьку?..

— Так, а что ж с собаками? — неуверенно протянул он вслух и на всякий случай соврал: — Вроде ничего не делается...

— Вот именно — ничего! А ты здесь для того, чтобы делать, а не ушами хлопать!.. У кого здесь собака есть черная, здоровая, как теленок?

— У нас больше рыжие. И маленькие. То, может, в лесничестве завели?

— «Может, может»!.. — раздраженно повторил Степан Степанович. — Знать должен, а не гадать!

— Так что ж меня тут поставили собак считать, что ли?

— Ты не выкручивайся! Лесничество — твоя территория или нет? Значит, ты отвечаешь за все, что на ней происходит. А у тебя, понимаешь, бегают по лесу баскервильские собаки, несовершеннолетние хулиганы нападают на людей. Тут же люди живут! Дачники, понимаешь, отдыхают, дети... А если эта собака кого покусает, загрызет? Думаешь, тебе даром пройдет?

— Да что ж я могу... — нерешительно начал Иван Опанасович. — Какие у меня для этого дела возможности?

— Изыщи, привлеки людей. Охотников.

— Откуда в селе охотники?

Иван Опанасович на всякий случай умолчал о Митьке Казенном, твердо порешив больше с ним не связываться и дела не иметь, чтобы не влипнуть в скверную историю. И, как на беду, именно в этот момент ввалился Митька, нахально ухмыляясь и держа перед собой отремонтированное ружье.

— Куда? Куда лезешь без спроса? — крикнул ему Иван Опанасович. — Видишь, я занят, потом придешь...

— Подождите, товарищ, — остановил попятившегося Митьку Степан Степанович. Будучи человеком решительным и последовательным, он считал, что нужно ковать железо, пока горячо, и каждое дело доводить до конца. — А ты говоришь, в селе охотников нет! — повернулся он к Ивану Опанасовичу. — Инициативы у тебя нет, председатель, вот что! Вы охотник? Да что вы там стоите? Подходи ближе.

— Да так. — Митька нерешительно повел плечом. — Трошки. Баловался когда-то... — Подойти ближе он не решался: в городе он здорово «ударил по банке» и знал, что от него за версту несет перегаром.

— Стрелять умеешь? Не промахнешься?

— Ну уж, это уж... — Митька так хвастливо ухмыльнулся, что все сомнения в его умение стрелять отпали.

— Так вот. По лесу здесь шатается какой-то малолетний хулиган. Видно, приезжий, одет по-городскому. Какой-нибудь, понимаешь, будущий стилиста... Ходит с собакой, натравливает ее на людей. Большая такая, черная...

— Я эту тварюгу знаю, — сказал Митька, зло ощерясь, — она на меня кидалась, чуть глотку не перекусила...

— Вот видишь! — торжествуя и негодуя, сказал Степан Степанович председателю. — А ты, понимаешь, мягкотелость тут разводишь. С такими вещами надо в корне кончать! Найди эту собаку и стреляй без всяких!

— Так той собаки нет, вроде в Чугуново увезли.

— Я не знаю: та — не та... Полчаса назад я с этой собакой столкнулся...

— Значит, сбрыхал старый хрыч! — сказал Митька. — Ладно, товарищ начальник, будет полный порядок. Не сомневайтесь. Если я сказал — точка. Я теперь эту собаку под землей

найду. И пацана тоже...

— Вот так. Действуй. Желаю успеха, — сказал Степан Степанович и, не прощаясь, пошел к выходу.

Иван Опанасович, а вслед за ним Митька вышли на крыльцо. Степан Степанович сделал ручкой прощально-приветственный жест, захлопнул дверцу, «козла», отплеываясь синеватым дымком, укатил.

— Ну, теперь я ему... — угрожающе сказал Митька и сжал волосатый кулак. — Счас патроны возьму и прямым ходом туда...

— Ты лучше проспись сначала, — сказал Иван Опанасович. — А то спяну бабахнешь опять не туда, будет, как с тем Хомкой...

— Ничего, на газу я еще лучше попаду... — сказал Митька и, грохоча сапогами, сбежал с крыльца.

Иван Опанасович смотрел ему вслед и озабоченно думал, чем все это кончится. Объяснить Степану Степановичу, кто такой Митька, он не успел да и не решился — тогда пришлось бы объяснять, почему его, Ивана Опанасовича, ружье оказалось в руках у Митьки, а это не сулило ничего хорошего. Отобрать сейчас у Митьки ружье тоже было невозможно — могло обернуться еще хуже. Но уж совсем плохо будет, если спяну Митька наломает дров. Тогда не расхлебашь. Ему хорошо говорить — «под мою ответственность». Сказал да укатил. И отвечать в случае чего будет не он...

15

Сашко ошибся только в одном: Митька пошел искать Антона и Боя не по берегу, а в лесничество, к деду Харлампию. Перед уходом он к городской «банке» добавил из домашних запасов, шагал с преувеличенной твердостью, но говорить стал невнятно, будто набил рот ватой.

Дед Харлампий, как всегда, встретил его насмешливо:

— А, помещик пришел. Завел псарню-то уже ай нет?

— Ты, дед, зубы не скаль. Серьезный разговор будет. Ответственный.

— От тебя сурьезом за версту несет. Отойди чуток, а то и меня на закуску тянет.

— Не твое дело. Не на твои пил, на свои.

— Ну, своих-то у тебя, окромя ворованных, сроду не было.

— Ты меня поймал?

— Не я — другие поймают. Глаза у тебя завидущие, а лапы загребущие. Попадешься!

— Шо ты мне шарики крутишь? Я тебе говорю — ответственный разговор. Я тебя спрашиваю, а ты мне отвечай. Понял, нет? Ты зачем про пацана набрехал? Который с собакой.

— А я не брехал. Уехали они. Второй день нету.

— Бреешь, старый хрен! Ты мне всю правду говори. Понял, нет? А то и тебя — к этому... к ответственности... за это, как его? За соучастие. Понял, нет?

— Какое соучастие? Ты поди-ка, вон там бочка стоит, поныряй в нее своей пьяной башкой, может, мозги-то посветлеют...

— Ты мне баки не забивай. Отвечай, когда спрашивают.

— А ты что за спрос?

— Имею полное право. Понял, нет? Я из двух стволов как жажну — враз перекинется... А пацана — за шкуру и в Чугуново. Там разберутся, почему он на людей собак натравливает...

— Ну, старайся, старайся. Гляди, еще медаль тебе подвешат, когда собаку застрелишь. Специально собачью.

— Ты, дед, не скалься, тебя тоже привлекут — будь здоров! Понял, нет? Где тот клятый пацан с собакой? Их сегодня в лесу сам начальник видел.

— Вот ты б у него адресок и спросил, а то сюда пришел. Здесь их нету и не было. Хочешь, иди в избу, ищи. Только, гляди, Катря моя, окромя грома небесного, ничего не боится и может обыкновенным манером поломать ухват об твою умную голову...

— Опять бреешь, старый хрен, укрываешь? Ну гляди, я тебя тоже представлю... Понял, нет?

Митька несколько минут стоял, покачиваясь и тупо глядя на Харлампию, потом длинно выругался и пошел к шоссе.

Подождав, пока он скроется за деревьями, дед поспешил в хату. Над Митькой он издевался искренне и даже с удовольствием, но угрозы по адресу Боя и Антона встревожили его. Пусть угрозы эти — пьяное бахвальство, но дыма без огня не бывает, а если дуrolому дали ружье, он может такого натворить — святых выноси... Следовало посоветоваться, а посоветоваться, кроме жены, было не с кем, и дед Харламбий изложил ей все, что уловил из пьяного бормотания Митьки. Тетка Катря пришла в неистовство.

Она так и думала, что добром не кончится! Где это видано, чтобы бросить малого хлопчика, а самому уехать? Ни стыда не стало у людей, ни совести! Ну пускай он только приедет, она ему сама очи выцарапает за такое отношение до бедного хлопчика... А он тоже хорош! Сидит тут, как поганый гриб, толку от него ни на грош. Что он, сам не понимает, что надо этого хлопчика сейчас же разыскать? Он же там вторые сутки где-то мается, не пивши, не евши, может, уже спал на сырой земле и насмерть простудился... И чего он тут торчит, таращит свои бельма, вместо того чтобы бежать, искать хлопчика и вести его сюда? И пусть тогда этот бандюга Митька только сунет свой нос! Да она ему глаза выцарапает, кипятком ошпарит, все рогаи об него обломает!.. Где это видано, чтобы бросали одного беззащитного хлопчика и не сумели его оборонить от какого-то пьянчуги и разбойника? Если он, старый хрыч, боится и ни на что не способен, то она десять таких Митек заставит землю жрать, чтоб они ею подавились...

Дед Харламбий устремился к двери, но его остановил новый залп.

Что он себе думает, если у него есть чем думать? Голова у него на плечах или дырявый горшок? Бедный хлопчик там с голоду помирает, а он побежит с пустыми руками? Или он боится надорваться, если отнесет хлопчику трошки покушать, чтобы он заморил червячка?

Через минуту в руки Харлампию был сунут изрядный мешок, в который тетка Катря набросала все, что оказалось под рукой и чего хватило бы, чтобы заморить червей трем

мужикам, а не только маленького червячка одному хлопчику. Дед безропотно ухватил мешок и пошел в лес, а вдогонку ему летели громоподобные напутствия тетки Катри: чтоб он без того бедного хлопчика и не думал приходить, потому что она и в хату его не пустит, и есть не даст. И чтобы он не лез напролом, старый козел, а шел потихоньку, чтобы того клятого Митьку не приманить, а еще лучше дождался ночи, а тогда бы уже и вел, чтоб никто не видел и не слышал...

Харлампий знал лес, как никто в округе и в самом лесничестве. Не было такого уголка, где бы он не побывал. Прикидывая, где мог прятаться Антон с Боем, он сразу отверг и грабовник, и основной сосновый массив, и подрост. Там деревья прорежены, подлеска нет, все легко просматривается. Легко прятаться в дубовом массиве, но там нет воды, а без воды ни мальчику, ни собаке не обойтись. Значит, искать их следовало в смешанном лесу вдоль берега Сокола или на самом берегу, где в скалах, кустах лещины и тальника было немало глухих, никем не тронутых местечек и тайников.

Как бы ни старался человек, он не может пройти по лесу, не оставив следов. Костер, оброненная или брошенная вещь, сломанная ветка, клочок бумаги, спичка, примятая трава да мало ли что еще, незначительное и незаметное ему самому, выдаст его присутствие другому человеку, с глазом опытным и внимательным. Долгая жизнь, проведенная в этом лесу, сделала памятными Харлампию если не каждую былинку, то уж каждый куст наверное, научила замечать еле уловимые перемены, нарушения сложившегося, все те различия, которые для опытного любовного глаза оживляют каждое дерево, куст, побег, а для глаза чужого и равнодушного сливаются в пустопорожные словесные знаки — «лес», «роща», «пейзаж».

Идя от гречишного поля по берегу, Харлампий очень быстро нашел залитый костер. Головешки были уже холодны и сухи, но зола под ними мокрой. На илистом урезе видны были отпечатки широких, в кулак, собачьих лап. Дальше на тропе следов не было. Харлампий по камням порога перебрался на левый берег. Здесь тоже виднелись отпечатки собачьих лап и следы детских ног. Их оказалось много. Совсем маленькие в тапочках, побольше босые и отпечатки мальчиковых башмаков. Следы могли остаться здесь в разное время от разных ребят, и Харлампий решил идти по собачьим. Вправо их не было, влево, по тропе на участке, где почва уже прикрывала скалу, они появились снова. И снова здесь были те же отпечатки тапочек, босых ступней и башмаков. Харлампий уверенно зашагал по тропе, но каждый раз, когда виднелись собачьи следы, наступал на них. Гранитная стена становилась все ниже, и, когда уже была не выше человеческого роста, Харлампий поднялся по откосу вверх. Следы уводили от реки к мало-помалу обозначающейся западине. Влажная черная почва сменила супеси, сосны исчезли, вместо них появились орешник, ольха, потом осина, верба, и, наконец, где почва понизилась еще больше, стала влажной, как у близкого болота, начались кущи тальника. Следы делались все отчетливее и свежее — в низких местах они даже не успевали налиться водой. Это были отпечатки все тех же собачьих лап и трех пар детских ног. Значит, Антон был не один, а еще с двумя ребятенками, и все они шли к Ганыкиной гребле.

От Ганыкиной гребли осталось одно название. Последнего в коротком роду Ганыку, безмозглого потомка ловких стяжателей, одолевал созидательный, по его мнению, пыл, а на самом деле прожектерский зуд. Все его затеи были нелепы, несуразны и заканчивались пшиком. По образцу дворца графа Разумовского в Батурине Ганыка построил в Ганешах многокомнатный дворец с двухсветным залом, в котором можно было закатывать балы на полтысячи человек. Балов Ганыка не устраивал — окрестное дворянство сторонилось выскочки-богатея, дворец стоял пустой, ветшал, в семнадцатом году сгорел, и от него остались только стены в слепых глазницах оконных проемов. Завезенные Ганыкой мериньсы, которые должны были произвести переворот в отечественном овцеводстве, затмив славу Англии и Австралии, дружно передохли. Последней затеей Ганыки было создание прудового хозяйства. Выращенным в нем зеркальным карпом предполагалось завалить рынки Киева,

Москвы, Петербурга, а там, кто знает, может, и заграницы. В огромном лесном массиве на левом берегу Сокола была низина, поросшая чахлым мелколесьем и большей частью, за исключением центрального возвышенного участка, заболоченная. Болото не пересыхало, так как талые воды стекали в естественную чашу, основанием которой был подпочвенный гранитный кряж, а маленькая безымянная речушка восполняла естественную убыль. Болото и не распространялось вширь — излишняя вода уходила в текущий в четырех верстах Сокол. Вот этот сток, по приказу Ганыки, и был перегорожен греблей, земляной плотиной с камнями, уложенными внаброс. За три года болотина превратилась в озеро с островом посередине. В озеро выпустили мальков зеркального карпа. Однако рыборотковцы Киева, Москвы и Петербурга не были сокрушены. И не потому только, что в Ганеши не было доступа никакому транспорту, кроме гужевого, а для будущих тысячепудий не построены морозильные установки и все тысячепудья были обречены на порчу. Они просто не возникли. Оказалось, вместе с мальками зеркального карпа завезли рыбную вошь — карпоеда, который почти полностью уничтожил карпа. Ганыка махнул рукой на свою затею. Брошенную без присмотра земляную греблю постепенно смыло, озеро ушло в Сокол, однако не целиком. Каменный наброс гребли удержал значительную часть воды, остров посередине увеличился, озеро уменьшилось, но сохранилось. Первое время его посещали рыболовы, однако с берега на удочку много не наловишь, везти лодку или строить ее на месте не имело смысла — карпа было мало. Остатки его погибли от эпидемии краснухи уже в середине двадцатых годов, когда не осталось не только Ганыки, но и памяти о нем, если не считать названия разрушившейся гребли. Ее перестали посещать. От села до гребли немеренных километров шесть, рыба перевелась, а купаться стало опасно. Ложе будущего озера перед заполнением не очистили, вода залила весь бывший там хворостный древостой, так он и остался догнивать. И сейчас еще торчали под водой, стволы, коряги, разрастающаяся кувшинка своими плетями опутала все проходы к чистой воде. Кусты тальника, заросли рогоза вплотную заслонили подступы к илистой, вязкой береговой полосе. Гребли стали избегать, даже побаиваться, и лишь изредка приходили к ней сельские ребята — обязательно днем и большой оравой: глухие, заболоченные места наводили жуть. В последние годы повадился сюда дед Харламий. Ходил он всегда в одиночку, никому не объясняя зачем. Над ним смеялись, поддразнивали несуществующей последней рыбой, поймав которую дед прославится и получит за свою доблесть орден рыбьего хвоста. Дед тоже смеялся и говорил, что орден ему не светит, потому как рыбы нет, а вот русалочку он себе там присваивает, больно уж Катря его допекла... Здесь Харламий знал каждый куст, легко находил следы и уверенно шел по ним. Выйдя на прогалину меж кустами, он услышал треск и остановился. Оскалив пасть, к нему галопом летел черный пес приежжик. Харламий с детства был не тверд в вере, навсегда покончил с богом и чертом в юные годы своего красноармейства, но тут вдруг сама собой скороговоркой забормоталась молитва, хотя и несколько своеобразная:

— Ну, нечистая сила, мать пресвятая богородица! Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его...

Бой подбежал, но не только не проявил враждебных намерений, а напротив — и хвостом и оскаленной пастью изъявил свое удовольствие от этой встречи.

— Узнал, чертяка! — обрадовался Харламий. — Ну-ну, давай веди к своему хозяину, где он схоронился...

Однако Бой не побежал, а подпрыгнул и вцепился зубами в мешок с харчами.

— Ты что, очумел? Тебе это, что ли?

Бой, не обращая внимания на дедовы приговоры, изо всех сил тянул мешок к себе, вырвав, опустил на землю, перехватил поудобнее и побежал туда, откуда появился. Деду ничего не оставалось, как поспешить за ним.

На пригорке из-за кустов появились Антон, за ним Юка и Сашко.

— Дедушка Харлампий! — удивился Антон. — Как вы нас нашли?

— Ну, вы такую дорогу протоптали, только слепой да пьяный не найдет... Ох, силен чертяка!  
— повернулся он к Бою. — Отобрал без всяких разговоров, и все тут. С таким не пропадешь  
— что хошь отымет. И еще спасибо скажешь, ежели зубами не цапнет...

— Отдай! — строго сказал Бою Антон.

Бой выпустил мешок.

— Это тебе старуха накидала, чтоб с голодухи не помер. Давай заправляйся...

— Спасибо, только я вовсе не умираю от голода. Мне ребята приносили...

— Этот вроде наш, здешний. А подружка твоя? Из городу? Ну ладно, это дело — второе. А первое: ты, брат, дуралей! Ты что ж мне сразу не сказал? Гляди, и не пришлось бы мыкаться так-то...

— Я не успел, надо было скорей спрятаться... Вы ж не знаете...

— Знаю. Табак твое дело, Антон. Надо пошибче прятаться, а то тебе небо с овчинку покажется... Собирай свои вещички, и пошли к тетке Катре...

— Нельзя, — насупившись, сказал Антон и объяснил, почему он не может, даже не должен идти домой.

— Оно, пожалуй, верно, — подумав, согласился Харлампий. — Такого чертяку подолом не прикроешь, а тот подкараулить может... Ну и тут оставаться не гоже — наследили вы, как медведи на песке. Он дурак дураком, а по следу найдет... Что ж мне с вами делать, а?

Дед Харлампий раздумывал, что-то взвешивал про себя, даже морщился и побряхтывал при этом и наконец решился.

— Ну ладно, до завтра я тебя спрячу — ни один леший не сыщет. А завтра поеду в Чугуново, разыщу твоего дядю Федю — пущай сам тут распутывается...

— Какой вы хороший! — восхитилась Юка.

— А я разный бываю, — лукаво сощурился дед, — и в полоску, и в крапочку... Вы б, ребятки, шли домой, а? Скоро темнеть начнет...

— Ой, мы хотим посмотреть!

— А чего тут смотреть? Я кина показывать не буду. Меньше глаз, меньше языков — оно всегда лучше.

Антон перехватил обиженный взгляд Сашка и сказал:

— Они ребята надежные, не трепачи.

— Ну ладно! Только смотрите, ребятки, — язык держать за зубами. А то им будет худо, а все мое дело — пропащее...

Харлампий подвел их к только ему одному приметным кустам на самом берегу, подвернул штаны выше колен и полез прямо через кусты в воду. Лез он так осторожно, что ни одна веточка не надломилась. Ветви тотчас сомкнулись за ним, и только чавканье ила, бульканье



воды свидетельствовали, что за кустами кто-то есть,

— Ну и комаров здесь!

Юка сердито обшлепывала ладонями свои голые ноги. Антон достал нож, срезал с куста ветку и протянул ей:

— На, обмахивайся...

Шум за кустами затих. Через несколько минут голос деда Харлампия долетел справа. Ребята побежали на зов. Дед по пояс возвышался над прибрежной полосой аира в нескольких десятках метров от того места, где скрылся в кустах.

— Давай, Антон, веди своего чертяку сюда. Тут не топко, не увязнешь... Только поаккуратнее, не ломай лепеха-то!

Антон снял башмаки, подвернул брюки и, стараясь не ломать мягкие зеленые сабли аира, пошел к деду. Бой побрел за ним.

Дед не стоял на камне, как подумал Антон, а сидел в лодке. В сущности, это была не лодка, а большое прямоугольное корыто или ящик, самую малость суженный к тупым обрезам своей кормы и носа. Как видно, изобретатель и строитель диковинной посуды полностью пренебрег и красотой обводов и гидродинамическими качествами. Неуклюжая лохань держалась на воде и с натугой могла даже плыть по ней, но со скоростью не больше, чем у бревна. Харламгий слез в воду, ухватился за борт.

— Ну, вот мой карап. Хорош? — сказал дед Харламгий. — Подсаживать его али как? — кивнул он на Боя.

— Зачем? Он сам. Только чтобы не опрокинул... — сказал Антон и хлопнул по днищу лохани.  
— Бой, давай! Барьер!

Бой взметнулся над водой, прыгнул и едва не утопил дедов корабль. Антон поспешно ухватился за борт лохани, и он и Харламгий напрягли все силы, но лодка еще долго ёрзала, угрожающе раскачивалась, едва не черпая воду. Наконец строптивая посуда успокоилась; Антон, а потом дед осторожно влезли в нее. Лодка глубоко осела, но осталась на плаву — до поверхности воды было пальца два.

— Ничего, — беззаботно сказал дед, — полегоньку доберемся, а скоростя из нее все одно не выколотишь...

Веслом, подозрительно смахивающим на лопату, какой деревенские бабы когда-то сажали хлебы в печь, Харламгий начал отгрести от берега. Антон оглянулся. Сашко и Юка махали ему руками. За ними виднелся пригорок, где в кустах под растрепанной дуплистой ветлой он собирался провести эту ночь. Антон помахал ребятам и повернулся к деду.

— Ты, гляди, не шибко ворочайся, а то, коли опрокинемся, будет нам вечная память без надгробного рыдания... Тут ни плавать, ни идти.

Антон посмотрел за борт. Со дна поднимались воздушные пузыри, в воде виднелись корневища, путаница каких-то ветвей, побегов. Озеро зарастало. Там и сям возвышались над водой мохнатые кочки, появлялись островки камыша, обугленными шишками помахивал рогоз, а кое-где уже кучились прутья тальника, пряча от солнца алюминиевую изнанку своих

острых листьев.

— Откуда у вас тут лодка? — спросил Антон.

— Это мне один леший по знакомству построил. Вот когда у него выходной, мы с ним и прохлаждаемся, по озеру раскатываем, — отшутился дед Харлампий. Распространяться на эту тему он явно не желал.

Дед Харлампий был завзятым рыболовом. В двадцатых годах он вместе с другими лавливал последышей-карпов в Ганыкиной гребле. После эпидемии краснухи, когда все до одного карпы передохли, остался только Сокол. В отличие от других Соколовские рыболовы никогда не ввали и не создавали легенд о своих уловах: рыбешка водилась там мелкая, пустяковая — плотичка, пескари, щурята. Однако ее становилось все меньше, а года четыре назад рыба исчезла окончательно. Как ни мал был чугуновский заводило, как ни плохо работал, — воду он отравлял исправно. Дед затосковал. Никакие ухищрения, ни привада и прикормка не помогали — рыбы не было. И тогда дед Харлампий начал раздумывать о Ганыкиной гребле. Озеро зарастало, рыба в нем перевелась, но вода оставалась чистой, без отравы. После эпидемии краснухи прошло почти тридцать лет. А ну как заразы там никакой уже нет и, если пустить рыбу, приживется? В лесничестве, где он тогда еще работал, от предложения его отмахнулись — денег нет, не по профилю и вообще ни к чему. Но дед был упрям, настырен. В конце концов спрос не бьет в нос. Попробовать можно. Только потихоньку, чтобы никто не знал, — в случае незадачи хоть смеху не будет. Лучше всего разводить карпа: и плодовит, и растет быстро, как свинья. Однако с карпом уже пробовали, провалились. Пробовали дуром, наобум, без научного подхода. Ну и сейчас никакого научного подхода в одиночку, без денег не сделаешь. Харлампий решил попробовать карася. Рыбка мелкая, неприхотливая. Коли приживется она, можно ставить вопрос ребром о расчистке озера, восстановлении плотины и настоящем разведении карпа. На этом карпе колхоз такую деньгу может зашибить — рты разинут...

С превеликим трудом, по секрету от всех, дед издали привозил в завязанном мешковиной ведерке живых карасей, потихоньку пробирался к гребле и выпускал в озеро новоселов. Однако, стоя на берегу, не узнаешь, прижилась рыба или нет. Карась не бог весть как умен и хитер, но с докладом все равно не приплывет. Вот тогда-то дед и решил построить себе лодку. Но тоже потихоньку, чтобы не подняли на смех. В лесничестве выпросил досок, будто бы для домашних поделок и ремонтов, обработал их и перетаскал к озеру. Никакого опыта в судостроении у Харлампия не было, постройка заняла все лето, а когда закончилась, сооружение оказалось до того неказистым и топорным, что даже автор удивился его несуразности: корыто — не корыто, лохань — не лохань, но и не лодка во всяком случае. Дед Харлампий расстраивался недолго, так как умел во всем находить и смешное.

— Леший с ней, — сказал он себе, — мне девок не катать, рекорды не ставить. По мне хоть валенок, лишь бы не тонул...

Он давно приглядел для своей посудины такой глухой, заросший кустами и камышом угол, что, откуда ни зайдешь, лодку не видно. Для страховки он еще заваливал ее сверху прошлогодним камышом. Пользовался он ею редко, пробирался к ней с осторожностью, стараясь следов не оставлять. Ему удалось не только сохранить в тайне существование лодки, но самое главное — удалось убедиться, что караси прижились и размножились. Однако дед не спешил обнародовать свои успехи, а поджидал конца лета, когда доказательства успехов станут многочисленнее и крупнее. Вот почему он долго колебался, прежде чем обнаружить существование лодки, и совсем не хотел объяснять, для чего она появилась на озере.

— А куда мы плывем, на тот берег? — спросил Антон.

— Берег можно кругом обойти. На остров. Вот он, — оглянувшись через плечо, ответил дед.

Через несколько минут лодка ткнулась тупым носом в берег. Бой обрадовано прыгнул на землю: земля не ерзала и не раскачивалась под ним, как ящик, в который его зачем-то посадили.

— Ну вот, — сказал Харламий. — Тут Митька тебя только из пушки достанет или ракетой. А их у него покуда нету... Однако по берегу ты не шибко крутись, иди-ка вон туда — видишь, четыре вербы растут. Там у меня шалашик есть, там и располагайся... Бывай здоров, тут тебя никто не обидит. А мне пора: пока карапь приберу, совсем стемнеет...

Антон, сопровождаемый Боем, скрылся в кустах тальника, дед сел в свой «карапь» и поплыл обратно.

Юка и Сашко еще не ушли. Сашко догадался, что дед отвез Антона на остров, но он там не бывал, ничего о нем не мог рассказать, а Юке хотелось узнать все, и как можно подробнее. Укрыв лодку, дед прежним путем выбрался через кустарник.

— Дедушка, — подбежала к нему Юка, — вы его на острове оставили, да? А какой это остров, необитаемый?

— Почему? Обитаемый. Комары там обитают. Мыши есть. Ну и коза...

— Коза?! — изумленно распахнула глаза Юка. — Зачем там коза? Это вы ее туда...

Дед раздосадовано крикнул и обругал себя старым болтуном, но отступить было некуда.

— Не свойская, дикая коза. Косуля — по-ученому.

— Ой! — восхитилась Юка. — Вот бы посмотреть! Я только в зоопарке видела... А зачем она там?

— «Зачем, зачем»!.. Забрела зимой сдуру, корма там много. А весной лед растаял — куда она денется? Тут ни человек, ни зверь не проберется, запутается, увязнет... До зимы поживет, там ее никто не тронет, а потом уйдет куда хочет...

— Батюшки! — совсем по-бабьи всплеснула Юка руками. — Одеяло-то Антон забыл! Как же теперь, а?

Синее шерстяное одеяло аккуратным квадратиком лежало на траве.

— Ничего, — сказал Харламий, — не озябнет, там у меня шалашик есть. А второй раз туда шлепать некогда — темнеет. Бегите-ка домой, ребятки. Только поаккуратней — и молчок! Не заблудитесь?

— Еще чего! — сказал Сашко.

Дед направился к Соколу. Сашко повел Юку в Ганеши напрямик, через лес. Всю дорогу они опасливо оглядывались и прислушивались: не крадется ли Митька Казенный?

В дверь сарая, крадучись, пробрался рассвет. Уткнувшись носом в подушку, Галка громко сопела. Юка поспешно натянула платье, тапочки, выбежала на улицу. Все село спало, кроме

коров, их хозяек и Семена-Версты. Он уже брел за своим маленьким стадом, волоча по пыли тощую змею кнута.

— Ты Сашка не видел? — окликнула его Юка.

— Не, — сказал Семен и отвернулся.

Он теперь отворачивался от всех. Все знали, что отец его порол, знали за что и смотрели на него, как ему казалось, с презрением и насмешкой. Особенно эти... Сами втравили его, подбили, а теперь смеются. Они-то ничего не сделали, им теперь хоть бы что, а он, как дурак, послушался и опозорился на всю жизнь. Пропади оно все пропадом — и лес этот, и река, и все на свете. Вот уедет он в город, там совсем другая жизнь. Может, и у него когда своя машина будет. Уж тогда...

Юка подбежала к хате Сашка. На дворе было уже совсем светло, но за закрытыми окнами еще прятались сумрачные остатки ночи, и Юка ничего не рассмотрела. Стучать она не решалась и нетерпеливо вертелась возле хаты. Оказалось, Сашко не спал. Он перепрыгнул с улицы через перелаз, удивленно и, как показалось Юке, с подозрением уставился на нее.

— Ты чего?

— За тобой. Пойдем уже. Надо ведь узнать, как там Антон!

— Я еще не поел.

— И я не ела. Так что, умрем от голода? А если Антону чего нужно или там что случилось?

— А что там может случиться? Спит себе, и все.

— Мало ли! Я прямо спать не могла, все думала и думала. Мы напрасно ушли, надо было с ним остаться.

— А что толку? Если Митька туда доберется, что мы можем? Мы ж его не подужаем.

— Хоть свидетелями будем.

— Мы несовершеннолетние.

— Да что ты все отговорки ищешь? Не хочешь, я одна пойду. Тоже мне, товарищ: бросил человека и все думает только про свой живот...

Сашко обиделся.

— Это я только про живот? Да ты знаешь... — начал он и оборвал: — Ничего ты не знаешь!.. Ну зачем мы пойдем? Все равно на остров нельзя.

— Так мы покричим... Хотя нет, кричать тоже нельзя. Ну, мы хоть посмотрим. Там ведь не такое большое расстояние, увидеть можно. Мы быстренько — туда и назад.

— Ладно, пошли, — сказал Сашко, — только пойдем не по улице, через огород...

Они молча миновали огород Сашковой усадьбы, потом еще чей-то, и только на выходе из села Сашко, который все время шел обиженно надутый, вдруг улыбнулся и сказал:

— А знаешь? На нашего голову снова карикатуру прилепили.

— Ну?

— Ага. Я вот только что мимо шел, гляжу — висит.

— Ой, давай сбегает, я хочу посмотреть!

— А чего там смотреть? Такая самая, как вчера.

— Но я же не видела!

— Не, — посерьезнел Сашко, — нельзя. Увидят нас, подумают, это мы...

Юка вздохнула и согласилась. Они пошли дальше. Дорога сейчас показалась ей значительно короче, чем вчера вечером. Быть может, потому, что она была уже знакома, а может, и потому, что теперь было светло и совсем не страшно.

И озеро показалось значительно меньшим, а вот остров, плохо различимый в сумерках, оказался длиннее и больше. Почти весь он зарос деревьями, кустарником, и не всюду можно было различить его границы: тальник, разросшийся на кочках, аир и рогоз скрадывали его очертания.

Как они ни вглядывались, как ни напрягали зрения, Боя и Антона не было видно.

— Спят, как куры, — сказал Сашко.

— Хорошо, если так... — встревожено сказала Юка.

Сашко влез на старую вербу, но и оттуда ничего не увидел.

— Я так беспокоюсь, так беспокоюсь... — сказала Юка.

— Может, все-таки крикнуть?

— Ну да, а вдруг тот гад где-нибудь близко?.. Давай помахаем?

Они махали руками. Сашко снял рубашку и покрутил над головой, будто разгонял голубей. Никакого ответа не последовало.

— Что ж теперь делать? — упавшим голосом спросила Юка.

— А что мы можем делать? — мрачно ответил Сашко. — Приедут дед Харламбий и тот дядя Федя, тогда...

— А мы будем ждать? А если с Антоном что случилось? Может, он заболел, может... Надо ехать к нему!

— Еще чего!

— А как же? По-твоему, сидеть сложа руки, да? Не помочь товарищу?

— Дед Харламбий сказал, чтоб лодку не трогали и к ней не лазили.

— А если нужно?

— Да ни за чем не нужно! Ты просто хочешь посмотреть остров и ту козу...

— Ну... хочу, — слегка смутилась Юка. — Только это совсем не главное! Ради этого я бы не просила... И вообще, просила бы не тебя, а дедушку. Он меня возьмет. Что ему, жалко? И остров никуда не денется и коза... А сейчас я про Антона думаю, а вовсе не про козу! А ты бессовестный, если так думаешь.

Вся рассудительность и солидность, какие были в Сашко заложены и восприняты им от отца, восставали против поездки. Но какие бы доводы ни приводил Сашко, Юка немедленно находила противоположные и доказывала, что ехать нужно, абсолютно необходимо. Никто не рассказывал им печальной сказки об Адаме и Еве, а сами они, конечно, ее не читали. Как и всякая сказка, она, очевидно, отражала какие-то изначальные качества человеческих характеров, иначе бы не возникла и не повторяло бы ее несчетное число уже не мифических, а живых людей на протяжении всей истории. Юка обнаружила в споре ловкость и изворотливость не меньшую, чем любая из ее предшественниц. Когда все доводы были исчерпаны и не поколебали стойкости Сашка, Юка пустила в ход самый коварный и страшный для мужчин, который, должно быть, погубил и библейского Адама.

— Ты просто боишься! Ты трус, и больше ничего!

Такого удара в солнечное сплетение мужского достоинства маленький деревенский Адам не выдержал.

— Ладно, пошли. Ну смотри, попробуй потом чего говорить! — зло сказал Сашко и даже показал кулак.

Они долго ходили по берегу и никак не могли отыскать место, где дед прятал свою лодку. Трава, примятая ими вчера, распрямилась, следы Боя и Антона в иле затянуло грязевой жижей, а кусты были похожи один на другой. Наконец Сашко остановился: на одном из кустов, которые росли большой густой купой, была срезана ветка. Вчера Антон срезал ветку для Юки, других срезов нигде не было, значит, это то самое место.

Сашко осторожно полез в кусты, Юка начала пробираться следом, заторопилась и, ломая ветки, упала. Короткий рукав платья, задетый сучком, разорвался до шеи, лоскутья повисли как свиные уши. Во всю длину руки тот же сучок ссадил кожу, в ссадине начали быстро-быстро проступать крохотные капельки крови. Ссадину жгло огнем, на глазах Юки выступили слезы, но, встретив испытующий и злорадный взгляд Сашка, она как ни в чем не бывало собрала в кулак лохмотья рукава и спросила:

— У тебя булавки нет?

— Сроду они у меня были?

Юка отпустила лохмотья, они опять повисли, как свиные уши.

Под ногами хлюпало и чавкало. Старые стебли камыша, корневища устилали дно, прогибались под ногами, но не позволяли им увязнуть в иле. Ребята разгребли камыш, взобрались в лодку; Сашко, упираясь лопатой-веслом в кочки, вывел ее на чистую воду. Грести он не умел, а у лодки оказался подлейший характер — вперед она не двигалась, но зато, как вьюн, вертелась из стороны в сторону. Иногда Сашку удавалось толкнуть ее на шаг вперед, но весло цеплялось за плети кувшинок или какие-то коряги, и, высвобождая его, Сашко подтягивал лодку на прежнее место. Сашко запыхался, взмок и, разозлившись, бросил лопату на дно лодки. Юка подобрала весло, попробовала грести сама. Лодка продолжала вертеться, но все же начала продвигаться и вперед. Шла она не носом, как полагается, а боком и в таком темпе, что Сашко фыркнул:

— Вторая космическая скорость!

К счастью, у ребят не было часов, поэтому они не могли следить течение времени, что больше всего и раздражает спешащего человека. О том, что времени прошло немало, дали знать желудки: ноющей пустотой они напомнили о себе.

Наконец несуразный бокоплав причалил к острову. Ребята подтянули лодку, чтобы она не

уплыла, и, продираясь через кусты, побежали к купе деревьев, стоящей на взгорке.

— Антон! Бой! — негромко позвала Юка.

В ответ раздался тяжелый топот, навстречу им вылетел хакающий Бой. Молотя хвостом кусты, он лизнул Юку в лицо и помчался обратно.

Антон собрался завтракать — раскладывал на мешковине припасы, присланные теткой Катрей.

— Вот молодцы! — сказал он, улыбаясь. — Я так и знал, что вы приедете.

— Ну как тебе тут? — спросила Юка, не отводя взгляда от еды.

— Полный порядок! Спал во дворце имени деда Харлампия. Прима-люкс!

Юка немедленно залезла в крохотный шалашик из веток тальника, полежала на шумящей жухлой листве.

— Мне бы здесь пожить! — завистливо вздохнула она, вылезая. — А что? Попрошу дедушку, он меня возьмет с собой, и все... Только еды надо взять побольше...

— Ну, еды и сейчас хватит. Давайте, ребята, подрубаем.

— Что ты, что ты! — неискренним голосом сказала Юка. — Тебе самому мало.

— Да ну, вон здесь сколько! На-авались! — скомандовал Антон и показал пример, как надо наваливаться.

— Мы самую-самую чуточку, — сказала Юка, — а то почему-то ужасно есть хочется, — и, покончив с нравственными борениями, принялась за еду.

Сашко ни с чем не боролся и без всяких объяснений начал «рубать».

— Чего это ты рваная? Подрались, что ли? — заметил наконец Антон разорванное плечо Юкиного платья.

Юка покраснела и собрала в кулак лохмотья:

— Упала... Булавку бы. Или хотя бы веревочку...

Булавки не оказалось, обрывок шпагата нашелся в одном из карманов рюкзака. Антон обвязал шпагатом собранные в пучок лохмотья. Подол платья слева вздернулся, зато плечо было немного прикрыто.

— Шик, блеск, красота! Тра-та-та, тра-та-та! — насмешливо сказал Сашко.

Юка отмахнулась от него.

— Ты ее видел?

— Кого?

— Как, ты даже не знаешь? Тут же живая дикая коза!

— Нет тут никакой козы.

— Есть, — сказал Сашко, — дед говорил... и вот, — показал он на засохшие козы орешки.

— Пойдем поищем. Мы хоть издали посмотрим, немножечко...

— Нельзя, — сказал Сашко, — собака может загрызть, если найдет.

— Нет, я не дам, — сказал Антон. — Сейчас...

Он отстегнул ремни рюкзака, связал их и петлей надел на шею Бою. Получилось что-то вроде ошейника и очень короткого поводка.

— Пошли. Рядом, Бой!

Бой посмотрел на него, вильнул хвостом, и они двинулись. Иногда, чуя след, он утыкался носом в землю и устремлялся вперед, тогда все трое вцеплялись в него и придерживали. Остров густо зарос кустарником. Они запыхались, исцарапались, но так козы и не увидели.

— Хватит! — сказал Сашко. — Не будет дела. Мы шумим, как на свадьбе, она слышит и убегает. Что она, дурная, что ли, чтобы к нам идти? И домой пора, вон уже солнце где...

Солнце стояло в зените. Как ни обидно было Юке уезжать, не повидав дикую козу, уезжать пришлось.

— Наверное, дедушка уже разыскал Федора Михайловича, — сказала Юка Антону, садясь в лодку, — и они едут домой. Знаешь, я сейчас пойду переоденусь и побегу в лесничество, буду там ждать. И вместе с ним приду... А ты, Сашко, приходи сюда к озеру и жди здесь.

Сашко и Юка переправились обратно, забросали лодку камышом и пошли в село.

Митька проснулся поздно. После вчерашнего башка трещала, во рту было так скверно, будто он наелся мыла. Он окунул голову в ведро с холодной водой. От этого сделалось немного легче, но ненадолго. Следовало опохмелиться, что он и сделал, не обращая внимания на причитания матери. После опохмела голова стала болеть меньше, настроение улучшилось.

— Брось, мать, не гуди, — почти благодушно сказал он, — теперь дела пойдут на поправку — нашел заручку. Поняла, нет? Только бы не упустить. Ну, я своего не упущу!.. Собери поесть, ну и еще чекушку прихвати...

По всему получалось, что дела его действительно могли теперь поправиться. Начальничек тот может пригодиться. Собаку он и сам хотел пристрелить, но раньше могли выйти какие-то осложнения, а теперь будет полный порядок. А если начальничку этим делом угодить, может, удастся зацепиться в Чугунове. Главное — зацепиться, потом он сам сориентируется, не впервой... А пока под это дело можно ружье пару деньков подержать, голова теперь ничего не скажет. Может, что и на мушку подвернется...

Плотно позавтракав, загнав в оба ствола патроны с жаканами, Митька далеко за полдень пошел в лесничество. На дверях хаты деда Харлампия висел замок. Митька обошел всю усадьбу, долго заглядывал в окна, прислушивался, но, кроме хрюканья кабана в хлеву, ничего не услышал.

«Ладно, придут, никуда не денутся, — сказал он сам себе. — Может, пока попробовать?»

«Пробовать» вблизи лесничества было опасно — могли услышать и застукать на горячем, как тогда... Больше всего для «пробы» подходили берега Ганыкиной гребли, где никто не бывал и где он в свое время немало пострелял и уток и зайцев.

Вода слепила глаза стеклянным блеском, над лесом висел зной. Зной заставил замолчать и



притаиться даже птичью мелочь, которая суетится и свиритит целый день. Митька Казенный старался ступать осторожно, без шума. Он давно, очень давно здесь не был и с трудом узнавал хорошо знакомые прежде места.

Проходя мимо большой купы кустов, Митька заметил висящий на сучке клочок голубой тряпки, свеженадломленные ветки, оборванную листву. Кто-то совсем недавно пролез здесь к озеру. Кто и зачем? Митька полез через кусты. Под ворохом старых стеблей камыша виднелась доска. Он отшвырнул камыш. Лодка! Ну, не лодка, скорей корыто, а все-таки плыть можно. Стоп — чья? Лесника? Зачем ему? И она была бы настоящая, а не такая топорная самоделка. Колхозная? Все бы знали, и он бы знал. Значит, втихаря сварганил какой-то кустарь-одиночка. Ну, он тоже одиночка...

Не раздумывая больше, Митька положил ружье, сильно толкнул «карап» деда Харлампия, влез в него и начал грести к острову.

Не только мальчики и девочки, но и взрослые не знают будущего, не могут предвидеть и проследить последствия своих поступков. Умей они это, многое было бы не сказано и, может быть, еще большее осталось несовершенным. Говоря или делая, человек добивается, преследует какую-то цель, именно ее, и ничего больше. Но в сложнейшем сплетении, столкновении множества волей и устремлений, взглядов и мнений, характеров и блажи или дури, которая некоторым заменяет характер, сказанное и сделанное вдруг приобретает иной смысл, иногда прямо противоположный, оборачивается против того, чего человек хотел и добивался, и цель оказывается недостигнутой, а хорошему делу или человеку нанесен вред. Если бы Толя мог предположить, что обдуманное им, а проделанное Вовкой обернется против Антона, к уже существующим добавит еще одного преследователя, он бы ни под каким видом ничего не допустил.

Вовка был усталый и злой. Он только что вернулся с купанья, весь пропотел и запыхался. Это было не удивительно — купаться приходилось далеко за городом. Чугуново — город небольшой, но непомерно длинный, кишкой вытянувшийся по берегу Сокола на несколько километров. И вся беда в том, что жил Вовка в части города нижней, а химический завод стоял на окраине верхней. Самого Вовку это не очень волновало, он бы купался там, где жил, что прежде и делал. Но когда завод начал переходить на новую продукцию и Вовка после купанья приходил домой, мать все тревожнее потягивала носом и, дознавшись, в чем дело, потребовала, чтобы он перестал купаться в реке. Вовка пытался уверить, что пахнет от него вроде как аптекой, химией, но мать считала, что пахнет совсем не аптекой, а скорее дохлятиной или даже чем-то совсем неприличным. Но какой же мальчик откажется летом от купанья? Он тогда вовсе и не мальчик, атак — ни рыба ни мясо... Вовка, будучи мальчиком самым настоящим, от купанья не отказался, но ему приходилось топать по пыли и жаре за город, к черту на кулички. После такой прогулки от купанья и памяти не оставалось, зато пыли на потном теле прибавлялось столько, что дома нужно было уже не купаться, а просто мыться. Делать это, по странным извивам мальчишеской психологии, Вовка не любил настолько же, насколько любил купаться. Вот почему обстоятельные, неторопливые рассуждения Толи о том, как некоторые безответственные люди губят природу, в частности отравляют реки, пали на благодарнейшую почву, или, как говорят в таких случаях ораторы, встретили горячую поддержку.

В отличие от Толи, Вовка никогда не довольствовался теоретизированием, умозрительным рассмотрением вопросов. Кипучая натура его требовала действия, шагов практических,

притом немедленных и как нельзя более решительных. Дай ему сейчас волю, он бы виноватого во всем директора химзавода не только с позором прогнал, но еще и приговорил бы его через суд, как полагается, на всю катушку...

— А что? — горячился Вовка. — Ух, я бы ему...

Толя снисходительно улыбнулся:

— К счастью директора, ты ему ничего сделать не можешь.

— А ты?

— И я не могу.

— Тогда давай напишем в газету. Чтоб его продрали как полагается.

— Я говорил с папой. Он сказал, что газета уже писала и больше по этому вопросу выступать не станет.

— Ну так придумай что-нибудь, ты ж у нас кибернетик!

У Вовки это было высочайшей похвалой. Если кибернетики могли придумать думающие машины, то как же должны быть умны сами кибернетики?!

Польщенный, Толя улыбнулся, но с подобающей случаю скромностью.

— В сущности, я уже придумал, — сказал он. — Весь вопрос только в том, как это сделать. Потому что, если нас поймают, будет плохо. Очень плохо. И не только нам, но и нашим родителям. Мы же несовершеннолетние, и ответственность за нас несут они.

— Ничего, не подорвутся, — сказал Вовка. Он был потный, грязный и поэтому злой. Почему должен мучиться только он один? Пускай другим тоже будет кисло.

— Нет, — сказал Толя, — это не годится. Я не хочу, чтобы за меня отвечал кто-нибудь другой, — это трусливо и во всяком случае не благородно.

— Также мне фон-барон! — фыркнул Вовка.

— Быть благородным — вовсе не привилегия баронов. Скорее наоборот, — на самых предельных для него голосовых низах сказал Толя.

Если бы кто-нибудь услышал сейчас Толю, он бы решил, что говорит не он, а его папа.

— Ладно, плевать на баронов. Конкретно?

— На Доске почета висит портрет директора химзавода. По-моему, надо снять подпись, которая там висит, что он выполнил-перевыполнил, и повесить другую.

— Тю, — сказал Вовка, — а кто же это заметит?

— Я подумал и об этом, — сказал Толя. — Надо снять фотографию и прилепить ее где-нибудь в другом, непривычном месте, чтобы она обращала на себя внимание. А то, в самом деле: все привыкли и думают, что, кто там висел, тот и висит, и поэтому не смотрят.

На Крещатике, а тем более на улице Горького или Невском весь вечер буйствует электричество. Но даже там после часа ночи буйство утихает, входит в норму элементарных потребностей и выполняет свою основную задачу: освещает улицу настолько, насколько это нужно. Что же говорить о Чугунове? Там электричество только освещает улицы. Но и то до

двенадцати. Это, конечно, тоже излишество, потому что город засыпает к десяти. В одиннадцать ни одного пешехода на улицах не встретишь. А что касается автостада, оно давно уже спит своим металлическим сном и видит сны о райском и потому недостижимом блаженстве — новой резине, гипоидной смазке и прочих машинных радостях.

Поэтому, когда Толя и Вовка со всеми предосторожностями, крадучись, будто собрались ограбить государственный банк, вышли за калитку Вовкиного дома, улица была глуха, слепа и темна. Даже собаки, необразованные, провинциальные, но, может быть, именно благодаря этому неизменно бдительные собаки, не обнаруживали себя предупреждающим брехом, так как в заснувшем городе брехать было не на кого. Все произошло разочаровывающе легко и просто. Никто их не видел, не прогонял и не преследовал. Они сняли фотографию директора химзавода с установленного для нее места — для этого Вовке пришлось влезть Толе на закорки — и прилепили сбоку на крайней грани фундаментальной стены, для чего Вовке пришлось снова влезть на закорки Толе, а потом приклеили под ней новую подпись, написанную от руки печатными буквами. После этого осталось только разойтись по домам и лечь спать, что они и сделали.

17

Степан Степанович давно взял себе за правило по утрам прогуливаться пешком. Прогулка, правда, получалась куцая, всего два квартала, и не всегда удавалось ее проделать — не ходить же пешком по сугробам или весной и осенью по слякоти и грязи! — но, если погода была хорошая, Степан Степанович отпускал машину и шел пешком. Иногда он даже делал небольшой крюк, чтобы идти не просто по улице, а мимо городского сада: все-таки там воздух должен быть чище и свежее. Заложив руки за спину, Степан Степанович неторопливо шествовал по щербатому тротуару вдоль забора городского сада. В просторном костюме из светло-аспидного трико было не жарко, только что съеденный основательный завтрак давал себя чувствовать легкой отрыжкой, но, так как завтрак был вкусный, она благодушного настроения не портила. Возле Доски почета стояла небольшая группка — человек пять, не больше. Они поглядывали на Доску и весело переговаривались. Потом один за другим уходили, но подходили новые прохожие, приостанавливались, смотрели, тоже что-то говорили или молча улыбались и шли дальше. Степан Степанович подошел, и все благодушие его сдуло, как папиросный дымок ураганым ветром. Это было неслыханно, невиданно и... Степан Степанович не мог даже подобрать названия для того, что представилось его глазам и над чем посмеивались прохожие.

Посреди Доски почета зияла пустота, обрамленная бронзированным кантом. Фотография, находившаяся там прежде, висела на стене сбоку, а под ней — написанный крупными печатными буквами текст: «Директор химзавода Омельченко не строит очистных сооружений, и ядовитые отходы завода спускают прямо в реку. Рыба вся передохла, а река стала как сточная канава, даже нельзя купаться. Такому директору место не на Доске почета, а на Доске позора».

— Это... это что такое? — задыхаясь от негодования, сказал Степан Степанович. — Кто сделал?

На него оглянулись.

— Какая разница — кто? Важно, что правильно... Самокритика так самокритика!..

— Это не самокритика, а хулиганство! Надо немедленно снять!

— Зачем? Пускай висит...

— Снимите кто-нибудь, товарищи! Это дело так оставлять нельзя!

Улыбки на лицах случайных собеседников, прежде просто веселые, стали насмешливыми.

— Кому надо, тот пусть и снимает... — Может, это тот самый Омельченко и есть, чего он так кипитится? Нет, вроде не похож... — Лично мне не мешает, пускай висит. А тебе не нравится — полезай сам...

Насмешливо улыбаясь, люди разошлись. Кто они такие? Должно быть, они знали Степана Степановича, не могли не знать. И, несмотря на это, радовались безобразию, которое его возмущало, в глаза смеялись над ним, говорили ему «ты»... Может быть, и сам Степан Степанович знал этих людей или, во всяком случае, видел? Он встречал, видел множество людей, но запоминал лица только тех, с кем близко сталкивался, — подчиненных и вышестоящих товарищей.

Степан Степанович полез снимать сам. На закругленном цоколе ноги оскальзывались, ухватиться было не за что, поддержать некому, но, будучи человеком настойчивым, он не отступался. Ободрав носки новых, тоже светло-аспидного цвета сандалет, перепачкавшись известкой, Степан Степанович сорвал гнусный листок, сунул его в карман.

«Хозяйство» Егорченки было по пути. Егорченко уже сидел за своим столом. Увидев входящего Степана Степановича, с которым был в приятельских отношениях, он поднялся и пошел навстречу.

— Привет, привет! — подняв приветственно руку, весело заговорил он. У него тоже было хорошее настроение, так как он тоже только что позавтракал, чувствовал себя превосходно, а никаких неприятных происшествий за ночь не произошло.

— Как дела? — спросил Степан Степанович.

— Как говорится, все в порядке, пьяных нет.

— Пьяных, может, и нет. Но и порядка нет! Это что, по-твоему, порядок?

Степан Степанович положил перед Егорченкой листок. Егорченко пробежал глазами, лицо его расплылось в улыбке, но, встретив взгляд Степана Степановича, он тотчас согнал все ее признаки.

— Не где-нибудь, с Доски почета снял! Сегодня про Омельченко написали, завтра про меня напишут...

— Кто же это мог сделать?

— Твое дело такие вещи выяснять.

— Это не совсем так... Ну ладно, займемся. Вот только ты зря снял, Степан Степанович.

— Что ж, по-твоему, я должен был стоять сложа руки? Народ ходит, понимаешь, смотрит, смеется.

— Так-то оно так, но то бы мы из области собаку вызвали, а теперь что, как найдешь?

— Ну, это не мое дело, а ваше... Вон там отпечатков — весь листок заляпан. За границей по таким отпечаткам враз преступников находят.

Листок бумаги действительно по краям был усеян отпечатками пальцев, испачканных

фиолетовыми чернилами, словно оттиски эти были наляпаны нарочно или оставили их безрассудно смелые люди, не боящиеся ничего на свете. Егорченко смотрел на четкие отпечатки папилярных линий и с сомнением качал головой.

— Что ж мне теперь, у всех жителей города отпечатки пальцев брать?

— Дело твое... Да, вот еще что... — Степан Степанович меньше всего хотел, чтобы в городе узнали о вчерашней истории в лесу, истории, в которой он вел себя не самым героическим образом, но теперь решил, что на председателя сельсовета полагаться нельзя, будет вернее, если этим делом займется Егорченко. — Вчера я заезжал в лесничество. Там, понимаешь, шатается по лесу какой-то мальчишка с большой собакой и натравливает эту собаку на народ. Поручи своим людям взять этого мальчишку, прощупай, кто такой, что такое... А собаку пристрелить без всяких разговоров. Нечего нам, понимаешь, баскервильских собак в районе разводить.

— Разберемся. Я как раз на сегодня вызвал участкового, лейтенанта Кологойду. Дам указания, будет полный порядок.

— Пускай свяжется с председателем сельсовета, он в курсе. И привлечет охотника, есть там один, председатель его знает. Я с ним сам говорил — парень, видать, энергичный, напористый, он поможет.

Через несколько часов, когда лейтенант Кологойда прибыл, он получил надлежащие указания и выехал в Ганеши рейсовым автобусом.

Автобус, до отказа набитый корзинами, мешками, чемоданами, их владельцами, неприятностями и огорчениями владельцев, преодолевал последние десятки метров городской булыги. Она была так изрыта и раздолбана, автобус так угрожающе заносило и раскачивало, что неодушевленные предметы приобрели совершенно несвойственную им подвижность и даже прыткость, а пассажиры на некоторое время забыли о своих неприятностях, так как надо было держать вещи, изо всех сил держаться самим, чтобы не слететь с сиденья, не стукнуться головой о потолок, не боднуть соседа и не подвергнуться такому же нападению с его стороны. Федору Михайловичу в этот момент, как и другим пассажирам, было не до того, чтобы выглядывать в открытое окно, хотя он и сидел возле него, поэтому он не увидел, как в кузове встречного грузовика цепляется за крышу кабины, приплясывает, стараясь сохранить равновесие, дед Харламий. Дед Харламий его увидел, закричал и даже замахал рукой, но голос его заглушил рев моторов, дребезжанье обеих машин, а легкомыслие, с которым он оторвал руку от кабины, было тотчас наказано: деда швырнуло на пол кузова и занесло в угол. Когда он поднялся, автобус в отдалении подбрасывал кургузый зад на последних ухабах, выбрался на шоссе и уже легко покотил своих пассажиров, их пожитки и неприятности прочь от Чугунова. Дед в сердцах сплюнул, возле базара слез со своего грузовика и тотчас пошел разыскивать попутный, чтобы ехать обратно.

Федор Михайлович и лесничий молчали. Их попытка опротестовать предписанную вырубку ни к чему не привела. Федор Михайлович как мог подбадривал его, предложил сейчас же по возвращении в лесничество написать соответствующее письмо и ехать в Киев, чтобы не допустить уничтожения леса.

Глядя на мелькающие за окном перелески, первые заставы лесничества, Федор Михайлович невесело думал о том, как много вреда может принести злой дурак. Но разве дураки бывают добрыми? Известный медведь, разможивший голову пустынноку, имел самые благие намерения — убить муху. А благими намерениями, по слухам, вымощена дорога в ад...

Толин папа и Толя молчали тоже. Толя обиделся: папа ни за что не хотел оставить его в Чугунове одного. Утром, когда Толя и Вовка прибежали к Доске почета, портрет Омельченки висел на месте, а листок, приклеенный Вовкой, исчез. Они так и не узнали, видел его кто-нибудь или нет. Следовало проделать все сначала и проследить, какие это даст результаты. Тогда можно было бы Юке и Антону рассказать, что ездил он в Чугуново не зря, а чего-то добился. Разумеется, объяснять, зачем ему нужно остаться в Чугунове, Толя не стал, а папа не видел для этого никаких резонов и, кроме того, сказал, что, если бы даже он и согласился, существует мама, которая не допустит, чтобы он болтался один в городе, и немедленно помчится за ним — Толя ведь ее знает. Толя хорошо знал свою маму и понял, что дальнейшее сопротивление ни к чему не приведет. Тем не менее на папу он обиделся — на одну ночь оставить его он все-таки мог.

А лейтенант Вася Кологойда молчал потому, что рядом с ним сидела хлипкая старушка того вида, который называют «божьим одуванчиком», непрерывно зевала и каждый раз крестила рот, опасаясь, как бы бес-искуситель не проник в это отверстие и не погубил ее душу. Разговаривать с богомолкой не хотелось, да и вообще единственный человек, с которым Васе хотелось бы разговаривать сегодня, была Ксаночка, кассирша городского кинотеатра. Теперь у Васи появилось опасение, что из-за дела с собакой он может задержаться в Ганешах и встреча с Ксаночкой не состоится. Что он, капитан Егорченко, себе думает? Если участковый, так его можно гонять из-за всякой ерунды? Просто возмутительно! Но как бы Вася ни возмущался, человек он был дисциплинированный и знал, что, даже рискуя не увидеть сегодня Ксаночку, не уедет из Ганешей, не доведя дела до конца.

Возле лесничества шофер затормозил, лесничий и Федор Михайлович сошли, автобус покатило дальше, в Ганеши. Увидев на двери замок, Федор Михайлович удивился, но не обеспокоился. Время обеденное, хозяйева должны прийти, прибегут и Антон с Боем, которые, наверное, околачиваются где-нибудь у реки. Он пошел в контору и вместе с лесничим занялся составлением письма в вышестоящие инстанции о недопустимости вырубки. Через некоторое время он вышел и снова подошел к хате Харлампия. Замок висел на месте, никого не было видно и слышно, только поросенок, который прежде похрюкивал, теперь визжал непрерывно, как сирена, которую забыли выключить. Федор Михайлович подошел к хлеву, поросенок смолк, начал тыкаться мордой в загородку, требовательно похрюкивая.

— А, ты просто лопать хочешь? — сказал Федор Михайлович. — Тут я тебе ничем...

И в это время чей-то голос прокричал:

— Антон сказал, шоб вы его не шукали, бо он ховається. Он сам придет, когда будет можно...

То ли потому, что в это время он сам говорил, то ли из-за поросенка, который снова включил свою сирену, Федор Михайлович даже не смог определить, откуда долетел голос.

— Кто там?

Никто не ответил.

— Кто кричал, я спрашиваю! — закричал Федор Михайлович и поспешно вернулся к хате.

Ему снова никто не ответил, ни души не было вокруг, и не доносилось ни звука, кроме визга проклятого поросенка.

— Хватит дурака валять! — вспылит Федор Михайлович, — Кто там прячется? И вообще, в чем дело?

Никакого ответа.

— Слушай, кто ты там такой? Дипкурьер, загробный дух, леший? Вылезай и расскажи, что случилось, почему Антон прячется? Мне некогда играть в прятки! Ну!

Как и прежде, ответа не последовало. Федор Михайлович уже всерьез рассердился и обеспокоился. Если это шутка, то дурацкая.

— Слушай, привидение, если ты не сбежало, — громко сказал он. — Я оставлю на плетне записку, ее нужно немедленно передать Антону.

Вероятнее всего, таинственный вестник убежал, но Федор Михайлович все-таки написал на листке бумаги несколько слов, засунул листок в надтреснутый кол плетня и пошел в контору.

Как только дверь за ним закрылась, из-за плетня протянулась рука, схватила записку и исчезла. Потом из густого куста сирени осторожно выбрался Семен-Верста, пригибаясь, перебежал шоссе и скрылся в лесу. Коровы уже разбрелись в разные стороны, он собрал их и погнал к Соколу.

Время, говорят, лучший врач для душевных ран, но этот врач оказался более нужным Семену-Версте для ран телесных. Эту ночь он спал на животе, так как следы отцовского внушения не позволяли повернуться на спину и даже на бок, Обида на ребят оказалась не такой стойкой и памятной. Тем более, что вопреки его ожиданиям ребята над ним не смеялись и вовсе его не сторонились. Вот и сегодня эта приезжая девчонка, хотя она, конечно, в курсе, сама заговорила с ним, как будто ничего не случилось. Да и другие ребята тоже... В конце концов чем они виноваты, что он ту клятую сумку взял, а потом батько его отодрал? Они же говорили вообще, а не чтобы сумки красть... Ну и что, если он надуется и будет ходить один, как сыч? Не с кем будет и слова сказать. И так целый день коровы да коровы, будь они неладны...

Он был на опушке леса, когда проезжал автобус, увидел приехавшего Федора Михайловича и вспомнил просьбу Антона сказать о нем, но не выдавать, где он прячется. Загнав коров подальше в лес, Семен пробрался к хате Харлампия и спрятался в густой сирени. Он решил на глаза не показываться. Крикнуть, что нужно, и убежать. А то начнутся вопросы да расспросы, он не выдержит, расскажет, а потом этот дядька, наверное, заведется с Митькой и запутает Семена, потому что он рассказал. Нет, лучше без всяких. Хватит с него инициативы. Сказал, и все, а там пускай сами разбираются как хотят...

Он только слишком глубоко залез в куст, крикнул, но не сумел сразу выбраться, а потом побоялся, что Федор Михайлович его увидит и догонит. Поэтому он затаился и ни словом не отозвался на все обращения. И так получилось даже лучше — в руках у него была записка, а передать ее Антону — пустяковое дело.

Антон не оказалось в его тайнике под скалой, и, сколько Семен ни кричал, Антон не отозвался. Коров пора было гнать домой, и Семен направил их кратчайшей дорогой к селу. На полдороге его встретили Юка и Толя, который сразу же по приезде снова стал неразлучным спутником Юки.

— Слышь, ребята, — сказал Семен, когда они поравнялись, — а тот дядька приехал...

— Какой дядька?

— А тот, шо с Антоном.

— Ты ему рассказал?

— Не... сказал только, шо Антон ховається и шоб его не шукали.

— И все?

— А шо?

— Боже мой! — всплеснула Юка руками. — Почему ты такой глупый?!

— А шо? — тупо повторил Семен. — Он ось записку написал...

Юка схватила записку.

«Антон! Какую ты бы там ни затеял игру — в индейцев, Робинзонов, сыщиков и разбойников, — бросай все и немедленно возвращайся. Через два часа мы должны выехать в Киев. Ф. М.»

— Он думает, это игра. Ничего себе игра! Бежим скорее!

Юка и Толя побежали.

Семен смотрел им вслед, и в нем снова опарой поднималась обида. Тоже умные, воображают... Пускай делают теперь сами что хотят, а его, Семена, дело — сторона.

В этом решении он окончательно утвердился, когда возле самого села встретил участкового.

— Слышь, — остановил его участковый, — ты там коров пасешь, по лесу ходишь. Не встречал пацана с большой черной собакой? Вчера или сегодня?

Семен удивленно открыл рот и тотчас захлопнул его.

— Не, — сказал он, — не встречал.

— Может, слышал про него? Знаешь, откуда он?

— Ничего я не слыхал и не знаю... Куды, шоб тебя! — заорал он и хлестнул кнутом комолую корову, хотя та и не думала никуда уходить, а спокойно брела за остальными.

Просто Семен заторопился уйти, чтобы избежать дальнейших расспросов. Надо держаться подальше. Если уж милиция за это дело взялась, значит, хорошая каша заваривается. И нечего ему в ту кашу лезть! Хватит с него! Еще про сумку дознаются...

Юка постучала в дверь конторы и распахнула дверь:

— Извините, пожалуйста, нам нужен дядя Федя.

Федор Михайлович поднял голову:

— Ага, на этот раз не загробный дух, а депутация живых... Что ж, не буду отпираться: я — дядя Федя.

— Ой, как хорошо, что вы приехали! А то тут такое делается, такое делается — просто ужас!..

— Что же именно делается и где Антон? Почему он не пришел сам?

— Он не может! Если его Митька подстережет, он же застрелит...

— Что? — Федор Михайлович поднялся. — Какой Митька? Кого застрелит?

— Боя застрелит и Антона побьет... Ой, пожалуйста, не будем больше разговаривать, пойдемте скорее! Я вам все по дороге расскажу...

— Извините, Вячеслав Леонтьевич, — сказал Федор Михайлович, — вы же слышали...



— Может, мне с вами, помочь?

— Зачем? Я самбист, накостыляю любому Митьке, если он не чемпион... Ну, ведите, вестники бедствий!

Размашисто шагая, Федор Михайлович выслушал историю несчастий, которые одно за другим свалились на Антона, как только он остался один.

— Ну-ну, — сказал он наконец, — тоже мне рыцари-антихламовники... За такую сопливую самодеятельность надирают уши, а то место, откуда растут ноги, потчуют березовой кашей. Ваше счастье, что я принципиальный противник рукоприкладства... Далеко еще?

— Уже близенько, может, с километр осталось или меньше.

Они не прошли и четверти километра, как показался бегущий навстречу Сашко. Далеко отстав от него, ковылял маленький Хома.

— Скорей! Скорей! — на бегу прокричал Сашко. — Там Митька... Митька на остров поехал...

Федор Михайлович побледнел и, сжав кулаки, побежал. Он только поравнялся с маленьким Хомой, как впереди, со стороны озера, прогремел выстрел и почти тотчас второй.

18

Он повернул на звук выстрелов, ребята сзади что-то закричали, но Федор Михайлович не расслышал. Наперерез ему из кустов метнулся черный зверь, сбил его с ног, и оба покатались по земле. Встрепанный, захлебывающийся от восторга, Бой вскочил первый, набросился на своего хозяина, и они снова покатались по земле, теперь уже в радостной игре-сражении, которая изредка случалась дома на ковре. Их окружили подбежавшие ребята, а среди них и сияющий Антон, но для Боя сейчас никто, не существовал. Утробно рыча, он в притворной ярости бросался на хозяина, запрокидывал его на спину; пойманный за шею, валился сам, вскакивал, успевал при этом лизнуть своим огромным язычиной обожаемое лицо и снова притворялся самым свирепым, самым кровожадным зверем...

— Что здесь происходит, граждане?

Позади ребят стоял лейтенант Кологойда, держа руку на кобуре пистолета. Из-за его плеча сконфуженно выглядывал дед Харлампий.

Федор Михайлович поднялся:

— Хватит, Бой, подожди...

Бой не мог успокоиться. Он вьюном вился вокруг его ног, встряхивался, подпрыгивал и лизал в лицо.

— Погоди, тебе говорят!

Бой поднял голову кверху и залаял не громко, протяжно, со всей силой упрека, на какую только был способен.

— Ладно, не сердись, старина, больше я тебя не оставляю...

— В чем дело, я спрашиваю? Что здесь происходит? — повторил Кологойда. Руку с кобуры он

уже снял.

— Ничего особенного: встреча после разлуки... А почему?.. — начал Федор Михайлович и посмотрел на деда.

Харлампий развел руками. Что он мог сделать, если, слезая с грузовика, попал прямо в объятия участкового? Вася Кологойда не терял времени напрасно, в течение нескольких минут узнал у лесничего, чья собака, кто ее хозяин, где он, а у тетки Катри, вернувшейся наконец от сестры из Ганешей, выпытал все, что можно было извлечь из потока руготни, который она не замедлила обрушить на него, своего лайдака-мужа, Федора Михайловича, бандита Митьку и весь белый свет. Митьку или еще кого-нибудь вроде него дед Харлампий, не задумываясь и даже с удовольствием, обвел бы вокруг пальца, но участковому врать не стал и со всей возможной поспешностью повел его к озеру, надеясь, что тот примет чью угодно сторону, только не Митькину, и, стало быть, Антону и Бою ничто угрожать не может.

— Вы хозяин собаки? А кто стрелял?

— Это на острове, Митька Казенный, — сказал Антон.

— В тебя? В вас? — ужаснулась Юка.

— Не знаю... Мы уже сюда переехали... Он, по-моему, даже нас и не видел.

— Митька на острове? — вмешался дед и яростно хлопнул себя по ляжкам. — Ах, стервец, ах, гнида толстомордая... Не иначе как по козе стрелял!..

— По козе?

— Ну да, дикая коза там, с зимы осталась...

— Ага, браконьерство! Ну, мы сейчас возьмем его тепленьким... Где твой пароход, дед? Поехали! А вы, граждане, подождите здесь...

Харлампий с сомнением оглядел дюжую фигуру Васи Кологойды.

— Не будет дела, утопишь ты мой карап, больно тяжел... Да еще ту орясину везти. Ты лучше тут погоди, я сам. Коли он козу подстрелил, от тебя спрячет, а от меня нет — я там каждый кустик знаю...

— Ой, дедушка, вы же с ним не справитесь! — сказала Юка.

— А мне зачем? Он как услышит, кто его тут поджидает, с него враз вся фанаберия соскочит. Он ведь дрянь человечиска: молодец против овец, а против молодца и сам овца...

— Ладно, дед, отчаливай. А я тут пока с этим собачьим делом разберусь. Только смотри, вещественные доказательства обязательно прихвати...

— Уж я его не помилую! — сказал дед Харлампий и скрылся в кустах.

— Ну, — сказал Вася Кологойда, — выкладывайте, что вы тут натворили, зачем на людей собак натравливали?

Участковый выслушал рассказ Антона, поглядывая на ребят. Те дружно кивали, подтверждая сказанное.

— Не врете? — спросил он, хотя было совершенно очевидно, что ребята не врут. — Ну ладно... В общем, как говорится, у страха глаза велики, и всякое такое... Сделать вам ничего не сделают, а неприятности будут...

— В Чугуново я сам приеду, только не теперь. Через час мы должны выехать в Киев, чтобы приостановить вырубку леса. Вернись сюда, разберемся во всем.

— Вот и ладненько!

— Антон, — сказала Юка, — а как же он вас на острове не поймал?

— И сам не знаю... Я еще издали увидел его на лодке, спрятался с Боем в кусты. Бою даже глаза завязал. Хорошо, что он такой умный и послушный, не вырывался... Ну, Митька причалил и сразу чего-то такое на земле увидел...

— Там следы той козы, я видел, — сказал Сашко.

— Он и пошел туда, вправо, и все время смотрел под ноги. Ну, а когда он скрылся, я еще подождал немножко и бегом в лодку. Вот и все.

— Он же мог подстрелить, когда вы плыли...

— Вот я и боялся. Так греб, думал, сердце выскочит...

— А что ему будет, если он козу убил? — спросил Толя.

— Ничего страшного, — ответил Федор Михайлович, — возьмут деньги, то есть оштрафуют.

— Ну нет, — сказал участковый, — этот Чеботаренко рецидивист — раз. Незаконное хранение и пользование огнестрельным — два. Браконьерство — три. Так просто не обойдется, получит, что положено.

...Настроение у Митьки было как нельзя лучше. Правда, первый раз он промазал, зато из второго ствола как врезал — у козы жаканом чуть не полбока вырвало. Шкура подпорчена, ну, летом она все равно дрянь, продать нельзя, пойдет пацанам на шапки. Подбавив «газу» из прихваченной с собой плоской фляжки, он не торопясь принялся свежевать козу, чтобы не таскать на себе требуху. До вечера не так уж далеко, а стемнеет — можно незаметно пронести домой...

Засунув руки в брюшину, он выгребал внутренности, услышал шорох и резко вскинулся. Позади него стоял дед Харламий.

— Тьфу! — сплюнул Митька и выругался. — Что ты тут лазишь, старый черт!

Дед смотрел не на него, а на маленький жалкий трупик козы.

— Ах стервец ты, стервец! Чтоб тебе ни дна ни покрышки! — сказал он. — Ну почто застрелил? Еды — кот наплакал, шкура бросовая...

— Тебя не спросил. Уматывай отсюда, а то как...

Харламий не обратил на угрозу внимания.

— Говорил же я: «Ловить тебя не надо, сам попадешься». Вот и попался.

— Ты попробуй только лязгать — как клопа, придавлю!

— Ну, в клопах-то ты ходишь, а не я, тебя и давить теперь будут. Бери свою добычу, пошли. Там тебя уж поджидают...

— Кто?

— Участковый.

Митька посерел.

— Ты привел? — сразу севшим голосом спросил он.

— Не я его, а он меня... Ну, не прохлаждайся, бежать все одно некуда, а заставишь ждать — осерчает, тебе же хуже будет... Ружьишко, так и быть, я понесу...

Митька потерянно смотрел на свои руки, по кисти перепачканные кровью, на выпотрошенный труп козы. За полминуты не боящийся ни бога, ни черта удалец превратился в мозгляка. Все его самодовольство, уверенность в полной безнаказанности испарились, он вроде бы стал меньше, как бурдюк, из которого наполовину выпустили воду. Он безропотно ухватил козу за задние ноги и волоком потащил за Харлампием.

Харлампий подвел лодку к прибрежной полоске аира, где уже стояли Федор Михайлович, участковый и ребята. Не поднимая глаз, Митька шагнул через борт, поднял козу и зашлепал по воде к берегу, но тотчас бросил козу в воду, панически метнулся обратно в лодку. Бой узнал его и с ревом, уже совсем непритворным, кинулся к нему.

— Назад! — закричал Федор Михайлович. — Бой, ко мне!

Бой нехотя повиновался.

— Серьезный парень! — уважительно качнул головой Вася Кологойда. — Такой даст прикурить...

— Испугался? — ехидно спросил Митьку Харлампий. — Ну герой, прямо пробу ставить некуда. Не жмись, не жмись, иди на расправу...

Со страхом косясь на оскаленные клыки Боя, Митька вышел на берег. Участковый вынул из его карманов патроны, нож, плоскую флягу, открыл ее, понюхал.

— Заправочка?

Ребята с ужасом и отвращением смотрели на изуродованный труп козы, на человека, убившего ее, на его руки, покрытые коростой засохшей крови.

— Поскольку товарищ уезжает, — сказал Кологойда, — а ты, дед, местный, будешь свидетелем... Бери вещественное доказательство, — скомандовал он Митьке. — Никто за тебя носить не будет. Марш в сельсовет...

Федор Михайлович попрощался с участковым, дедом Харлампием.

— Топай! — сказал участковый Митьке.

Втянув голову в плечи, Митька пошел в село, следом за ним Кологойда и дед Харлампий с председательским ружьем. Сопровождаемый ребятами, Федор Михайлович направился к лесничеству. Бой, мотая черным факелом хвоста, бежал впереди.

Пересекая шоссе, Федор Михайлович посмотрел вперед и спросил Антона:

— Ты Серафиме Павловне телеграмму отправил?

— Ой, — спохватился Антон, — совсем забыл!

— Забыл? — зловеще переспросил Федор Михайлович. — Тогда остается только спросить, как спрашивал Отелло у Дездемоны: «Молился ли ты на ночь?» — Антон удивленно уставился на него. — Не молился? Я тоже нет... И, хотя теперь не ночь, нам обоим сейчас будет очень-очень плохо... Посмотри.

Антон взглянул вперед и даже приостановился.

На крыльце дедовой хаты, заломив руки, как статуя бесконечной скорби и укоризны, стояла тетя Сима.

— Полундра, ребята, — сказал Антон. — Спасайся, кто может. Это моя тетя. Сейчас она начнет сеять «разумное, доброе, вечное...»

Предсказание исполнилось, как только они подошли ближе.

— Антон! Что ты делаешь со мной, Антон! — трагическим голосом сказала тетя Сима. — У тебя нет сердца! Ты бессовестный, гадкий мальчишка, я едва не умерла от страха... А от вас, Федор Михайлович, я не ожидала! Я понадеялась, поверила, положила на вас, а вы... С завтрашнего дня у меня путевка, а я уже сдала билет и вынуждена была приехать сюда...

— Только три секунды! — поспешно ворвался в паузу Федор Михайлович. — Через пять часов мы будем в Киеве. Завтра утром я усажу вас в самолет, в десять — вы в Алуште... Что касается остального... Антон, за мной!

Федор Михайлович упал на колени и молитвенно сложил руки. Антон немедленно сделал то же самое. Бой оглянулся, вильнул хвостом и уселся рядом с хозяином.

— Что это значит? — негодуя, воскликнула тетя Сима. — Перестаньте паясничать, встаньте немедленно!

— Не встанем! — мотая опущенной головой и протягивая молитвенно сложенные руки, сказал Федор Михайлович.

— Как вам не стыдно! Встаньте сейчас же!

— Нам стыдно, и потому не встанем! — патетически ответил Федор Михайлович.

— Ребята, — тихонько сказала Юка за их спиной. — А ну!

Она тоже упала на колени и сложила руки, а вслед за ней Сашко и даже маленький Хома. Один Толя отстал. Он подтянул на коленях брюки, выбрал место, где трава росла погуще, и только тогда солидно опустился на колени.

Федор Михайлович обернулся к ним и одобрительно подмигнул.

— Ну что это такое?! — все еще негодуя, сказала тетя Сима, потом невольно улыбнулась и махнула рукой. — А ну вас! Безобразники, и больше ничего...

— Прощены, — шепотом сказал Федор Михайлович. — Три, четыре... Ура!

— Ура-а! — закричали ребята, вскакивая на ноги.

Грузовик лесничества выехал на шоссе. Тетю Симу усадили к шоферу, лесничий сел в кузове на скамье возле кабины.

— Прощайся с друзьями, — сказал Федор Михайлович. — Пора.

Антон обошел ребят и пожал всем руки, даже маленькому Хоме. Ребята были сумрачны. Юка смотрела на Боя, по щекам ее текли слезы. Она старалась удержать их, но они без конца выкатывались из глаз, щекотно ползли по щекам и углам рта. Юка высовывала кончик языка и подхватывала их. Она присела на корточки, обхватила руками огромную башку Боя, тот лизнул ее в щеку, солоноватые слезы пришлись ему по вкусу, и он облизал ей все лицо. Смеясь и плача, Юка поцеловала его прямо в шагреневую нюхалку. Бой деликатно высвободил голову, встряхнулся и чихнул. Ребята засмеялись. Антон со страхом подумал, что сейчас она полезет целоваться с ним, и тогда ему хоть проваливайся сквозь землю. Юка целоваться не полезла. Улыбаясь сквозь слезы, она смотрела на Антона и только сказала:

— Ты нам напиши. Ладно?

— Ага, обязательно, — сказал Антон, влезая в кузов.

Он сел у закрытого заднего борта; рядом, свесив через борт голову, стал Бой. Неподвижной цепочкой стояли ребята поперек шоссе, смотрели на Антона и Боя. Маленький Хома поднял руку и прощально мотал ею над головой. Грузовик зарычал, дернулся, и только тут Антон вспомнил.

— Адрес! Адрес! — закричал он.

Ребята не расслышали. Со стесненным сердцем Антон смотрел на быстро уменьшающиеся фигурки. Они стояли все так же неподвижно, пока машина не скрылась за поворотом. По опушке леса у обочины шоссе гнал свое стадо Семен-Верста. Антон закричал ему, помахал рукой. Семен безучастно посмотрел на него и отвернулся.

Снова распластывались по сторонам поля, стремительно вылетала из-под кузова серая лента дороги, а горизонт неторопливо сматывал на свой невидимый барабан и поля, и перелески, и дорогу. Не замечая толчков, Антон смотрел на узкую ленту ее, которая все дальше и дальше отодвигала лесничество и все, что пережил там Антон за три дня и две ночи. Ему было и хорошо и плохо, так плохо и страшно, что небо и в самом деле казалось с овчинку. А насколько было бы хуже, если бы не оказалось там Юки и Сашка, Сергея Игнатьевича и деда Харлампия, и даже неисправимой ругательницы тетки Катри!..

Антон впервые с удивлением подумал, как много на свете хороших людей, как охотно они помогают другим в беде и как это хорошо — помогать другим, не ища для себя ни выгоды, ни награды...

ОГНИ НА РЕКЕ

## ОТЪЕЗД

Костю провожают мама и Лелька.

Мама — это он еще понимает. А вот Лелька? Мама хотела оставить ее дома, но она подняла такой рев, что пришлось взять с собой. Конечно, ей интересно посмотреть на пристань и пароход, а не провожать Костю. Очень нужно ему, чтобы его провожали, да еще такие, как Лелька! Другое дело — если бы ребята, и особенно боевой, верный друг Федор. Но друга Федора нет, он еще вчера уехал с отцом в Остер, на рыбалку. Они ездят туда каждую субботу. Костя сколько раз просился вместе с ними, обещая привезти целое ведро рыбы, но мама не пускает и говорит, что рыбу можно купить на базаре. Просто она боится, что Костя утонет. А почему он обязательно должен тонуть? В пятом «Б» он плавает лучше всех.

Теперь у дяди он половит рыбку! Вот только удилица пришлось оставить дома. Мама и слушать не захотела:

— Нет уж, пожалуйста! Никаких палок в троллейбус... Я и так с ног сбилась.

Палок! Лучше Костиных удилиц ни у кого нет. Даже у Федора. Настоящие бамбуковые. Неизвестно еще, есть ли такие у дяди. И вообще она не сбилась с ног. Ходит дай бог всякому — Костя еле поспевает и должен делать большие шаги, чтобы не отстать.

— Костя, не вышагивай, как журавль! Что за баловство?

Последние дни ей невозможно угодить — всё не так, всё не по ней. Сама говорит, что с этой командировкой она прямо голову потеряла. Лелька не поняла и удивилась:

— Как же ты, мама, потеряла, если она тут?

— Ты еще маленькая, не понимаешь, — засмеялся Костя.

Костя большой, и он понимает.

Ого, поехать в Каховку! Тут можно потерять голову, даже если едешь не насовсем, а в командировку. Шутка ли — увидеть трассу и место, где будет плотина, и геологов, как они бурят всякие скважины! Но мама волнуется не из-за этого, а из-за пустыков: как оставить Лельку и Костю, что делать с комнатой, почему дядя не приехал и как теперь быть?

Костя предложил самое разумное: ехать всем вместе, с комнатой ничего не сделается, пока они путешествуют. Но мама рассердилась и сказала, чтобы он не выдумывал. Это не путешествие, а деловая командировка, и детям там нечего делать. Вообще, если бы он был положительным человеком, она оставила бы его и Лелю у Марьи Афанасьевны и спокойно уехала. Но он совсем отбилась от рук — это ужасно, когда дети растут без отца! — никого не слушается и, конечно, не будет слушаться Марьи Афанасьевны. А раз так, она оставит Лелю, а его отправит в Полянскую Греблю, к дяде, и тот приберет Костю к рукам.

Ну и очень хорошо! В прошлом году он уже оставался у Марьи Афанасьевны, и с него хватит. «Костя, не горбись!», «Костя, не таращи глаза!», «Почему ты не вымыл руки перед обедом?», «Разве можно так отвечать? Какой невоспитанный мальчик!», «У тебя болит животик?», «Дай лобик, я пощупаю»... Животик, лобик, рубашечка... Костя презирает эти телячьи нежности, его прямо тошнит от них, и он начинает озорничать, даже когда ему не хочется.

А с дядей они, конечно, поладят.

И нечего маме волноваться: он отлично доедет. Что из того, что дядя не приехал? Он же на работе. И телеграмма ведь прибыла, что он будет встречать. Значит, всё в порядке.

Но мама не может не волноваться. Она начала волноваться, едва узнала о командировке, и с тех пор только и делает, что волнуется. Как он доедет? Как будет жить? Что ему дать в дорогу?

А что ему нужно в дорогу? По-боевому, по-походному: трусы и рубашку. Вместо этого мама упаковала полный саквояж да еще набила авоську всякой едой, словно он едет на необитаемый остров. Теперь ей кажется, что непременно что-то забыли, оставили дома, и, раскрыв на коленях саквояж, она начинает все перебирать и говорить Косте, где что лежит.

Костя не слушает. В открытое окно троллейбуса врывается ветер, треплет Лелькины волосы и пузырем надувает Костину рубашку. Уже проехали зоосад, убежала назад ограда Политехнического; презрительно шипя шинами на остающиеся сзади трамваи, троллейбус мчится по Брест-Литовскому шоссе.

— Леля, не крутись на сиденье!.. Так смотри, Костя: здесь рубашки, вот теплая куртка, вот носовые платки...

— Ладно, — не оборачиваясь, отзывается Костя. — Мы прямо до конца, мама?

— С какой стати? Пересядем на трамвай, а потом спустимся фуникулером. И не спорь, пожалуйста, мы и так опаздываем! — говорит мама, хотя Костя и не думает спорить.

Конечно, не штука и опоздать, если увязалась Лелька и ее нужно было переодевать, причесывать и навешивать всякие банты. Вон на голове — как пропеллер.

Отсчитывая пассажиров, щелкает турникет у входа в фуникулер. Вагончик полупустой. Костя садится у окна, но Лелька требует это место для себя, вертит головой во все стороны, чтобы увидеть все сразу — и Днепр, и ползущий снизу вагончик, и толстую черную, блестящую от масла змею троса. Ей жутко смотреть вниз, на землю, и она повизгивает от страха, но тихонько, чтобы мама не забрала ее от окна.

Вагончик, поднимающийся снизу, равняется с ними, потом уползает вверх и становится маленьким, как игрушечный. А черные, тоже все в масле, колеса, по которым бежал трос, все еще крутятся и крутятся, будто торопятся за ним вдогонку.

Смотреть вниз и правда немного жутко. К подножию крутого косогора сбегают сверкающие рельсы, а вокруг вздымаются высоченные деревья. Их вершины тянутся к вагончику, и, если не смотреть на землю, кажется, что он не катится по рельсам, а плывет между деревьями по воздуху, еще немножко — и он оборвет трос, перемахнет через нижнюю станцию, дома Подола[1], да так и понесется поверху через Днепр к синему вдалеке лесу.

Однако трос не обрывается, вагончик никуда не плывет, а плавно останавливается у ступенек. Костя, мама и Лелька торопливо бегут по ним, потом по гулкому бетонному коридору, пересекают душную улицу, и вот наконец пристань.

За деревянным зданием вокзала раздается густой хриплый рев. Лелька испуганно вздрагивает и обеими руками хватается за Костю.

Костя тоже начинает беспокоиться, ему кажется, что они идут слишком медленно и обязательно опоздают.

Они проходят через здание речного вокзала, спускаются по лестнице к пристани — большой барже, на которой высится постройка вроде дома. Из-за этой постройки совсем не видно парохода — торчит одна толстая черная труба с красной каемкой да мачта с фонарями,



подвешенными один над другим. Впритык к барже стоит пароход. Между ними совсем не видно воды, и можно даже не прыгать, а шагнуть прямо с причала на пароход, но дорогу преграждает толстый брус. Остается лишь узкий проход на сходни — огражденные перилами две доски с прибитыми поперек планками

У сходни стоят два моряка. Костя знает, что они не моряки, а водники — моряки бывают на море, а не на реке, — но они совсем как моряки: в синих кителях с блестящими пуговицами и белых фуражках. На фуражках у них «крабы» — золотые якоря, окруженные золотыми листиками. Водники так беззаботно разговаривают и смеются, что Костя ужасается своей торопливости и начинает шагать нарочито медленно, вразвалку, так что матери приходится дернуть его за рукав:

— Костя, не спи, пожалуйста!.. Где я могу найти капитана? — спрашивает она у водников.

— Капитана сейчас нет, — отвечает один из них, наблюдающий за чем-то происходящим в коридоре парохода.

— Как же быть? Что же теперь делать? — теряется мама.

Второй оглядывается на маму, и лицо его светлеет.

Костя знает, что мама красивая, он и сам любит смотреть на нее — конечно, не тогда, когда она сердится и ругает за что-нибудь. Но этот молодой водник с лейтенантскими погонами и такими же белобрысыми, как у Федора, волосами что-то уж очень долго смотрит и улыбается. Это Косте не нравится, и он хмурится.

— А в чем дело, гражданка? — спрашивает белокурый лейтенант.

— Брат мне писал, что надо с капитаном, а его нет... Как же теперь быть? Может, у него есть заместитель?

— Старший помощник занят. Я — второй помощник. Да вы скажите, в чем дело.

Мама сбивчиво объясняет, что вот ей надо отправить сына к брату, бакенщику, в Полянскую Греблю, там брат встретит, а она боится отпускать мальчика одного, ведь там даже нет пристани, но у нее безвыходное положение, ей нужно ехать в срочную командировку, она хотела просить капитана, а его нет...

Лейтенант давно все понял, а мама говорит и говорит, и он не перебивает, потому что ему просто приятно смотреть на нее и слушать. Костя видит это и мрачнеет еще больше.

— Понятно, — говорит наконец лейтенант. — Где же ваш сын? Вот этот сердитый товарищ? А я думал, это брат. Совсем взрослый мужчина!

Костя не поддается на эту грубую лесть и продолжает хмуриться.

— Не беспокойтесь, гражданка, будет полный порядок. Доставим в целости и сохранности. А Ефима Кондратьевича Кичеева я знаю — как же, лучший бакенщик! Сын ваш отлично доедет, выспится, а по дороге мы из него водника сделаем... Проходите, пожалуйста, устраивайте мальчика — времени еще много. Сейчас я вызову проводницу.

Насупленный Костя ступает на сходни, а следом, держа Лельку за руку, идет мама.

— Тетя Паша! — кричит лейтенант. — Проводи пассажира в каюту.

Откуда-то из коридора появляется высокая, худая женщина с длинным носом и тонкими, сжатыми губами. Они сжаты так плотно, что Косте кажется, будто она говорит, не открывая

рта.

Тетя Паша делает несколько шагов по коридору, поворачивает налево и вдруг словно проваливается вниз.

— Боже, что за лестница! — ужасается мама.

— Это не лестница, мама, это трап, — говорит Костя.

— Ну, ты все знаешь, известный моряк... Смотри не стукнись!

Когда это он стучался? Костя пропускает их вперед, а потом лихо, по-моряцки, бежит вниз. Однако трап такой крутой, ступеньки поставлены так тесно, а железные порожки на них такие скользкие, что он едва не летит кувырком и хватается за спасительные поручни. Мама оборачивается на подозрительный шум, но Костя уже восстановил равновесие и чинно шагает со ступеньки на ступеньку.

— Вот каюта, — не разжимая губ, говорит тетя Паша, — устраивайтесь, — и уходит.

Каюта маленькая — здесь всего две койки, у двери шкаф, а между койками узкий столик. Вернее, койка одна, вторую заменяет узкий жесткий топчанчик, обитый клеенкой. Зато над столиком, почти у самого потолка, настоящий иллюминатор — круглое окошечко, прижатое к борту медными барашками.

Костя сразу же взбирается на стол и начинает откручивать барашки.

— Костя, не смей! Слышишь? И вообще — или ты обещаешь, что не будешь открывать окно, или мы сейчас же идем на берег, и ты никуда не поедешь!

Костя слезает со стола: все равно пока в иллюминатор ничего не видно, кроме просмоленного борта баржи, а в дороге он сориентируется...

Лелька бродит по каюте и ощупывает стол, койку, пробковые спасательные пояса, а мама опять повторяет наставления: слушаться дядю, без взрослых не купаться — боже упаси! — и не хватать сразу, как маленький, сладкие пирожки, а сначала есть вареное мясо и яйца вкрутую, потом сладкое; по пароходу не бегать, к краю не подходить и в воду не смотреть, а то закружится голова, — словом, все, что в таких случаях говорят мамы и от чего Косте становится невыносимо скучно.

Костя пробует разговаривать, как тетя Паша, не разжимая губ, но мама пугается.

— Почему ты мычишь? У тебя болят зубы?

Костя тоже пугается — как бы из-за этого его не оставили дома! — и начинает говорить нормально, как все люди, а не как тетя Паша.

Времени действительно оказывается много, и Костя томится той неопределенностью, мучительным междувременьем, когда уже попрощались, все сделано и сказано и нужно только ждать настоящего расставания. Мама еще что-то такое говорит и, не отрываясь, смотрит на Костю. Большие карие глаза ее делаются тревожными и жалостливыми. Лелька тоже притихла и подозрительно пыхтит — значит, сейчас задаст реву. От всего этого Косте становится так беспокоенно, что впору заплакать самому, но тут наверху опять густо и хрипло ревет гудок; Лелька бросается к маме в колени, мама спохватывается: им пора уходить. Они выходят в узкий коридорчик. По сходням торопливо бегут опоздавшие пассажиры, толкают их мешками и корзинами, но мама ничего не замечает. Она опять тревожно и жалостливо смотрит на Костю, потом крепко целует его несколько раз и торопливо повторяет:

— Смотри же, Костик, будь умным. И пожалуйста, ничего не выдумывай!..

Лелька тоже тянется целоваться. Костя старается незаметно отпихнуть ее, но мама замечает:

— Как тебе не стыдно, Костя! Фу, какой ты грубый! Поцелуй сестру!

А Костя вовсе не грубый, он просто терпеть не может всяких нежностей. Однако теперь ничего не поделаешь. Костя покорно нагибается и подставляет щеку. Ну конечно! Лелька, как только вышли из дому, выклянчила мороженое, и теперь лицо и руки у нее липкие, как тянучка. И кто это вообще выдумал целоваться!

Мама и Лелька сходят на пристань и становятся у перил.

Костя хочет подойти поближе, но его отталкивают:

— Сюда нельзя, мальчик, сейчас отчаливаем!

Костя еще раньше заметил ведущий наверх трап, в люк которого заглядывает голубое небо. Он взбирается по трапу и оказывается на верхней палубе.

Посреди палубы, перед высокой черной трубой, — застекленная будка, и там виднеется рулевое колесо — штурвал. С обеих сторон, по краям палубы, — стеклянные будочки поменьше, и там сверкают начищенные медные трубы. «Переговорные», — догадывается Костя. Значит, он на капитанском мостике. А не турнут его отсюда? Нет, не похоже. На носу и на корме стоят деревянные скамейки, как в саду, и даже столики, будто это не палуба, а закусочная. На скамейках сидят пассажиры, и никто их не туряет. Значит, это такой пароход, где капитанский мостик и палуба вместе.

Вокруг всей палубы идут поручни из двух железных прутьев. Костя подходит к поручням, берется за них и широко, по-моряцки, расставляет ноги. Эх, если бы видел пятый «Б» или хотя бы боевой друг Федор, как Костя стоит на капитанском мостике! Ну, не совсем на мостике — на палубе, но мостик-то вот он, рядом!..

Но пятого «Б» нет, нет и друга Федора. Внизу, на пристани, стоит мама, и встревоженные большие глаза ее ищут Костю. Лелька первая замечает, его и кричит:

— Вон он! Вон он!

Мама тоже находит его глазами, улыбается, что-то хочет крикнуть, но в это время звонит колокол, Костю обдает брызгами, и за его спиной трижды оглушительно ревет. Люди на пристани что-то говорят или кричат, но из-за этого рева ничего не слышно, и кажется, что они, как рыбы, беззвучно открывают рты.

— Отдать носовую!

Это командует белокурый второй помощник. Он стоит в левой стеклянной будочке и что-то говорит в раструб сверкающей медной трубки, а потом затыкает его пробкой на цепочке.

Палуба, железный прут поручней начинают мелко дрожать. На нижней палубе, прямо под Костей, с железных тумб сматывают трос; он провисает, и тогда другой конец его, заканчивающийся петлей, снимают с тумбы на пристани и бросают в воду. Узкая полоска воды между пароходом и пристанью ширится. Эх! Столько надо увидеть — и нельзя: мама стоит у перил, не сводит с Кости глаз, и, значит, уйти никак не возможно. Обижать ее Косте не хочется. Вон — улыбается, а по щекам текут слезы, и она вытирает их кончиками пальцев.

И чего плакать, спрашивается? Что он, на год, вокруг света едет, что ли? Однако внутри у

Кости что-то ёкает. Все-таки они никогда не различались. Раньше Костя ездил только по железной дороге — и то вместе с мамой, и он был тогда такой маленький, что уже плохо помнит ту поездку.

Чтобы окончательно не разжалобиться, Костя свирепо морщит лоб, еще крепче сжимает поручни и не обращает внимания на Лельку, машущую рукой. Она начала махать, как только увидела Костю на палубе, и с тех пор непрерывно машет, но Костя не отвечает; она топает ногами и обиженно кричит:

— Костя! Ну Костя же!

Мама тоже поднимает руку и машет платочком.

Нос парохода отваливает от пристани, пристань уплывает влево, назад, люди становятся меньше, и теперь похоже, что там стоят не мама и Лелька, а две девочки — одна большая, другая совсем маленькая. Костя машет им в ответ, пока может различать их фигуры, потом опускает руку. Теперь они, наверно, поднимутся на горку и долго будут смотреть на пароход, увозящий Костю.

## «АШХАБАД»

Пароход разворачивается носом по течению и, зачем-то протрубив еще раз, ходко бежит мимо Владимирской горки, переправы на пляж и Труханова острова. До самой воды остров зарос фанерными грибками и киосками, а настоящая зелень отступила подальше от берега, оставив его под жестоким солнечным накалом.

Навстречу пароходу, вздымая седые пенные «усы», мчится скутер. Костя провожает сидящих в нем людей завистливым взглядом и начинает обстоятельно знакомиться с пароходом.

У самых краев палубы, перед стеклянными будочками, справа и слева стоят укрытые брезентом шлюпки. И на носу каждой написано «Ашхабад». Только на одной шлюпке «д» почему-то размазано, и получается просто: «Ашхаба». Возле стенок будочек уставлены в ряд пустые белые ведра. На каждом синей краской нарисована только одна буква, но ведра стоят так, что опять-таки получается название парохода — «Ашхабад». Это слово написано и на спасательных кругах, подвешенных к поручням, и на колесных кожухах. Палуба совсем настоящая — деревянная, из узких, длинных дощечек, пазы между ними проконопачены и залиты смолой.

Костя принимается считать, сколько дощечек уложено поперек палубы, но мачта вдруг начинает отклоняться назад, пока не ложится почти совсем горизонтально: «Ашхабад» приближается к мосту, и мачту опускают, чтобы не зацепить мост.

Пароход густо и внушительно гудит. Теперь Костя видит, что гудок — медная дудка с двумя полукруглыми дырами — укреплен сзади трубы. Оттуда сначала вырываются брызги, пар, а потом уже начинается басистое гуденье.

«Ашхабад» проходит между быками пешеходного моста, почти у самого левого берега. Костя пытается рассмотреть через настил бегущие поверху машины и автобусы, но там, кроме переплетения бревен и балок, ничего не видно. На самом верху быка один над другим висят фонари, к ним из воды отвесно поднимаются скобы — ступеньки. Костя прикидывает, легко ли туда взобраться, и решает, что Федор, конечно, заберется, и он, Костя, хотя высоко и страшновато, залезет тоже. Ничего особенного.

Позади остаются заросшие кручи правого берега, уткнувшись в небо колокольня Лавры, железнодорожный мост. Берега отступают, словно приседают, и укутываются мелкой порослью лозняка. Немногочисленные пассажиры на палубе подставляют ветру спины, устраиваются на корме за трубой, где из машинных люков идет теплый воздух, пахнущий нагретым маслом.

Если заглянуть в люк — там видны вентили, трубы в толстых коричневых обмотках, словно в компрессах, и блестящие рычаги, которые снуют взад-вперед, как локти. На одной из труб сохнет тельняшка, на другой — черные брюки.

Костя спускается вниз — получше рассмотреть машину. Здесь палуба железная и вся утыкана пупырышками, чтобы ноги не скользили. Но железо это так отшлифовано башмаками и сапогами, что пупырышки мало помогают, и оно все равно скользкое. Костя находит трап в машинное отделение, но только заносит ногу через высокий железный порог, как его окликают:

— Ты зачем? Туда ходить нельзя!

Костя поворачивается и идет в салон на корме. Здесь пассажиров мало, они сидят порознь и молчат. Только три тетки, зажав между ног корзины и мешки, склонились друг к другу и, как заводные, кивают головами четвертой, которая что-то негромко и горячо рассказывает. Костя, как бы нечаянно, проходит мимо — а вдруг что-нибудь интересное!

— Прихожу я — и что же вы думаете, милаи? — трагически говорит рассказчица. — Телушка-то не поёна!..

Все ясно. Телушки Костю не интересуют.

Поодаль, у окна, сидит женщина с усталым липом. Возле нее и под жестким диванчиком сложены узлы, мешки, деревянные чемоданы с большими висячими замками. Женщину разморила жара и усталость, она то и дело клонится вправо, к большому узлу, приткнувшись к которому спит девочка лет четырнадцати. Другая девочка, поменьше, с мелкими русыми кудряшками на лбу, бродит по салону, потом забирается с ногами на диванчик и смотрит на убегающие назад пологие зеленые берега. Ей, видно, тоже хочется спать — она широко, всласть зеваает.

— Проглотишь! — говорит Костя и тоже взбирается на диванчик рядом. — Ты что, не выспалась?

— Ага. Мы всё едем и едем, и никак не выспишься...

— Да ведь пароход недавно отошел.

— А мы дальние. Мы с Сахалина едем. Три недели уже.

— С Сахалина? — переспрашивает Костя, жадно и недоверчиво оглядывая девочку.

Он заговорил с ней от скуки — что за компания какая-то девчонка! — но теперь она кажется ему необыкновенной, и даже выгоревшие мелкие цветочки на ситцевом застиранном платье — удивительными.

— Врешь небось?

— А с чего бы я врала? — равнодушно отвечает девочка. — Вон хоть у мамы спроси.

Костя оглядывается на женщину с усталым лицом, но та уже совсем склонилась на узел и сладко спит.

— А что вы там делали?

— Известно что — жили. Папа на рыбзаводе работал — там и жили, в поселке.

— И ты океан видела, Великий или Тихий?

— Ну да, мы ж на берегу жили.

— И по морю на пароходе плавала?

— А как же! Иначе до Сахалина не доберешься. Можно еще на самолете, так у нас вещей много.

Девочка говорит спокойно и равнодушно, а Костю разбирают зависть и восторженное любопытство. Он не понимает, как можно говорить об этом хладнокровно. Да если бы он побывал на Сахалине, на берегу океана!.. Ему хочется узнать сразу все обо всем, но девочка по-прежнему отвечает вяло и скучно.

— Эх, ты! — укоризненно говорит Костя. — Что ты как вареная? Столько видела, а рассказать не можешь!

— Это я спать хочу. Вот приедем, выплюсь, тогда...

— А вы куда едете?

— Сейчас к бабушке, в Черкассы, а потом — в Каховку.

— В Каховку? — Любопытство и зависть Кости разгораются еще больше. — Зачем?

— Папа на строительстве устроиться хочет.

— А ты?

— А что ж я? Я учиться буду. Папа хотел раньше ехать, а потом решил подождать, когда у меня и Сони уроки кончатся. Как кончились, мы и поехали.

— А где ж твой отец-то?

— В буфете. Он давно уж пошел. Пиво, наверное, пьет.

— Пойдем, покажи.

— Да, а если оттуда прогонят?

— Не прогонят!

По гулкой железной палубе они проходят в носовое помещение, где расположен буфет. За четырехугольным столом против буфетной стойки сидят трое: полный лысый человек в очках, смуглый юноша и худощавый, с загорелым, словно обожженным, лицом мужчина в бумажной фуфайке, заправленной в брюки. Перед ними стоят кружки с пивом, над которыми пузырятся белоснежные пенные шапки.

— Ты что, за мной пришла? Соскучилась? — замечает девочку мужчина в фуфайке. — Сейчас пойдем!

Он погружает свои светлые, как пиво, усы в пену, потом отставляет кружку, вытирает усы и обращается к собеседникам:

— Я ведь сам родом-то оттуда, из Алёшков... Как же я мог на месте усидеть, когда на моей родине такое началось? Уж теперь-то мы нашу землю образуем! — Он стучает по столу кулаком так, что кружки подпрыгивают, одним глотком допивает оставшееся пиво, поднимается, и только теперь становится видно, какой это большой и сильный человек. — Пошли, Настя!

Сахалинцы уходят. Юноша пьет пиво, а толстый мужчина, потирая лысину, смотрит вслед ушедшим и говорит:

— Вон как — за двенадцать тысяч верст человек прискакал!..

— А как же? — отвечает юноша. — Я вот, как курсы кончу, тоже туда поеду.

Они умолкают.

Костя ожидает продолжения разговора, но лысый уходит, а юноша углубляется в книгу.

Через некоторое время Костя опять идет в кормовой салон, где расположились сахалинцы. Однако Настя уже спит, положив голову на колени матери; спит и отец, вытянувшись на узком диванчике во весь свой огромный рост.

Не спит только старшая сестра Насти — сторожит вещи. Костя пробует с ней заговорить, но она, опасливо моргая подпухшими веками, косится на него и молчит. Как все-таки несправедливо бывает в жизни, думает Костя: вот такую сонную клушу везут в Каховку, а он не может туда попасть!..

Однако делать здесь нечего, и Костя уходит в буфет. Там большие окна, из них видно все вперед и по сторонам, а дверь ведет на нос, где на барабан намотана якорная цепь и торчат какие-то рычаги. Костя открывает дверь и выходит туда, но его догоняет возглас:

— Мальчик, не ходи на нос! Ты же видишь, что на двери написано.

Он ничего не собирался делать, а только хотел посмотреть якорь и как бегут волны от носа. Нет уж, если здесь все запрещается, лучше сидеть в каюте!

У трапа кто-то берет его за плечо:

— Ну, герой, нравится тебе у нас?

Перед Костей стоит тот самый лейтенант, помощник капитана, и улыбается. Костя разозлен своими неудачами, улыбка лейтенанта злит его еще больше, и после секундного колебания он сердито буркает?

— Нет!

— Ну? Почему?

— Что это за пароход такой, что ни пойти, ни посмотреть!..

— Ясно. Тебе хочется и машиной поуправлять, и штурвал покрутить, и неплохо было бы в мегафон крикнуть: «Лево на борт!» или еще что-нибудь в этом роде. А?

— Ничего подобного! Просто я хотел посмотреть.

— Ага. Ну, пойдём посмотрим. Что здесь в духоте сидеть!.. Вот, — говорит помощник, — после машины самое главное дело на пароходе — руль. Руль там, внизу, под кормой, к нему идут штуртросы от этого штурвала. Рулевой поворачивает штурвал — поворачивается и руль...

— Что, товарищ помощник, новая кадра? — улыбаясь, спрашивает рулевой.

— Все может быть. Глядишь, и нас сменит.

— А что ж? Свободная вещь.

— Где же нактоуз? — спрашивает Костя.

Штурвал стоит у самого окошка, и перед ним нет компаса, а он всегда бывает на судах, о которых Костя читал.

— Видал? Подкованный товарищ! — смеется помощник. — Компас нам не нужен. Мы ведь не по морю — по Днепру ходим, и здесь берега и все обстановочные знаки перед глазами.

— А карты?

— Карта тут, — стучит себя по лбу рулевой.

Лицо Кости выражает недоумение, и помощник поясняет:

— Мы реку наизусть должны знать — снизу вверх и сверху вниз, вдоль и поперек.

— Тут, пока на карту глядишь, так в берег и врежешь, — говорит рулевой. — Мы и без карты не заблудимся...

— Одерживай! — прерывает его помощник, но рулевой и сам уже поворачивает штурвал, и поворотное движение парохода замедляется. — Что-то мне не нравится этот перекал: раньше времени обнаруживается.

— Да нет, нормально. Вода быстро спадает, вот он и лезет наверх, — говорит рулевой.

— Ну, что тебе еще показать? Переговорную трубу? Через нее мы передаем команду в машинное отделение — какой держать ход.

— А можно... — начинает и не оканчивает Костя.

— Нет, зря болтать нельзя.

— Я только послушать.

— Это — пожалуйста.

Помощник вынимает пробку, Костя прижимается ухом к раструбу. По трубе доносится смутный, неясный шум и учащенное сопенье, словно кто-то громко дышит Косте в самое ухо.

— А почему это мы плывем-плывем, а на берегах ничего нет — ни городов, ни сел?

— Есть, только редко — где высокие места. Видишь, берега какие низкие. Весной, в полную воду, Днепр их все заливает. Он на километры, брат, разливается. Если бы тут сёла были, их бы тоже заливало. А сёла подальше, на взгорьях, стоят, чтобы их вода не доставала. Вот потому и кажется, что берега пустынные.

Помощник обходит вместе с Костей всю палубу, показывает фонари бортовых огней — зеленый справа и красный слева, — растрыбы вентиляторов, такие широкие, что Костя свободно может в них пролезть. Белые снаружи и красные внутри, они похожи на огромные раскрытые рты.

— А почему там, внизу, пол железный?



— Осталось от старого. Раньше наш пароход был буксиром, потом его переделали в пассажирский — сделали надстройку, каюты... А палуба осталась, как была...

Белокурого помощника окликают.

— Сейчас, — отзывается он. — Ну, вот что, друг: как тебя звать? Костя? Гуляй, Костя, сам, меня зовут. Но смотри, к борту не подходить! Раз я твоей маме обещал — я отвечаю. Понятно?

— Есть к борту не подходить! — отчеканивает Костя.

— О! Совсем моряк! Нет, из тебя определенно будет толк! — смеется помощник и сбегает по трапу вниз.

В общем, он оказывается ничего, подходящий парень, этот помощник. А если все время улыбается, так что здесь такого? Просто он молодой, веселый, ему все нравится.

Костя долго смотрит на бегущую за бортом вспененную воду; в причудливых водоворотах ее мелькают воображаемые картины, одна заманчивее другой. А когда он поднимает голову, далеко впереди, у самого горизонта, клубится розовый дым, словно облака на рассвете.

Облака растут, поднимаются выше и мало-помалу желтеют. На них появляются тени, они зеленеют, и скоро Костя догадывается, что это не дым и не облака, а высокий крутой берег, поросший редкой зеленью. Сначала кажется, что пароход удаляется от него, потом река резко поворачивает вправо, и кручи стремительно растут, заслоняют полнеба. Справа по ним карабкаются вверх редкие хаты. На берегу, у подножия крутого косогора, приткнулась кургузая баржа — пристань. Пароход подваливает к барже. Там у перил толпятся девочки, а над ними, поминутно оглядываясь, как наседка, возвышается фигура учительницы или пионервожатой.

— Что это? — спрашивает Костя у старичка, сидящего на палубе.

— Триполье.

— То самое?

— Какое то самое? Триполье — одно, другого нету.

Костя кубарем слетает по трапу к сходням. Их уже установили, и по ним гуськом торопливо и осторожно идут школьницы, а учительница стоит у перил и, приподняв руку и шевеля губами, пересчитывает девочек.

— А ну, Костя, проводи их на палубу! — окликает его знакомый помощник.

— Нет-нет, в каюту! — кричит учительница.

— В каюту так в каюту! — соглашается помощник. — В кормовой салон.

Косте хочется сойти на берег, но отказать помощнику нельзя. Он идет в кормовой салон, а за ним, шушукаясь, табунком идут девочки. Следом появляется учительница; школьницы окружают ее, рассматривают салон, охают, ойкают и поднимают такой галдеж, что Костя сейчас же уходит. Однако на берег сойти не удастся. Уже звонит колокол, пароход гудит и отваливает от пристани. Из-под колесного кожуха со свистом и шипеньем вырывается пар, окутывает пристань, еще и еще — пароход будто громко отдувается, набираясь в дорогу сил.

Взобравшись на верхнюю палубу, Костя со стесненным сердцем жадно смотрит на обрывы. Крутые косогоры пусты и безлюдны. На полугоре, там, где на глинистой почве торчат редкие

пучки травы, бродит белая коза. Она щиплет траву, потом поднимает голову, жуя, смотрит на пароход и опять принимается щипать.

Триполье! Место гибели и бессмертной славы киевских комсомольцев! Совсем недавно, перед концом учебного года, пионервожатая рассказывала о Трипольской трагедии, о том, как в 1919 году комсомольский отряд выступил из Киева на борьбу с кулацкой бандой «зеленых», как пришли они в Триполье и погибли здесь в неравном бою. Вот, может быть, с этой самой кручи Люба Аронова, Миша Ратманский в последний раз смотрели на Днепр, на безбрежные приднепровские дали, посылая прощальный привет родине...

Костя ищет взглядом памятник, однако ничего похожего на памятник на берегу нет. Косте жаль, что его нет — большого красивого памятника, такого, чтобы он был замечен отовсюду и чтобы, завидев его, пароходы давали длинный печальный гудок, а пассажиры, стоя в строгом молчании, смотрели на него и с благодарностью думали о людях, отдавших жизнь за родную советскую власть, за коммунизм...

Памятника отсюда не видно, пароход не дает гудков, а торопливо и деловито шлепает плицами по воде. Старичок, сидящий на палубной скамейке, сосредоточенно сдирает кожу с копчушки.

Костя становится «смирно», отдает пионерский салют и долго смотрит на уплывающие вдаль трипольские кручи.

Солнце спускается ниже, ветер усиливается, и Костя идет в каюту за курткой. На обратном пути он заглядывает в кормовой салон. Школьницы отгородили там диванчиками угол, кое-кто уже улегся, подложив под голову узелок, остальные слушают учительницу.

Две девочки вышли из салона и стоят, оглядываясь, возле двери в коридоре. Одна из них, повыше и, должно быть, похрабрее, спрашивает у Кости:

— А наверх можно?

— Можно, — разрешает Костя. — Пойдемте, я покажу.

Он лихо, не держась за поручни, поднимается по трапу, а следом, топоча большими ботинками на тонких, голенастых ногах, карабкаются девочки.

— Вы в каком классе? — спрашивает он, остановившись на палубе.

— Я в пятый перешла, — отвечает девочка повыше.

— А я в четвертый, — говорит меньшая.

— А-а!.. — пренебрежительно тянет Костя. — А куда едете?

Девочкам холодно. Они ежатся под ветром, поворачиваются к нему спиной, придерживают руками раздувающиеся платица, но не уходят и наперебой рассказывают, что едут они в Канев, на могилы Тараса Шевченко и Аркадия Гайдара, что Ольга Семеновна очень хорошая, только она все время боится, что кто-нибудь потеряется или упадет в воду, и никуда не пускает, а они в первый раз едут на пароходе, и им все интересно.

— Если впервые, тогда конечно, — снисходительно говорит Костя. — Вот смотрите... — И он начинает им показывать и рассказывать то, что сам услышал от помощника час назад, но так,

будто он родился и вырос среди этих рубок, штуртросов и трапов.

Девочки синеют от холода, кожа у них становится пупырчатой, как у ошипанных гусят, но они с таким изумлением и восхищением смотрят на Костю, что он загорается еще больше и принимается рассуждать о том, что речной пароход — это ерунда на постном масле: плывешь между берегами, как по комнате ходишь, неинтересно, а вот на море — это да, там нужно идти по компасу, определяться по солнцу! И потом, здесь никаких бурь не бывает, безопасно, как в ванне, а на море — как грянет шторм, только держись...

Завороженные слушательницы проникаются к нему таким уважением, что уже не решаются говорить ему «ты».

— А вы моряк? В отпуску? — спрашивает старшая.

— Еще пока нет, — немного смешавшись, говорит Костя. — Но скоро буду... Я сейчас к дяде еду. Вот он у меня... моряк, — неожиданно для себя добавляет он.

Но тут к ним подбегает испуганная, рассерженная учительница и хватает за руки окончательно посиневших Костиных слушательниц:

— Девочки! Что это такое? Разве можно уходить без спросу?.. И посмотрите на себя, на кого вы похожи... А тебе, мальчик, стыдно! Ты старше, должен понимать...

— Я же их не звал, они сами напросились, — неловко оправдывается Костя.

Учительница не слушает его оправданий и уводит окоченевших, но довольных новым знакомством девочек.

## ДОМИК НА БЕРЕГУ

Одному Косте становится скучно и тоже холодно. Идти к школьницам после такого происшествия неудобно, да и что он будет делать с девчонками? Белокурого помощника тоже нигде не видно, и Костя спускается к себе в каюту. Ему почему-то все время неловко, но он не может понять почему и решает, что просто хочет есть. Костя достает мясо, вареные яйца, пирожки с клубникой и задумывается. Колебания длятся недолго: какая разница, что сначала, а что потом? Почему обязательно первым надо есть мясо? Сначала можно съесть пирожки, а потом все остальное. Он приканчивает пирожки, отрезает кусок мяса, но есть ему больше не хочется, и все укладывается обратно в авоську.

Костя взбирается на столик и смотрит в иллюминатор. Солнце садится, глинистые уступы, песчаные отмели на левом берегу розовеют, а вода становится темнее, словно густеет и тяжелеет.

Голода больше нет, но чувство неловкости не покидает Костю. Что он такое сделал? Увел девочек? Он их не уводил, они сами увязались. Неправильно говорил про море? Все правильно. Вот — соврал про дядю! И зачем соврал? Он же сейчас не моряк, а бакенщик...

Дядю он видел всего дважды. Приезжал дядя чаще, но Костя то был в пионерском лагере, то на уроках — и так получалось, что они почти не виделись. Костя помнит гулкий голос дяди,

заполнявший всю их комнату, тяжелые шаги, на которые тонким треньканьем отзывались в буфете рюмки, обвисшие густые усы, усмешливые глаза под такими же обвисшими бровями и дядин табак жесточайшей крепости.

Когда дядя закуривал, мама прикладывала руки к горлу и с ужасом спрашивала:

— Боже, как ты куришь эту отраву?

— А что, силён? — усмехался дядя. — От комаров в самый раз.

— Но ведь мы же не комары? — говорила мама и настежь распахивала оба окна.

Даже несколько дней спустя после отъезда дяди в комнате ощущался густой, резкий запах самосада. Узнав, что дядя бакенщик, Костя — тогда он учился в четвертом классе — обрадовался и принялся расспрашивать, думая, что это что-то вроде маячных сторожей на необитаемых островах, о которых он читал в книжке Жюль Верна «Маяк на краю света», но дядя посмеялся и сказал, что ничего похожего нет: маяк — это маяк, а бакен — это бакен. Просто маленькие треугольные будочки на плотках. Вечером на них надо зажигать фонарь, а утром — гасить, вот и все. Острова есть, и они все до одного необитаемые. Обитать там и нельзя: в половодье их заливают, на песчаной почве, кроме лозняка и травы, ничего не растет.

Ничего интересного там Костю не ждет, разве только накупается всласть да половит рыбу. Однако и это придется делать одному, что уж и вовсе скучно. У дяди ребят нет, есть только дочка Нюра.

Конечно, будет скучно... Так скучно, что глаза Кости сами собой закрываются, и он засыпает...

— Эй, друг! Вставай, приехали.

Кто-то трясет Костю за плечо, он вскакивает и жмурится от яркого света под потолком. Разбудил его все тот же белокурый помощник.

— Так ведь еще ночь!

— Ничего, дома отоспишься. Подходим к Полянской.

Костя забирает свой саквояж, авоську и идет за помощником на нижнюю палубу. На пароходе безлюдно и тихо, только учащенно дышит машина да гулко бьют по воде плицы колес. Вокруг парохода темно и тихо, берега не видно, не видно даже воды, только сбоку, внизу, струятся ломкие отблески зеленого бортового огня.

«Куда же это он меня?..» — растерянно думает Костя.

Пароход дает два гудка — один подлиннее, другой короткий.

— Зря гудит, — говорит помощник, — вон он уже едет, Ефим Кондратьевич.

— Где? Где? — вертит головой Костя.

— А вон, впереди.

Впереди справа мелькает желтый огонек. Он исчезает, потом появляется снова и медленно плывет наперерез «Ашхабаду». Пароход стопорит машины, замедляет ход. Огонек, показавшийся страшно далеким, вдруг оказывается совсем близко, раздваивается, и Костя различает уже фонарь на носу лодки, змеящееся отражение его, бегущее по воде, а за

фонарем — большую темную фигуру, которая то наклоняется, то выпрямляется.

Лодка подходит вплотную к «Ашхабаду», человек в лодке поднимается во весь рост, и голова его оказывается на уровне палубы. Теперь Костя узнает его, несмотря на то, что в скудном свете кажется, будто усы у него занимают пол-лица, а вместо глаз большие темные впадины.

— Здравствуй, дядя! Это я, я приехал! — говорит Костя. — Только как же мне слезть?

— А вот так, — говорит помощник.

Он берет Костю под мышки и опускает через борт вниз, там его подхватывают дядины руки и сажают на качающуюся скамейку.

— Ну как, всё в порядке?

— Всё. Спасибо, — говорит дядя.

— Не за что. Будь здоров, Ефим Кондратьевич, — отвечает помощник.

— Держись крепче! — говорит Косте дядя и сильно отталкивается от парохода.

Лодка стремительно уходит в черную пустоту. «Ашхабад» негромко и коротко, словно боясь спугнуть ночь, гудит, колесо медленно поворачивается, потом все быстрее и быстрее, пароход проходит мимо лодки, и скоро контуры его расплываются в темноте, лишь светятся окна кормовой каюты. Но вот исчезают и они, и остаются только еле различимые волны, покачивающие лодку.

— Ну, как там дома? Как мама? — спрашивает дядя, гася фонарь и берясь за весла.

— Всё в порядке. Мама едет в командировку.

Дядя спрашивает еще и еще, но Костя отвечает вяло и невпопад.

— Да ты, брат, спать хочешь?

— Нет, почему?.. — неуверенно протестует Костя.

Спать он все-таки хочет. Предутренняя свежесть пробивается даже через курточку, а уж через легкие брюки и подавно. Особенно достается Костиным коленкам, как их ни сжимай и ни прикрывай руками.

Потом Костю занимает вопрос: как без компаса дядя находит дорогу, знает, куда грести в этой темноте?

А дядя даже не оглядывается и сильными толчками гонит лодку вперед. Когда весла выходят из воды, слышно, как торопливо и вкрадчиво плещут о борта мелкие волны.

Темнота впереди сгущается, растет и наплывает на них.

— Держись! — опять предупреждает дядя.

Костя хватается за борта, но все-таки кланяется вперед и едва не стучается подбородком о свои колени — так сильно и внезапно лодка въезжает носом на берег.

— Приехали! Забирай свое имущество.

Костя вылезает из лодки, дядя вытаскивает ее на берег чуть не до половины, затем они по обрыву карабкаются вверх и входят в маленький домик. Там темно и тихо.

Дядя зажигает фонарь и показывает Косте постель. Он кое-как раздевается, откидывает одеяло и уже не слышит, как дядя укрывает его, что-то приговаривая, потом берет фонарь и уходит...

Костю будит высокий и пронзительный звук. Через открытое настежь окно на только что вымытый, подсыхающий пол падает солнечный луч. Дверь распахнута, через нее видно далекое чистое небо. Странный звук не утихает, к нему примешиваются какие-то вздохи и всхлипывания. Костя оглядывается и видит, что у стола, спиной к нему, стоит девочка. Светлые рыжеватые волосы ее заплетены в две косы, связанные красным бантиком. «Конопатая, — решает про себя Костя. — Рыжие, они всегда в веснушках».

Плечи девочки опускаются и поднимаются, высокий и пронзительный, как причитанье, звук идет от нее.

— Ты чего реवेशь? — спрашивает Костя, приподнимаясь на локте.

Девочка стремительно оборачивается. На лице ее нет ни одной веснушки, у нее белые мелкие зубы и ясные голубые глаза.

— Я не реву, я пою. Я мешу тесто и пою, чтобы не скучно было. А похоже, что реву? Да? Ты уже проснулся? Да?

Она говорит так быстро, что Костя не успевает ничего ответить, но девочка и не ждет ответа.

— Я знаю — ты племянник. Моего тато сестра — твоя мама. Да? Ты — Костя Голованов. Только почему Голованов? Может, потому, что у тебя голова большая? Да? Нет, голова обыкновенная. Значит, это просто такая фамилия. У нас в пятом классе есть девочка, так у нее фамилия Здравствуй. Галя Здравствуй. Девочки здороваются, а она думает, что ее зовут, и откликается. Правда, смешно? Да?

Сначала Косте хочется рассердиться, потом засмеяться, но он не успевает ни того, ни другого.

— А меня зовут Нюра. Ты у нас будешь жить, да? Я тебе все покажу. У нас хорошо, вот увидишь. А почему ты молчишь? Ты не немой?

— Как же я могу говорить, если ты разговариваешь без остановки?

— Ой, правда! Я так быстро говорю, что никак не могу остановиться. Вот меня учительница вызывает к доске. Да? Я как начну отвечать, она послушает-послушает, а потом махнет рукой и говорит: «Ты, Кичеева, не говоришь, а прямо с горки бежишь». Похоже, да? Это прямо ужасный недостаток! Виктор Петрович, математик, он говорит, что это от избытка энергии, и называет меня Ракетой. И мальчишки так называют. То есть не называют, а дразнятся, а мне все равно, пусть! Правда? Почему ты смеешься? Разве похоже? Да? По-моему, нисколечко. А какой у тебя недостаток? Тато говорит, что у всех есть недостатки. Я тоже так думаю. А ты?

Она тараторит и продолжает месить тесто. Руки ее мелькают с такой же скоростью, как и язык, и тесто жалобно вздыхает и попискивает под маленькими кулачками.

— Вот и всё. Теперь я его накрою — да? — и оно взойдет. Ты умеешь разжигать печку? Нет? Как же так? Сейчас я разожгу, а потом мы побежим искупаемся. Ты любишь утром купаться?

— Да ведь вода небось холодная?

— Тю! Утром самая лучшая!

Нюра говорит и летает по комнате, как маленькое рыжее пламя. И так же стремительно

передвигаются вещи, к которым она прикасается: становятся, ложатся на свои места. Полотенце прикрывает тесто, заслонка с грохотом отлетает от устья печи и прислоняется к стенке, трещка вспыхивает лучина, и огонь начинает торопливо облизывать поленья.

— Побежали, пока не прогорело.

Костя выходит вслед за Нюрой, но за ней нельзя идти, а можно только бежать. Пока он спускается с крылечка, она уже у обрыва и, мелькнув косами, исчезает под ним. Костя тоже бежит и, не найдя тропки, съезжает на пятках по глинистому обрыву прямо к узкой песчаной полоске берега. Здесь вверх дном лежит на песке маленькая лодка, а рядом на плаву стоит другая, побольше. Нюра уже на корме большой лодки и зовет его, но Костя останавливается, ошеломленный красотой утра.

На реке ни рябинки, вода чистая и гладкая, как стекло. Над ней мгlistая легкая дымка тумана, но он уже поднялся от воды, и, если присесть на корточки, в просвет между водой и туманом видны золотистая отмель и зелень то ли острова, то ли далекого берега. Солнце только что взошло и не спеша поднимается по глубокому голубому небу.

— Что же ты? Скорей! — кричит Нюра. Она уже сбросила платье и стоит в трусиках и майке.  
— Ты нырять умеешь?

Она подпрыгивает и крючком падает в стеклянную гладь. Вверх взлетает шумный фонтан, и почти сейчас же рыжие волосы ее появляются на поверхности.

— Ой, и хорошо же! Что ж ты стоишь? — кричит она.

Костя хочет, как всегда, попробовать, не холодная ли вода, но, опасаясь, что эта рыжая тараторка посчитает его трусом, идет на корму лодки. Низковато, но ничего. Он складывает руки, пружинисто подпрыгивает и, сделав в воздухе полукруг, без шума и брызг, почти отвесно идет в воду. Когда, отфыркиваясь, он подплывает к лодке, Нюра уже сидит на корме и с восхищением смотрит на него.

— Ой, здорово! Я так не умею. Ты меня научишь? Да? Ну, еще разок — и надо бежать печь лепешки, а то вон уже тато возвращается.

Она еще раз ныряет, потом быстро натягивает платье и убегает.

Костя долго осматривает реку и наконец далеко внизу по течению замечает маленькую темную точку. Сначала она кажется неподвижной, но мало-помалу растет, по сторонам ее становятся заметны вспышки света — это сверкают на солнце весла.

Когда Костя возвращается, Нюра уже ставит на стол тарелку со стопкой лепешек, на которых пузырится кипящее масло. С громом и звоном на столе появляются кружки и пузатая запотевшая крынка с молоком.

— Ну как вы тут? Познакомились, поладили? — спрашивает Ефим Кондратьевич, входя в комнату.

— Мы, тато, поладили, поладили! — говорит Нюра. — Правда, Костя? А как же! Отчего нам не поладить? Пойдем, я тебе солью.

Ефим Кондратьевич не спеша — как он говорит: с чувством, с толком, с расстановкой — умывается, они садятся за стол и едят пышные лепешки с похрустывающей корочкой и пьют молоко, густое и такое холодное, что от него ноют зубы.

— Ну, спасибо, Анна Ефимовна, — говорит дядя, вставая из-за стола.

Он закуривает свою трубку, и тотчас комнату наполняет едкий, как нашатырный спирт, запах.

— Фу, тато! Сколько раз говорили! — машет руками Нюра и пытается открыть еще шире уже открытое окно.

— Пойдем, Костя, на вольный воздух, а то моего кадила, кроме меня да комаров, никто не выдерживает...

— Вот так мы и живем, — обводя широкий полукруг рукой, говорит дядя, когда они подходят к берегу. — Нравится тебе?

— Да.

Косте и в самом деле нравится широкий простор пойменных лугов левого берега, синеющая вдаль полоска леса, обрывы кряжа, подступающего к реке километрах в трех ниже по течению.

— Только почему это называется «Гребля»? Тут ведь никакой плотины нет.

— Кто его знает! Может, когда и была. А сейчас просто так место называется. А там вон, за кручами, там село. Там Аннушка учится, а когда навигация кончается, и я в село перебираюсь.

— А почему вы там все время не живете?

— Нельзя. Там, у села, участок простой, легкий, течение спокойное, а здесь место трудное. Вон, — показывает дядя на левую сторону немного вверх по течению, — ты думаешь, там берег? А там остров, а за ним — Старица, старое русло да еще рукав, а чуть повыше — еще остров и еще рукав.

— Ну так что? Капитаны же знают, куда нужно плыть.

— Капитаны-то — да, а вот река не знает, куда она пойдет.

— Так ведь она всегда одинаково идет.

— Нет, брат, — смеется Ефим Кондратьевич, — в том-то и штука, что нет! Вон там, повыше, пароходы левым рукавом раньше ходили, могли и по Старице ходить — снова ее размыло, а нынче попробовали — и сел один на мель: в полу ю воду нанесло. Она ведь как шальной конь — не угадаешь, куда кинется. Сейчас фарватер здесь идет, а потом, глядишь, мель намоет, и он к левому берегу убежит.

Костя смотрит на спокойную речную гладь и сомневается. Она совсем не похожа на горячего, норовистого коня, бросающегося из стороны в сторону. Вот течет и течет. Сейчас течет, и вчера текла, и год назад, и сто лет... Она и раньше была, при запорожцах, и еще совсем-совсем раньше — при Ярославе Мудром и Владимире. И как же может быть, чтобы за все это время ее не изучили, не выучили наизусть, как таблицу умножения? Это же не море...

Ефим Кондратьевич, видно, угадывает Костины мысли и усмехается.

— Тут, конечно, не больно широко, не разгуляешься. Однако от этого только труднее, а не легче. Вон, видишь — я про то место, повыше, говорю, — показывает он. — Вон красный бакен видать. Там стрежень идет у правого берега, потом его мелью отводит к острову, а оттуда он, как курьерский поезд, на этот бакен идет. Хорошо? Хорошего мало. Бакен этот стоит над каменной грядой — «забора», по-нашему. Там камень есть — «Чертов зуб» мы его называем. Камень такой, что об него что хочешь расколоти. А течение прямо на него несет.



Вон как там вода блестит — над ним играет. В полую воду — ничего, а как вода спадет — тут капитан не зевай: увидел красный бакен — бери влево, а то беды не оберешься. Вот она какая, река-то! Со всячиной. Ну, да за ней следят, воли ей не дают.

— А как за ней можно уследить?

— Служба есть специальная: и капитаны и мы — бакенщики. Это ведь пассажиру все одинаково: здесь вода и там вода. А опытный человек все видит: где она вроде бы спокойная, гладкая, только всю ее изнутри ведет, крутит — там суводь; где рябить начинает — там, гляди, мель намывает, а то и пережат. Ну, как чуть мель или пережат обозначатся, так мы их обставляем вешками, бакенами — тут, мол, опасно, обойди стороной.

— А когда обставите, тогда уже безопасно?

— Тогда — да. Днем вешки, бакены, а ночью огни на бакенах и перевальных столбах дорогу показывают. Тогда уж капитан может смело вести пароход. Если правильно вести, ничего не случится.

— Так никогда ничего и не случается?

— А что же может случаться?

— Ну, кораблекрушения...

Дядя удивленно смотрит на Костю, вынимает трубку изо рта и так гулко хохочет, что сорока, присевшая на опрокинутую лодку, испуганно взмывает в воздух и, громко треща, улетает прочь.

— Кораблекрушения?... Да кто же до этого допустит?

— Ну бывает же. Вон на железной дороге рельса лопнет или еще какое происшествие...

— У нас рельсов нет, а река — она не лопнет, — смеется дядя. — И что это ты такой кровожадный, несчастья тебе нужны?

— Да нет... просто... Ну, бывает же у вас что-нибудь интересное?

— А у нас все интересное.

— Ну да! Вот всё обставили, а потом что?

— Потом надо следить за всем. Промерять глубины, огни на бакенах зажигать, а утром гасить. Инвентарь держать в порядке...

— А почему они керосиновые, фонари на бакенах? Электрические-то ведь лучше?

— Известно, лучше. На Днепре есть уже электрифицированные участки. Придет время, и у нас будут электрические фонари, а пока надо керосиновые держать в порядке. Да разве только это? Дел хватает... Вот мы сейчас ими и займемся. Ну-ка, тащи давай ту кучку плавника.

Костя подтаскивает поближе ворох веток, корней, всяких древесных обломков, выброшенных водой на берег и давно уже высушенных жгучим июньским солнцем. Ефим Кондратьевич зажигает костер, на рогульке подвешивает над ним котел со смолой. Костя помешивает пахучую черную смолу, а дядя мастерит из пакли квач — широкую кисть с короткой рукояткой.

— А я? А я? — кричит Нюра, скатываясь с откоса. — Ты же обещал, тато, что вместе! Вот мы

с Костей! Да? А что ты смеешься, тато? Думаешь, не сумеем, да? Сделаем — лучше не надо!  
— Ладно, ладно, — говорит Ефим Кондратьевич и мастерит второй квач.

## ТЫ НАУЧИШЬСЯ

Смола вспучивается большими пузырями, потом начинает подниматься в котле, как закипающее молоко. Костя и Нюра продевают под дужку котла толстую палку и несут дымящееся варево к маленькой лодке.

— Вот это — твоя сторона. Да? А это — моя. Посмотрим, кто скорее и лучше.

Ну, что-что, а уж это-то Костя сумеет! Он видел, как маляр красил масляной краской стенку на лестнице их дома. Это было очень просто.

Костя окунает квач в кипящую смолу и начинает, как тот маляр, делать длинные мазки. Жидкая смола тихонько чавкает под квачом и ложится сверкающим лаковым слоем. Костя снова макает квач и делает мазки еще длиннее. А Нюра без конца тыркает по одному месту.

— Не годится! — говорит Ефим Кондратьевич, подходя к нему.

— Почему? — удивляется и огорчается Костя.

— Ты поверху мажешь, а надо, чтобы смола каждую щелинку закрывала. Посмотри.

От наведенной Костей глянцевой красоты ничего не осталось. Вся только что замазанная часть днища покрылась пузырями, пузыри лопнули, оставляя уродливые пятна, словно после оспы. Костя пробует замазать их, но смола уже не ложится ровно, а налипает буграми, полосами.

Костя внимательно присматривается и сам делает так же, как Нюра: втирает, вмазывает смолу во все углубления и щели. Это значительно труднее, чем просто водить кистью. Костя быстро устает, а получается по-прежнему неважно. А Нюре хоть бы что. Прижав кончиком языка верхнюю губу, она мажет, поминутно отбрасывая левой рукой падающие на глаза волосы.

— А я первая! Я первая! — начинает она приплясывать, размахивая квачом. Однако, увидев расстроенное Костино лицо, она сейчас же меняет тон и снова сыплет, как горохом: — Знаешь, давай вместе. Да? Я тебе помогаю, а ты — мне. Хорошо? А потом, когда кончим, попросим тато, чтобы он дал нам эту лодку. Мне одной он не дает. А если вдвоем — даст. Ты умеешь грести? Нет? Это совсем просто. Я тебя научу...

Они кончают смолить. Ефим Кондратьевич осматривает работу и молча показывает пальцем на огрехи. Костя краснеет: огрехи на его половине.

— Не придирайся, тато! — говорит Нюра. — Сделано по-стахановски, на совесть!

— Да ведь совестью щель не замажешь, смолой надо.

— Ладно, сейчас замажем! А ты свое обещание помнишь? Лодку будешь давать? Да?

— А если утонете?

— Мы утонем? Да? — Рыжие косы Нюры с таким негодованием взлетают, что, кажется, вот-вот оторвутся. — Да я же саженками Старицу переплывала! Ты уже не помнишь? Да? А Костя — ого! Он знаешь как ныряет? Так даже я не умею... А ну, Костя, покажи! Пусть он не думает...

— Ему и впрямь выкупаться надо, вон он как извоzilся, — смеется Ефим Кондратьевич.

— Ой, батюшки! — всплескивает руками Нюра. — Давай скорее песком, пока не застыло!

Она хватает Костю за руку и тащит к воде. Костя оттирает мокрым песком смоляные пятна, пока кожа не начинает нестерпимо гореть, но оттереть смолу до конца так и не удается.

— Ничего, — утешает его Нюра. — Я раз нечаянно в платье на смолу села и прилипла — и то отстиралось. А с кожи само сойдет.

После обеда они переворачивают лодку и сталкивают ее в воду, но покататься Ефим Кондратьевич не разрешает: ветер развел волну, и отпускать одних ребят он не решается. Видя их огорчение, он утешает:

— Вечером я поеду по своему хозяйству, и вы со мной.

До вечера еще далеко. Нюра убегает в дом и принимается чистить картошку для ужина. Послonyaвшись по берегу, Костя идет к ней и пробует помогать, но из огромной картофелины у него остается такой маленький орешек, что Нюра удивленно открывает глаза:

— Что это ты какой-то такой, что ничего не умеешь? Ты никогда не чистил, да? А кто у вас чистит — мама? А ты ей не помогаешь?

Костя обижается и уходит. Подумаешь, картошка! Он умеет делать вещи поважнее и потруднее.

Но все это осталось дома, в Киеве, а здесь ему некуда девать себя, и он идет к дяде. Ефим Кондратьевич сколачивает запасную крестовину для бакена. Несколько бакенов, белых и красных, выстроились рядком на берегу, а дальше, опираясь на перекладину между двумя столбами, стоят полосатые вешки.

— Ты что заскучал? Делать нечего? Вон займись, обтеши кол для вехи.

Вот это настоящее мужское дело! А то — картошка!

Костя с удовольствием принимается за работу. И топор какой удобный — легкий и острый, топорнице изогнуто, как лук, и гладкое, будто лакированное.

— А зачем же ты землю тешешь? — спрашивает дядя. — Ее сколько ни руби, не изрубишь, а топор затупишь. Ты вон уткни в колоду и действуй.

Топор, и правда, ударяя по лесине, все время чиркает по земле. Костя подкладывает под комель лесины чурбак. Однако теперь тонкий конец при каждом ударе подпрыгивает, лесина съезжает с чурбака, и ее то и дело приходится поправлять.

— А ты вот так, — говорит дядя и ставит лесину к перекладине стоймя, а под комель подкладывает чурбак. — Так-то оно сподручнее.

Конечно, сподручнее. Костя одной рукой придерживает веху, а другой тешет. Однако топор совсем не такой удобный, как казалось сначала. Он то скользит и, сняв тоненькую стружку,

тпяет по чурбаку, то так увязает в лесине, что с трудом вытащишь. Да он и не такой уж легкий, а с каждым ударом становится все тяжелее и тяжелее. От этой тяжести у Кости начинает ломить локоть, но он все-таки обтесывает и заостряет комель. Острие получается кургузое, тупое и изгрызенное, словно его не топором тесали, а оббивали молотком.

— Ничего, научишься, — говорит дядя.

Он берет у Кости топор и несколькими ударами снимает длинную, толстую щепу. Острие сразу становится длинным, тонким и гладким.

— Здорово! — признается Костя.

— Это что! Я с топором не очень умею. Вот дед мой, твой прадедушка, вот это был артист! Он столько хат поставил, что и счет потерял. Топором такие узоры разделявал — в пору вышивальщице! А в случае чего — топором и побриться мог...

Дядя рассказывает, как дед на спор при помощи одного топора построил комод, а Костя поглаживает ноющий локоть и думает.

— А все-таки это пережиток, — говорит он наконец.

— Что?

— Топор. Отсталая техника. При коммунизме он разве будет? При коммунизме надо же, чтобы не было противоположности между умственным и физическим? А тут что? Один физический.

— Не знаю, как будет при коммунизме. Кому как, а мне этот пережиток нравится. Полезная вещь! Конечно, ежели он в настоящих руках... При физическом труде голова-то — вещь тоже не вредная. Да. Как и во всяком.

Костя усматривает в этом намек на свое неумение и умолкает, но остается при том же мнении.

Наконец приближается вечер. Нюра и Костя несут в лодку фонари, Ефим Кондратьевич берет весла, и они отчаливают.

— Давай так, — командует Нюра, — сначала я гребу, а ты смотришь! Потом мы вместе. Да? Ты и научишься. Ничего особенного. Вот смотри!

Прижав кончиком языка верхнюю губу, она берется за вальки и, далеко откидываясь назад, начинает грести. На висках и крыльях носа у Нюры скоро появляются капельки пота, но она не перестает тараторить:

— Вот видишь: очень просто. Я нагибаюсь. Да? И заносу весла. Потом опускаю весла и гребу. Правда, просто?

— Ладно, давай теперь я, — говорит Костя. — Нет, я сам, ты садись на мое место.

На лодке Косте кататься приходилось, но греб он только один раз и совсем недолго — первый опыт был не очень удачным: он забрызгал новое мамино платье, и у него отобрали весла. Но теперь, видя, как плавно взлетают весла в руках Нюры, как ходко идет лодка, он решает, что это действительно пустяковое дело.

Он берет весла, усаживается поудобнее, расставляет ноги. Р-раз! Весла по самые вальки уходят в воду, и Костя с трудом вытаскивает их. Не надо так глубоко. Два! Весла срывают макушки мелких волн и с размаху стучают по бортам лодки. Ага, понятно — не надо

торопиться. Он далеко заносит весла, осторожно опускает их, но одно весло почему-то поворачивается и острым пером легко режет воду, а не гребет, а другое опускается глубоко, буравит воду, и лодка рыскает в сторону.

Костя краснеет от стыда и натуги и исподлобья взглядывает на Нюру и дядю. Ефим Кондратьевич невозмутимо дымит своей трубкой и даже не морщится, когда Костя с головы до ног обдаёт его брызгами, а Нюра напряженно следит за веслами, и на её подвижном лице отражается каждое Костино усилие, словно гребет не Костя, а она сама. Очень ему нужно её сочувствие! Он старается ещё больше, но чем больше старается, тем выходит хуже. Легкие поначалу весла тяжелеют, словно наливаются свинцом, и то и дело норовят или повернуться в воде, или выскользнуть из рук. Вода становится густой, вязкой, словно вцепляется в весла, а лодка, которая казалась ему маленькой и легкой, представляется теперь огромной, тяжелой баржей. Ее не веслами, а прямо машиной надо двигать... А тут еще над самой головой с насмешливым визгом проносятся стрижи...

— Стоп! — командует Ефим Кондратьевич. — Здесь одному не справиться: начинается быстрик. Садитесь вдвоем.

Костя потихоньку переводит дыхание — он уже совсем замучился. Нюра садится рядом, они двумя руками берутся каждый за свой валёк.

— Ну, по команде: раз — весла опускать, два — сушить, значит поднимать из воды. Готовы? Р-раз — два! Раз — два!

Конечно, вдвоем легче. Правда, и сейчас весло не очень слушается Костю — оно то глубоко зарывается в воду, то скользит по поверхности, и лодка виляет то вправо, то влево, но Ефим Кондратьевич время от времени подгребаёт кормовым веслом, и она ходко идет вперед. Теперь Костя понимает, что течение вовсе не стало быстрее, просто Ефим Кондратьевич видел, что Косте стало уже не вмоготу, и сказал про течение, чтобы ему не было совсем стыдно.

Понемногу он приноравливается опускать весло на нужную глубину — так и легче грести и лодка идет быстрее, — но, как только Костя входит во вкус настоящей гребли, Ефим Кондратьевич поднимает руку:

— Довольно, ребята! Надо поворачивать к забору, а там вы не управитесь, да и устали, поди.

Он садится на весла, Нюра берет кормовое, а Костя ложится на носу и смотрит в воду. Вот здесь, действительно, течение! Ефим Кондратьевич гребет сильно, вода сердито гулькает у бортов, лодка рывками устремляется вперед и тут же, будто наткнувшись на мягкую, но непреодолимую стену, замедляет движение; еще немного — и ее понесет назад.

Однако красный бакен над Чертовым зубом постепенно приближается. Он наклонился навстречу течению и все время покачивается, словно кланяясь. Кажется, что какая-то сила пытается утащить его вниз, под воду, а он упирается, не дается.

Вот он уже совсем близко. Костя пытается рассмотреть под водой камень, но в темной глубине мелькает какая-то неясная тень и больше ничего не видно.

Ефим Кондратьевич подгребаёт к бакену, зажигает фонарь и ставит его на макушку бакена. Лодку сразу же относит далеко вниз. В светлых сумерках красный огонек бакена светит вяло и тускло.

Они поднимаются теперь уже под самым берегом, еще выше зажигают несколько красных бакенов, потом переваливают на другую сторону, чтобы, идя вниз, зажечь белые.

— Ну, теперь уже — мы. Да, тато? Теперь уже мы сможем. Правда, Костя?

Нюра решительно берется за весло, и Ефим Кондратьевич уступает. Вниз грести намного легче. Можно даже и не грести совсем, лодка сама идет по течению, только направляй, куда надо. Однако они усердно гребут, и у Кости получается все лучше и лучше. Время от времени он поглядывает на дядю — видит ли тот, как здорово у него выходит? Ефим Кондратьевич понимает Костины взгляды и одобрительно кивает.

На обратном пути против течения выгребает сам Ефим Кондратьевич, а усталые ребята отдыхают.

Бакена над Чертовым зубом уже не видно, только над водой покачивается красный огонь, и кажется, что он висит и покачивается прямо в воздухе. Давно притаились где-то редкие чайки, скрылась на ночь шумливая ватага стрижей. Тихо на воде и над водой. Улеглась мелкая рябь, река снова замерла и остекленела. Только звенят капли, падающие с весел, да изредка всплеснет рыба, и на том месте медленно расходятся плавные круги.

Костя рад, что притихла даже неугомонная Нюра. Широко открытыми глазами она смотрит на засыпающую реку, на речные огни и о чем-то думает. У Кости гудят натруженные руки, и он тоже думает. О чем? Обо всем сразу. О том, где теперь мама, — она уже, наверно, в Каховке; о том, как, должно быть, набедокурила Лелька и теперь слушает выговор соседки Марьи Афанасьевны и смотрит на нее совершенно невинными глазами; сколько наловил рыбы Федор, и оправдались ли его надежды на новую блесну, которую он сделал из консервной банки; какой может быть счет у киевского «Динамо» и «Шахтера» — они сегодня играли на стадионе. Макаров — вратарь что надо! В нем Костя уверен, а вот нападающие...

И до чего же здесь тихо! В Киеве так никогда не бывает. И, хотя все это очень интересно, — жить здесь он бы не согласился. Сегодня — то же, что вчера, и завтра — то же, что сегодня. Бакены эти самые. Объехал — зажег, объехал — погасил. И вообще, подумаешь — бакен! То ли дело маяки! Там как ударит шторм, так будь здоров!..

— Ой, Костя! Тато, посмотри, что у него на руках!

На ладонях у Кости вздулись белые волдыри. Два из них давно раздавлены, и там — грязно-красные ранки. Только теперь он чувствует, как горят руки и саднят эти ранки.

— Ничего, до свадьбы далеко, заживет! — говорит Ефим Кондратьевич.

Лодка врзается в песок. Нюра выскакивает первая, а Костя и Ефим Кондратьевич вытаскивают лодку, забирают весла и запасные фонари. Почти совсем уже темно, но звезды на небе еле видны.

— К ненастью, что ли? — поднимает голову Ефим Кондратьевич.

Дужки фонарей режут Косте натруженные руки, и он нетерпеливо переступает с ноги на ногу, дожидаясь, пока дядя заберет у него фонарь. Красный огонь над Чертовым зубом смотрит на Костю и насмешливо подмигивает...

На следующий день никакого ненастья нет, солнце жжет так, что даже небо блекнет от жары. Нюра и Костя поминутно бегают к реке, но, стоит им оказаться на суше, тело мгновенно высыхает, и их снова тянет в воду.

— Эй, лягушата, хватит бултыхаться! — кричит им Ефим Кондратьевич. — Совсем уже посинели!

— Ой, что-то вправду холодно стало! — стуча зубами, говорит Нюра. Она срывает листок подорожника и лепит себе на нос. — Чтобы не облез, — поясняет она. — А то так и будешь

ходить с облупленным носом. У нас одна девочка в классе — так она повязывается, как старушка, и лицо сметаной мажет, чтобы не загореть. Она раз в саду заснула — да? — пришел котенок и всю сметану слизал. Правда, смешно? Ребята над ней смеются и говорят, что в следующий раз придет свинья и съест ее, как бутерброд... А у вас в классе хорошие девочки?

— У нас нет девочек.

— Как так? А куда же они девались?

— Они отдельно, в других школах. Школы для мальчиков и школы для девочек. Понимаешь?

Но Нюра не понимает. Разве плохо, если мальчики и девочки вместе? Это для того, чтобы не дрались? Но вот они же не дерутся, хотя у них и есть Сенька Гузь, его давно следует вздуть, и она его вздует-таки при случае... А вообще вместе же лучше, интереснее! Ого, она мальчишкам ни в чем не уступает! У них в классе только один Миша Цыганенок учится так же, как она. Почему же плохо, если вместе!

Костя ничего объяснить не может, он и сам не знает, зачем так сделано.

— Побежали к Гремячему яру? — предлагает Нюра.

— Побежали. А почему он — Гремячий? — спрашивает Костя уже на бегу.

— Не знаю. Может, потому, что шумит очень, когда вода. Весной или когда дождь, он, знаешь, как скаженный! Ни пройти, ни проехать — так и бурлит, так и бурлит!..

— Ну, ты ж и длинноногая! Никак тебя не догонишь...

— Ого! — счастливо улыбается Нюра. — Я знаешь как бегаяю? Меня никто не догонит. Вот когда у нас соревнования — да? — я всегда первое место занимаю! Даже из седьмого меня обогнать не могут... Семен Семеныч, наш физкульт, говорит, что у меня прямо талантливые ноги. А мне смешно — какой же может быть у ног талант? Талант у человека бывает. Да? А у тебя есть талант?.. Вот и я не знаю. У меня, кажется, нету...

## ЗНАКОМЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!

Гремячий яр никак не оправдывает своего названия. Глубокий овраг с крутыми глинистыми откосами глух и истомлен зноем. На дне змеятся трещины, по откосам только сверху растет редкая трава, а ниже ступеньками падают обрывистые подмывы.

— Во, смотри! — кричит Нюра, сбегая на дно оврага и поднимая вверх руки. — Тут, когда вода бежит, так мне с ручками!

— Это вы тогда как на острове. Ни вы никуда, ни к вам никто.

— Ага! Нет, можно на Лодке, по Днепру, только очень далеко. Или там, выше километров восемь, через яр мост есть, где грейдерная дорога... Полезли? Вот ты сейчас увидишь, — говорит она, карабкаясь на высокий обрыв яра.

Пыхтя и задыхаясь, Костя лезет следом. Он взбирается наверх и замирает.

По кособору сбегают в долину буйные вишняки, лишь кое-где среди них белеют стены хат да высятся темные свечи пирамидальных тополей. Далеко внизу приткнулся к берегу

игрушечный домик бакенщика. Желтыми косами, густой тальниковой гривой врезался остров в реку. Над Старицей наклонились, задумались плакучие ивы, бессильно свесили свои косы до земли, а по ней бегут и бегут до самого горизонта зеленые волны хлебов и тают в побледневшем от зноя небе. Струится, дрожит нагретый воздух, и кажется — не кузнечики и сверчки, а самый воздух звенит и поет.

— Ну? Что ж ты молчишь? — нетерпеливо дергает Нюра Костю за руку и заглядывает ему в лицо. — Хорошо, да? Тебе не хочется говорить? Мне тоже... Я как приду сюда, так смотрела бы и смотрела и ничего не говорила...

Но долго молчать она не может и показывает, объясняет Косте все, что видится с крутого обрыва. Делает это Нюра с таким видом, словно всю красоту вокруг создала она сама и теперь с полным правом гордится своей работой.

Из недалней лощинки доносится протяжный свист. Нюра оборачивается и прислушивается.

— Это меня зовут. Ребята. Миша Цыганенок. Он еще и не так может — с переливами!

Она засовывает в рот пальцы и пронзительно свистит.

— А ты умеешь? А ну?.. Ничего! — со знанием дела одобрительно говорит она. — Свистишь доходчиво. Я знаю, девочкам свистеть нехорошо. А если нужно? Для пользы дела? Надо уметь, правда? По-моему, надо все уметь! Да?

Из лощинки появляются и быстро приближаются два подростка, но, увидев рядом с Нюрой незнакомого паренька, замедляют шаги.

— Ну, чего же вы? — кричит им Нюра. — Идите сюда! Вот, знакомьтесь, пожалуйста! — чинно сложив руки, говорит она. — Это наши ребята. Это вот, — показывает она на плотного мальчугана с коротко стриженной круглой головой и полным добродушным лицом, — это Тимка-Тимофей. Он толстый и потому ленивый. А еще он — «Нукало».

Ленивый Тимофей нисколько не обижается, а с любопытством смотрит на Нюру, ожидая, что она еще скажет. Но она поворачивается к другому мальчику, небольшого роста, черноглазому и черноволосому. В отличие от своего медлительного товарища, он все время в движении. Даже когда он стоит, кажется, что он страшно торопится.

— Это Миша Цыганенок. Он вовсе не цыганенок, а просто, видишь, черный, мы и зовем его Цыганенком. А это, ребята, — Костя. Мой родной двоюродный брат. Его мама родная сестра...

— Твоего родного папы, — лукаво подсказывает Миша.

— Ну да! — простодушно соглашается Нюра. — Что же вы не знакомитесь?

Ей очень хочется, чтобы они познакомились так, как это делают взрослые: подали руки и сказали: «Очень приятно» или что-нибудь в этом роде, но ребята не собираются подавать руки, а исподлобья молча и внимательно оглядывают друг друга.

— Да ну тебя! Еще знакомиться... — неторопливо тянет Тимофей. — Пошли, Мишка.

— Куда вы идете?

— Ну, купаться... А что?

— Мы тоже пойдем! Да, Костя?



— Ну, идемте, — говорит Тимофей.

— Кто скорее! — кричит Нюра и стремглав бежит по откосу вниз, к реке.

Миша и Костя устремляются за ней. Костя сразу же отстает: он еще не привык бегать босиком, и кожа на ногах слишком чувствительна. А Тимофей и не думает торопиться. Он осторожно и увесисто переставляет ноги и говорит Косте, не то утешая его, не то оправдываясь:

— Ну, за Ракетой разве угонишься! Она всегда так, будто ее во что зарядили и выстрелили. Нам не к спеху, мы поспеем.

На берегу Миша и Нюра уже яростно спорят, кто первый добежал до воды, но первенство явно за Нюрой. Это признают и Костя и Тимофей.

— Ладно, — сердито блестя глазами, говорит Миша, — посмотрим, кто кого переплавает!..

— Ну что ж? Меня переплавашь, а Костя...

— Твой родной двоюродный брат? — насмешливо спрашивает Миша. — Ладно, мы и не таких братьев видали...

Он с разбегу бросается в воду, раззадорившийся Костя прыгает следом.

Тимофей пробует ногой — не холодна ли вода, потом забредает по колени и, черпая ладошкой, осторожно смачивает себя водой.

Нюра уже успела сбросить платье, окунуться и окатывает его фонтаном брызг.

— Да ну, да ну... — отмахивается Тимофей. — Не над... Не надо!

Нюра дергает его за руку, и он плюхается в воду.

— Ну что ты за чумовая какая! — говорит он отфыркиваясь. — Прямо хоть связывай...

— Попробуй свяжи! — хохочет Нюра.

Миша и Костя плывут рядом. Сначала Костя вырывается вперед, но скоро Миша его нагоняет, и они идут голова в голову. Нет, саженками далеко не уплывешь, Костя поворачивается на бок. Миша делает то же самое. Тогда Костя поворачивается лицом в воду и бешено работает руками и ногами. Однако, приподняв на секунду голову, он видит, что Миша тоже плывет кролем и опередил его не меньше чем на метр.

Костя вылезает из воды и молча ложится на песок. Нюра садится рядом. Она огорчена не меньше Кости.

— Это все Семен Семеныч, — со вздохом говорит она, — физкульт наш! Это он его научил!

А Миша хвастает перед Тимофеем своей победой,

— Тренировочка! — горделиво говорит он. — Я, может, через тренировочку в чемпионы выйду!

— А чего ж? — рассудительно говорит Тимофей. — Может, и выйдешь. Ну, пойду и я поплаваю.

Однако и плавает он по-своему, так, чтобы поменьше затрачивать усилий: идет по берегу навстречу течению, забредает в реку и ложится на спину, предоставляя воде нести его

неподвижное тело.

— Тимофей, не засни! Раки утащат! — кричит ему Нюра.

— Ну, не утащат, — спокойно отзывается он и поворачивает к берегу.

— Ох, и лодыр же ты, Тимка! — ругает его Миша. — Разве так плавают? Как полено...

— Ну нет, — после некоторого раздумья отвечает Тимофей, — полену лучше — оно легче...  
— и удивленно смотрит на хохочущих товарищей.

Костя не смеется. Самолюбие его задето, и он думает только о том, как бы доказать свое превосходство над вертлявым Цыганенком.

— Пошли поныряем, — небрежно говорит он.

Неподалеку покачивается на приколе дуб — большая валкая лодка с высоким носом и кормой. Ребята забираются в лодку. Первой шумно ныряет Нюра, потом плашмя, животом, падает в воду Тимофей. Он даже не уходит под воду, а так и остается на поверхности и сейчас же подплывает к лодке. Миша презрительно кривит губы, оттолкнувшись, прыгает ногами вперед и свечкой уходит в воду. Костя, переждав, пока он выплывет, приседает и, как пружина развернувшись в воздухе, без единого всплеска погружается в воду. Кажется, что и там он продолжает свой полет — так плавно его тело выскользывает на поверхность.

Ребята молчат, и молчание Миши говорит Косте больше, чем открытое восхищение, написанное на лице Тимофея. Но Косте этого мало, он жаждет полного торжества.

— А ну, давайте раскачаем, — говорит он.

Ребята становятся на носу, Костя лицом к ним, на корме, и они начинают раскачивать лодку, как качели. Корма взлетает все выше и выше. Улучив момент, Костя спиной к реке взвивается в воздух, описывает большой полукруг и, нырнув, показывается на поверхности возле самой кормы.

— А что? Я говорила, я говорила! — радостно тараторит Нюра и смотрит на всех так, словно не Костя, а она сама сделала этот необыкновенный прыжок.

— Здорово! — вздыхает Миша Цыганенок и протягивает Косте руку, чтобы помочь взобраться в лодку. — Научишь, а?

— Пожалуйста! — великодушно говорит Костя. — Это очень просто. — И он рассказывает, а потом показывает, как нужно нырять.

Миша старательно повторяет его движения, но получается у него плоховато.

— Научусь! — упрямо говорит он.

— Конечно, научишься! — соглашается Костя.

Превосходство Кости доказано, превзойти его не так просто, и настроение у него веселое и доброжелательное.

Они ложатся на песок, чтобы отогреться и отдышаться.

— Ты в Киеве все время живешь? — спрашивает Тимофей.

— Все время. А что?

— Ничего. Мы еще не были...

— Так что? — прерывает Миша. — На будущий год с экскурсией поедем.

— Ну, так то на будущий! Здорово там красиво?

— Ага.

Костя описывает Киев, его крутые улицы, обсаженные каштанами, залитый огнями простор Крещатика, сады над Днепром, стадион, футбольные состязания, из которых Костя не пропустил ни одного, как сплошной людской поток заливают после матчей Красноармейскую и Саксаганскую, так что останавливаются все трамваи, троллейбусы и пережидают, пока он схлынет...

Ребята не сводят с него глаз, и Костя старается еще больше. Он рассказывает о Владимирской горке и Зеленом театре; о памятнике Шевченко и о здании Верховного Совета, в котором Костя не был, но видел снаружи, а как там, внутри, — знает по описаниям; об оперном театре, где Костя вам видел балет «Золушка». Балет ему не очень понравился: ходят под музыку на цыпочках или прыгают — прыгают, правда, здорово! — разводят руками и молчат. Но в общем ничего: напридумано всяких чудес и красивые декорации. А вот опера «Иван Сусанин» — это да! У него даже мороз по коже ходил, когда он слушал... Вот пусть они приезжают, он им покажет больше, чем на любой экскурсии, они весь Киев обойдут...

Постреливая дымком из тонкой трубы на корме, сверху идет тяжело груженное судно.

— Что это за пароход? — спрашивает Костя.

— Это не пароход, а самоходная баржа. Дизельная, — отвечает Миша.

— Ага. Это «Киргизия», — подтверждает Нюра. — Покачаемся?

Ребята бросаются в воду и плывут наперерез барже. Костя плывет следом. «Вот если бы мама увидела», — мелькает у него в голове, но он сейчас же жмурится и даже встряхивает головой, отгоняя эту мысль: если бы мама увидела, ничего веселого Косте это бы не принесло....

Фарватер идет почти у берега, и баржа сама поворачивает навстречу ребятам.

— Куда вы лезете, бисовы диты? — кричат им с «Киргизии». — Потонете, як кутята!

— Не! — кричит в ответ Нюра. — «И в воде мы не утонем...»

— «И в огне мы не сгорим!» — подхватывает Миша, плывущий рядом с ней.

От носа «Киргизии» к берегу бежит волна и мягко подбрасывает ребят. Тимофей заранее лег на спину и подставил солнцу живот. Остальные тоже ложатся на спину и, плавно покачиваясь на волнах, плывут по течению.

— В Каховку пошла, — говорит Миша, когда они, снова улегшись на песок, смотрят вслед удаляющейся «Киргизии».

— А ты почему знаешь? Может, вовсе и не в Каховку, а так куда-нибудь! — оспаривает Нюра.

— В Каховку! — упрямо повторяет Миша.

Сверху медленно ползет большой дымчато-серый буксир. Он с натугой тащит две баржи, почти до самых палуб осевшие в воду. «Кремль», — читают ребята название, написанное красными буквами на кожухе, когда буксир равняется с ними.

— Сейчас все в Каховку идут, — авторитетно говорит Миша. — Туда знаешь сколько всего нужно!..

— Вот бы туда, ребята, а? — мечтательно говорит Нюра.

— Нужны там такие! — хмыкает Миша. — Там специалисты требуются.

— А я не смогу? Да? Вот возьму выучусь и стану специалистом! Каким захочу, таким и стану!

— Ну, станешь. Только когда это будет? Тогда и коммунизм построят. Очень интересно прийти на готовое!

— Ну, это уж ты того... — поворачивается к нему молчавший до сих пор Тимофей. — Что же, если коммунизм, так и делать нечего будет? И нам дела хватит...

— Так то — потом... Сейчас бы поехать!..

— А моя мама поехала в Каховку, — сообщает Костя.

— Ну? Зачем? — поднимают голову ребята.

— На обследование. Она — санитарный врач и будет обследовать, чтобы рабочим было хорошо жить.

— А-а... — разочарованно тянет Миша. — Это что! Строить же она не будет? Самое главное — строить бы...

— Может, чего-нибудь и будет строить... — неуверенно предполагает Костя.

— У меня скоро батько в Каховку поедут, — говорит Тимофей. — Они тракторист. А сейчас выписали книжку про экскаваторы. Как выучат, так и поедут.

— А тебя возьмет?

— Ну, навряд. Да я и не поеду. Я же опыты не кончил.

— Вот, видал? — смеется Миша, оборачиваясь к Косте. — Кому великие стройки, а кому — арбузы.

— Какие арбузы?

— Вот этот мичуринец растит. Думает своими арбузами мир удивить!

Тимофей упрямо наклоняет голову и, глядя исподлобья, как бычок, внушительно говорит:

— Ну, арбуз и при коммунизме нужен.

— А как же! Без твоих арбузов разве коммунизм построишь?

— Построишь. А с ними же лучше! Вот у нас южные сорта не вызревают, а я добыюсь, чтобы вызревали. И не брошу, пока не добыюсь. А ты свое радио бросишь?

— Сравнял! То ж техника!

Видно по всему, что спор этот возник давно и конца ему не предвидится. Миша взглядывает

на солнце и поднимается.

— Я пошел: скоро на дежурство, — деловито говорит он. — Ты, арбузятник, пойдешь или останешься?

— Ну чего же я останусь? Я тоже пойду... Ты его не слушай, — говорит он Косте. — Приходи ко мне, сам увидишь...

— Ага! — подхватывает Нюра — Мы вместе придем! Да, Костя? Конечно, придем!

Тимофей и Миша делают несколько шагов и останавливаются.

— Нюрк, а Нюрк! — окликает Миша. — Попроси у батьки лодку, а? На ночь бы... Вот бы рыбы наловили!

— Не даст, — трясет головой Нюра. — Знаете что? Давайте вместе попросим! Я подготовлю почву — да? — а вы приходите, и попросим. Если вместе, может, даст...

— Ладно.

Ребята уходят в село, Костя и Нюра бегут домой.

## НА ОСТРОВЕ

После обеда на берегу появляются Тимофей и Миша. В руках у них ведра, какие-то узлы, удочки. Но они не подходят к домику бакенщика, а скрываются на некоторое время за уступом берега, потом появляются снова, но уже с пустыми руками, и идут по берегу, словно прогуливаясь. Нюра тоже видит эти маневры и начинает «готовить почву»:

— Тато, что, лодка не течет, которую мы смолили? А как ты думаешь, если бы вот я и Костя — мы бы с ней справились? Ну, например, чтобы переправиться через Днепр. Он уже совсем хорошо гребет. Да? Ну, не вдвоем, а втроем или вчетвером. Она же легкая! Ты сам говорил, что на ней грудной младенец может плыть.

— Ты чего-то крутишь, Аннушка! — прищуривается Ефим Кондратьевич. — Давай-ка уж начистоту. Что-то вон и дружки твои по берегу слоняются... Чего вы надумали?

Нюра пугается, что своей подготовкой она все испортила.

— Мы ничего не надумали! — оправдывается она. — Вот хоть у них спроси... Ребята, идите сюда!

Миша и Тимофей о чем-то переговариваются, потом Миша бежит к ним, а Тимофей остается на месте.

— Здравьете, дядя Ефим! — весело кричит Миша еще издали. — Можно, да? — Вся подвижная фигурка его выражает ликование и нетерпенье.

— Что можно?

Миша осекается, укоризненно и недоуменно смотрит на Нюру: какая же это подготовка?

— Да мы думали... Мы хотели на остров. Рыбу половить.

— А что вам здесь не ловится?

— Так здесь разве клёв? — Лицо и вся Мишина фигура изображают крайнюю степень презрения. — Здесь же клёву никакого нет. Вот на Старице — да! Мы и хотели на ночь...

— На ночь? — Ефим Кондратьевич даже присвистнул. — А кто же поедет?

— Ну, мы, — показывает Миша.

— Нет, так дело не пойдёт. А Тимофей что, не хочет? Чего он там топчется?

— Он хочет. Только он говорит: я, говорит, не пойду, я не красноречивый, я все дело испорчу...

— А ты, значит, красноречивый?

Миша смущенно смеется, не зная, что ответить, и машет рукой приятелю, чтобы тот подошел.

— Вот что, — говорит Ефим Кондратьевич, — лодку я дам, только при одном условии... если примете меня в свою компанию.

— Да мы!.. Да разве!.. Да конечно! — в один голос вопят ребята.

— Ох, татко, ты ж у меня и хитрый, ты ж у меня и молодец! А когда можно? Сейчас? Ребята, тащите свои вещи!

— Вон вы какие запасливые! — усмехается Ефим Кондратьевич. — Вещи тащите, а поедем, когда я в объезд отправлюсь. Только ты, Аннушка, хлеба запаси на всю команду, а то улов будет ли, нет ли, а есть захочется.

— Я сейчас! Я и картошки, я всё!.. — выпаливает Нюра и вихрем летит домой.

Задолго до вечера все пожитки уложены в лодку. Ефим Кондратьевич добавляет к ним большое рядом и свой брезентовый дождевик. Жесткий дождевик гремит так, словно сделан из листового железа.

Как ни медленно ползет солнце по небу, оно наконец склоняется к круче, за которой прячется село, и Ефим Кондратьевич дает команду садиться. Миша и Тимофей берутся за весла, Нюра вооружается кормовым, а Костя и Ефим Кондратьевич едут пассажирами.

— Ну, забирайте свои пожитки! — говорит Ефим Кондратьевич, когда лодка, шипя, въезжает носом на песчаную отмель острова. — «Ловись, рыбка, большая и маленькая...» Только уговор: в воду не лезть! Обманете — больше не поверю, и лодки вам не видать.

— Ну, станем мы обманывать, дядя Ефим! — рассудительно говорит Тимофей.

— Бывает...

— Ну, это когда было... — сконфуженно тянет Тимофей, а Миша делает вид, что он сверх всякой меры занят вещами и ничего не слышит.

— Да ведь с тех пор у вас усы-то не выросли! — смеется Ефим Кондратьевич и отчаливает.

— Это мы прошлым летом потихоньку хотели лодку взять, а дядя Ефим нас застукал. Ну, мы сказали, что она сама сорвалась, а мы ее поймали... Ну, а дядя Ефим не поверил...

— Ладно тебе! — обрывает приятеля Миша. — Теперь до утра будешь нукать... Бери мешок!

Тимофей, Нюра и Миша деловито пробираются через заросли тальника. Они озабочены лишь одним — выбрать место получше — и не интересуются окружающим.

А Костя охвачен волнением. За свою уже долгую, по его мнению, жизнь он бывал лишь на одном острове — Трухановом. Но что это за остров! Он весь застроен водными станциями, будками, киосками, утыкан щитами, на которых написаны «Правила поведения на воде». И народу там всегда больше, чем на Крещатике.

Здесь нет киосков и правил, водных станций и грибков. И ни одного человека. Самый настоящий необитаемый остров. Даже стрижи попрятались в свои норки, и лишь стайки мошкеры танцуют над кустами в розовых лучах заходящего солнца.

Костя отстает от товарищей и сворачивает влево. Едва слышно шурша, под ногами осыпается сухой белый песок, а Косте видится, будто он пробирается то через сплетение лиан, то через мангровые заросли, под ногами у него грохочут обломки вулканической лавы или хлюпают коварные зыбучие пески. По Костиной спине пробегает холодок, даже шевелятся на затылке коротко остриженные волосы.

Костя подбирает с земли толстую кривую ветку, пригибается. Шаг его становится пружинистей. Он готов ко всему. Волков и медведей здесь нет, но змеи же могут быть... Косте видится, как, злобно шипя, гадюка напрягает свое тело, свернутое в кольца, и бросается на него, а он молниеносным ударом раздробляет ей голову и отбрасывает в сторону судорожно извивающееся тело... Или, например...

Заросли лозняка обрываются на берегу маленького заливчика. На ветках, листьях и всяком мусоре, прибитом волнами, сидит огромная лягушка и испуганно таращится на Костю, потом подпрыгивает и, перевернувшись в воздухе, шлепается в воду.

— Костя! Костя! Где ты? Ау-у! — доносится голос Нюры.

Костя отбрасывает палку и выпрямляется. С треском и шумом пробираясь через тальник к заливчику, выбегает Нюра. Лицо ее встревожено.

— Почему ты ушел? Я... мы так испугались! — негодуя говорит она, но, заглянув Косте в лицо, сразу меняет тон. — Ты думал? Да? Я тоже. Я, когда одна, как начну думать, как начну думать!.. А там Тимка уже окуня поймал. Вот такого! Нет, не совсем такого, ну, вот такого... Пойдем!

Лов в самом разгаре. Тимофей, забросив удочки, сидит спокойно и смотрит на воду. Миша Цыганенок «переживает» за двоих. Он поминутно хватается за удилица, привскакивает, снова садится, сердито шипит на неподвижного Тимофея, когда у того клюет, то и дело меняет наживку, переставляет удочки, долго и азартно плюет на насаженных червяков и так суетится, что, если бы от этого зависел улов, у него был бы уже полный кулан. Но на его кулане две маленькие красноперки, а у Тимофея их уже полдюжину и порядочный окунь.

— Что ты сидишь, чучело? Клюет... Клюет! Слышишь? — негодует Миша.

— Не, это она еще так, балует, — неторопливо говорит Тимофей. — Пусть заглотает... А ты не колготись, а то ничего не поймаешь... — Он неожиданно быстро и ловко подсекает, и в воздухе взблескивает живое серебро.

— Это разве ловля? — пренебрежительно, сквозь зубы, цедит Миша. — Сюда бы сетку — вот тогда да!

Всем понятно, что говорит он это просто от зависти и досады, что у Тимофея ловится, а у него нет. Он забирает удочки и переходит на другое место, чтобы не видеть удачливого

Тимофея.

Костя и Нюра собирают большой ворох сухого тальника. Нюра загодя начинает чистить картошку, а Костя устраивается с удочками поодаль от Тимофея и Миши. Но то ли дядина снасть ему не с руки, то ли неудачно выбрано место, клюет у него плохо, он вылавливает три красноперки, и клёв кончается. Костя собирает свой жалкий улов и идет на другую сторону острова, к главному руслу. Здесь быстрое течение подмыло берег, у самого обрыва крутит, бучится вода над омутом. Костя насаживает на крючок маленькую красноперку и забрасывает удочку. С полминуты поплавок стоит неподвижно, потом сразу, вдруг, исчезает. Костя дергает удилище кверху — и стоном отчаяния провожает сорвавшегося щуренка.

Вторая красноперка насаживается на самый крупный крючок, и не успевает Костя забросить, как рыба едва не вырывает удилище у него из рук. Костя подсекает и начинает выводить, но добыча не поддается и рвет удочку. Обливаясь потом, холодея от страха и восторга, Костя слегка попускает и идет вдоль берега — сачка у него нет, рыбу взять нечем, а тащить на крутой берег нельзя — сорвется. Но вот наконец узенькая песчаная полоска. Костя прыгает вниз и подтаскивает добычу к берегу. Черная спина, огромная зубастая пасть, злобные стеклянные глазки. Кругом ни палки, ни камня. Костя рывком хватает ее под жабры и падает вместе с бьющейся щукой на берег.

Оборвав поводок, оставив удочки, Костя, обеими руками взяв щуку под жабры, несет ее перед собой, как кипящий самовар. Щука бьет его хвостом по животу, голым ногам и беззвучно хлопает пастью, из которой торчит поводок.

Испуганно-восторженный вопль Нюры и завистливое молчанье Миши слаще всяких похвал для Кости.

— Вот это да! — говорит подошедший Тимофей. — На удочку?

— На удочку!.. — задыхаясь от счастья, отвечает Костя.

— На живца?

— На живца!

— Здорово!

Тимофей тычет пальцем в обвисшее белое брюхо рыбы, она судорожно дергается и сильно хлопает его по руке.

— Ну зверь! — изумленно тянет Тимофей, отдергивая руку. Он всовывает в рот щуке ивовую ветку, рыба яростно хлопает челюстями, и Тимофей показывает измочаленный обломок: — Видал? А если бы палец?..

Брошенная на песок щука несколько раз подпрыгивает и затихает. Костя бежит за своими удочками. Кукан с последней красноперкой уплыл, но Костя о ней не жалеет. Тимофей и Миша снимают со своих куканов ершей для ухи. Солнце уже село, клёв кончился. Насадив живцов, Костя и Миша забрасывают удочки и крепко привязывают их. Это так, на случай, если подвернется сомёнок.

Нюра, подстелив тряпочку, чистит щуку. Костя берется чистить ерша, но осклизлая рыбешка, исколов ему все руки, так и остается недочищенной, и сконфуженный Костя передает ее Тимофею. Тот уверенно и неторопливо сбивает колючие плавники, потрошит, потом берет следующего, и, пока Нюра возится со щукой, все ерши оказываются очищенными.

Тем временем Миша разжигает костер. Сухие тонкие веточки вспыхивают, как спички, потом, шипя и постреливая, загораются толстые, зеленые. Над почерневшей гривой ивняка танцует



пламя, отражение его бежит через все русло Старицы к противоположному берегу. Серые ветлы на нем потемнели и кажутся большими животными, притаившимися у воды.

От ведра, в котором бурлит закипающая вода, пахнет лавровым листом и перцем. Оголодавшие ребята глотают слюнки и следят за Нюрой, бросающей туда соль, картошку, рыбу.

Костя сидит в сторонке и смотрит на реку. Огненные отблески, черные ветлы, угрюмая холодная гладь Старицы превращаются в неясные, но волнующие картины. Окружающее незаметно тает, вместо него в полуяви-полусне возникают смутные, но грозные и упоительные видения неведомых миров, зверей и див, среди которых пробирается он, Костя. Ужасные опасности подстерегают его на каждом шагу, а он бесстрашно идет им навстречу... Вот далекий шорох, шум шагов, треск веток. Что-то огромное, темное движется к ним... Сердце у Кости замирает и куда-то проваливается...

— Ну, как улов, рыбаки? — слышит он голос Ефима Кондратьевича. — На уху наловили? Или на одной картошке будем сидеть?

— Наловили! Наловили! — кричит Нюра. — Ой, тато, Костя такую щуку поймал! Такую щуку!.. Ужас!

Нюра и Миша наперебой рассказывают об улове, о Костиной щуке. Костя тоже присоединяется к ним. Молчит один Тимофей. Он деловито помешивает уху, пробует и объявляет:

— Готова.

Такого вкусного варева Костя никогда не ел. Он ест до изнеможения, до пота, пока живот у него не вздувается, как барабан, и готов бы есть еще, но больше не лезет.

Ефим Кондратьевич расстилает на остывшем уже песке свой дождевик, рядом, они укладываются на нем ногами к костру, но спать никому не хочется.

— Что притихли, воробы? — спрашивает Ефим Кондратьевич.

В костре громко щелкает, раскаленный добела уголь отскакивает в сторону, вверх взлетают искры. Нюра вздрагивает.

— Все равно как выстрелило... — смущенно говорит она.

— Эх, ты! — пренебрежительно оттопыривает губу Миша. — А если взаправду выстрелит? Умрешь от страха?

— Я? Я ничего не боюсь! Да, тато? Это неожиданно потому что, вот я и вздрогнула. А так нисколечко — пхи!

— А если бы ты в Корее жила? — говорит Тимофей.

— Ух, я бы этих фашистов!.. — грозит Нюра кулаками.

— Они всю сожгли ее, Корею, — строго говорит Костя. — Бомбами и напалмом. Это такой бензин, как студень. Ни городов, ни деревень не осталось. Вожатая нам читала, как американский журналист писал, что там вместо деревень остался только голубой пепел...

Ребята затихают. Им представляется никогда не виданная страна. С воем и ревом несутся самолеты, без конца падают бомбы, и всю страну, все горы и долины охватывает пламя, и вот уже ничего не остается, кроме серо-голубого пепла...

Косте становится стыдно своих выдумок. Зачем выдумывать всякие чудища и страхи, когда есть люди страшнее всяких чудищ? Он решает, что если уж идти в моряки, то обязательно в военные, а если не удастся, так просто в военную школу.

Должно быть, о том же думают и остальные, потому что вдруг Тимофей, набычившись, словно продолжая с кем-то разговор, упрямо говорит:

— Ну, а я в танкисты. Батько же у меня — танкист. Вот и я тоже, — и снова умолкает.

— Куда же еще? — насмешливо улыбается Миша. — Тебя только танк и выдержит! Вот и будет: со всех сторон железо, а посерединке — дерево.

— Ладно... «Дерево»... Это не твои шарики-винтики вертеть.

— Да без этих шариков-винтиков твой танк — глухая и слепая коробка!

— Бросьте, ребята! — говорит Нюра. — А я буду... Я даже не знаю, кем я буду. Мне всего хочется! И геологом, и инженером, и ученым... Только, наверно, лучше всего — летчиком! Да? Я и сейчас, бывает, зажмурюсь, и кажется, что уже лечу...

— С кровати, — насмешливо добавляет Миша.

Нюра бросает на него презрительный взгляд:

— Ну и что же, что девушек не берут? А я добыюсь! Я прямо в Москву поеду, а добыюсь, вот увидите! — Большие глаза ее сверкают таким сердитым голубым огнем, что не остается никаких сомнений в том, что она добьется. Она поворачивается к отцу: — Правда, тато?

— Правда, Аннушка. Конечно, лучше, если дело выбрать по сердцу. Только настоящий солдат не перебирает, а если нужно — приставили его к какому делу, он там и стоит... А смелость и уменье во всяком деле нужны, иначе и себя и других погубишь. У нас вот на миноносце был один случай...

— Дядя Ефим, а вы разве были во флоте? — загорается Миша.

— Был. На Балтике всю войну... Это еще в начале войны было, когда немцы в Прибалтику только ворвались, суда на приколе еще не стояли... Миноносец наш ходит в дозоре. Туман небольшой, самолетов бояться нечего, но воды берегись — немецкие подлодки шныряют, а мин они набросали без счету! И всяких. Что было, то и бросали: и новые и старье всякое. Идем мы, вдруг сигнальщик кричит: «Справа по борту мина!» В самом деле плавает старушка, гальваноударная. Это такая, с рогульками. Ну вот. Расстояние порядочное, однако вахтенный начальник доложил командиру, переменял курс — миноносец отходит подальше, чтобы расстрелять ее. Но вахтенный не отдает команду, в бинокль смотрит. «Что-то, — говорит, — странная какая-то мина». И все тут смотрят на нее — кто в бинокль, кто в кулак, а кто просто так. Смотрят, смотрят, и все видят, что в этой мине что-то на особицу, а что — понять не могут. А один матрос — глаза у него лучше всякого бинокля работали — подходит и говорит: «Разрешите доложить, товарищ лейтенант. Там на мине человек висит». Как так? Как может человек на мине висеть? Это не качели в детском садике, на таких качелях на небо взлетишь. Командир скомандовал спустить шлюпку — может, это какая фашистская подлая выдумка, и тогда ее надо разгадать, чтоб другие не нарвались, а может, и в самом деле какая отчаянная душа уцепилась. Но лейтенанту приказывает близко не подходить, людьми не рисковать, действовать по обстановке. Отошла шлюпка, подгребает осторожно к мине, не очень близко, а так, что все видно. В самом деле: висит человек на мине, за рогульки держится. И человек, по всему виду, наш: в тельняшке, и все обличье русское. Окликнули его — живой, голову поворачивает, а голоса не подает. Тут кричит ему один: «Эй, браток, хоть невеста и хороша, не торопись со свадьбой, успеешь обвенчаться! Подгребай сюда!» —

«Отставить неуместные шутки! — говорит лейтенант. — Зубы над этим не скалят. Человек в обнимку со смертью плавает». Старшина ему кричит: «Бросай свою чертову цацку, гребни сюда!» А он только голову поворачивает и «мама» сказать не может и не отрывается. Видно, руки у него как вцепились, так и заоченели, и голос и силы человек от холода или, там, от страха потерял. Что тут делать? На шлюпке не подойдешь и конец не кинешь — он может не ухватить, а ну как дернешь по этой рогульке — и его в пыль и от шлюпки ничего не останется. Тут один матрос и говорит: «Разрешите, товарищ лейтенант, попробую снять этого мореплавателя». — «Давай, — говорит лейтенант, — только осторожнее». Разделся тот, кончиком обвязался и поплыл. Кончик за ним понемножку травят. Подплыл он, видит: человек уже не в себе, понимать понимает, а сделать со своими руками ничего не может — зашлись. И голос пропал. Подплыть-то подплыл, а как его снимешь? Волна хоть и небольшая, а бьет, и эта чертова игрушка на ней танцует — не подступишься. Подплыл наш матрос к тому человеку со спины, вцепился рукой ему в волосы — благо кудри густые да длинные, — а другой давай пальцы его разжимать. Намучился он с ним — прямо беда! Вода холодная, а ему жарко стало. Пальцы у того, как крючья, — совсем окостенели. Мало-помалу оторвал одну руку, потом вторую, отпихнулся изо всей силы ногами, а там на шлюпке следили — рванули конец к себе. Вот его тащат, он одной гребет, другой того держит. А у того руки так и застыли — поднятые вверх, вроде как у святых на иконах. А эта подлая мина хоть и тихонько, а за ними плывет — куда, значит, течение. Ну, тут на шлюпке тащат их за кончик, чуть не под водой, лишь бы поскорей. Подтащили, подняли их... Потом мину расстреляли, конечно. А человек тот отошел. Спиртом растирали и всякое такое. Отошел...

Ефим Кондратьевич зажигает погасшую трубку.

— А где тот матрос? Живой? — спрашивает Миша.

— Живой. По Днепру теперь плавает.

— А тот, что с мины его снимал?

— И тот живой... Ну, спите давайте, а я проеду, хозяйство свое посмотрю. Скорый на Херсон должен идти.

Ефим Кондратьевич уходит, а ребята долго молчат, и каждый думает об одном: а он сумел бы сделать то, что сделал этот отчаянный матрос? Им хочется думать, что — да, сумели бы и они, но сказать это вслух не решаются, потому что это было бы пустое бахвальство: на словах сумеет каждый, а вот попробуй на деле...

Так и не решив этого вопроса, Тимофей и Миша засыпают, а Костя никак не может уснуть. Ему представляется волнующееся хмурое море, окутанное легкой дымкой тумана, зловещий металлический шар с рогульками, танцующий на волнах, и человек, который вырывает у смерти уже обреченную, окоченевшую жертву...

— Костя! А Костя! — слышит он шепот Нюры. — А знаешь, это ведь тато про себя рассказывал. Он тогда матроса с мины снял. Только он не любит про это рассказывать. А приезжал к нему друг — тот самый, что на mine висел, — они думали, что я сплю, и всё вспоминали, а я не спала и слышала...

Ошеломленный Костя широко открывает глаза и рот.

— Ага! — продолжает Нюра. — Все как есть слышала! Ты только у него не спрашивай, а то он рассердится. Я тогда утром спросила, так он сказал, что мне приснилось и чтобы я не приставала с глупостями.

— Вон он какой! — с чувством говорит Костя.

— У! Ты еще даже не знаешь, какой он... Он такой!.. — Нюра не находит слов и делает неопределенный, но очень взволнованный жест. — Я же, ты знаешь, найденная.

— Как — найденная?

— А так. Вот он вернулся с флота. Да? А ни мамы, ни меня нет. Он туда, сюда — нет, и всё. Мама же эвакуировалась, а куда — никто не знает. Эшелон ушел на восток. А сколько их было! И может, мы уже разбомбленные, может, нас уже нет? Да? А он не поверил и начал искать. Сколько он искал — ужас просто! И нашел! То есть нашел место, где мы раньше были, — в Кустанае. Только мамы уже не было... она умерла... — Голос Нюры вздрагивает. — А меня тоже не было. Меня сдали в детский дом, а он переехал, а потом снова переехал. И опять ему никак не найти. А он все-таки нашел. Всю Среднюю Азию изъездил и нашел! Это я уже помню, это в сорок шестом году было. И тогда он сказал: «Теперь, дочка, шабаш. Поехали до дому и будем жить вместе». Вот мы приехали и живем. Он потому и в бакенщики пошел. Он же матрос, мог на пароход или на море, а он не захотел, чтобы меня не оставлять. «А вдруг, — говорит, — опять потеряешься!..»

— Хороший он у тебя!

— Ага. Вот только если бы мама была жива!.. Это хорошо, когда есть мама...

В голосе Нюры звучит глубокая печаль. Костя не находит, что сказать, чем утешить ее, и молчит.

— Тебе хорошо — у тебя мама есть! Расскажи, какая она. А?

— Что значит какая? — растерянно переспрашивает Костя. — Обыкновенная. Мама как мама...

Он будто ненароком меняет позу, отворачивается от костра, потому что лицо и даже уши его начинают гореть. С удивлением и стыдом он чувствует, что ему нечего сказать о своей маме, он ничего о ней не знает.

Вот папа — другое дело. Папа был убит на войне, когда Костя был еще маленький, но он хорошо знает, где служил капитан Голованов, какие у него награды и за что они получены.

А о маме он никогда не думал. Костя был слишком занят своими делами, чтобы думать о ней. И что же тут думать? Когда он просыпался, на столе стоял завтрак — это была мама. Приходил из школы — его ждал обед. Нужны были чистые рубашки, или новые башмаки, или пальто — они появлялись, и это тоже, конечно, была мама. Она делала все, что нужно было Косте, а больше он ни о чем не думал. Если Костя баловался, обижал Лельку, мама сердилась и строго отчитывала его. Что же еще?

Свернувшись калачиком, Нюра давно уже спит, а Костя, сопя и ворочаясь, вспоминает и думает. И, оказывается, вспомнить можно многое.

Он смутно помнит себя еще совсем-совсем маленьким. Живут они не в Киеве, а в завьюженном, насквозь продутом буранами Барнауле. Зимой бураны могут человека свалить с ног, и он замерзнет, а летом ветер со свистом несет над городом песок и пыль. Как ни кутайся и ни прячься, песок всюду — на вещах, на одежде, скрипит на зубах.

Зимой Косте нечего надеть, и на улицу его не пускают. Завернувшись в одеяло, он сидит у окна, смотрит на воюющие белые вихри и ждет маму. Приходит она поздно, закутанная во всякое тряпье, как матрешка, в огромных бахилах — пимах. Она толстая, но, раздевшись, оказывается маленькой и худенькой. Мама топит печку, кормит Костю, и, если ей не нужно опять идти в госпиталь, они садятся к теплой печке и немножко разговаривают.

Мама работает медицинской сестрой. Уходя на дежурство, она оставляет Косте вареную картошку или, изредка, кашу и хлеб. Хлеба мало, и мама просит есть его не сразу, а понемножку. Костя обещает. Но день длинный, ждать скучно, и от этого есть хочется еще больше. Костя щиплет его понемножку и незаметно съедает весь. Когда приходит наконец мама, Костя голоден, как хозяйский Шарик. Он ест и ест и, только наевшись, вспоминает:

«А у тебя, мама, разве нет хлеба? Почему ты одну картошку?..»

«Ешь, ешь, — улыбается мама. — Мне не хочется. И потом, тебе надо расти, а я уже большая, выросла...»

Иногда, проснувшись ночью, Костя видит, что мама сидит у коптилки, и плечи ее вздрагивают. Это потому, что от папы долго нет письма, и мама беззвучно плачет над его старыми письмами. Костя начинает нарочно громко ворочаться, мама гасит коптилку, ложится рядом с ним, и он, согревшись, засыпает.

Когда с фронта приезжал папа, Косте было не до мамы. Он примерял папины медали и погоны, расспрашивал про войну и всюду ходил за ним. Он помнит, что мама тогда стала еще красивее и была веселее всех. Она бегала и смеялась, как маленькая девочка, тормозила Костю и постоянно пела. Папа провожал ее счастливыми глазами и тоже смеялся...

А когда папа погиб, она стала опять такой, как в Барнауле. Только еще бледнее и печальнее. Косте тогда было шесть лет, а Лелька еще лежала в коляске. Марья Афанасьевна, соседка, приходила к ним, останавливалась у порога и, пригорюнившись, жалостливо смотрела на Лельку и Костю. «Сиротки вы, сиротки! Как же вы теперь будете?» — приговаривала она.

Однажды мама рассердилась и сказала ей:

— Марья Афанасьевна, я попрошу вас детей моих не жалеть — у них есть мать!

Она кончала тогда институт и каждый день ходила на лекции. Когда прибыло извещение о гибели папы, она опять начала работать медсестрой и все-таки ходила в институт. Приходила она поздно, и случалось, что, вернувшись из школы, Костя не находил обеда, а мама сидела у стола, закрыв глаза и опустив руки. Костя сердито швырял свою сумку с книгами и бурчал, что вот учишься, учишься, а поесть вовремя не дадут!

«Не сердись, Костик, — устало говорила мама. — Я сейчас...»

Костя наедался и убегал к товарищам, а когда возвращался, мама что-нибудь шила или стирала. И Костя удивлялся: что это такое, что мамы вечно шьют и стирают, как будто нет дела интереснее!

Иногда мама просила Костю поиграть с Лелькой или убрать комнату. Костя возмущался и ехидно спрашивал:

«А кто будет за меня уроки учить? Лелька, да?»

Мама ничего не говорила и убирала сама...

Костя долго ворочается на гремящем дождевике, но, как бы он ни лег, все ему жестко и неудобно. Он дает себе множество обещаний и честных слов и, вконец истомленный стыдом и запоздалым раскаянием, засыпает.

А КАКОЕ У ТЕБЯ ПРИЗВАНИЕ?

— Костя! Вставай же, Костя! — будит его Нюрин голос. — Ребята уже давно ловят. Ты всегда так долго спишь? Да?

Костя сразу же вспоминает вчерашний разговор, и у него пропадает охота вставать, ловить рыбу. Он ничего не отвечает и поворачивается на другой бок.

— Не хочешь — как хочешь, — решает Нюра. — Я тогда сама буду ловить.

Костя слышит, как она собирает удочки и уходит. Тогда он поднимается. Пусть уходит! Очень нужно, чтобы она опять заговорила про вчерашнее!.. Солнце еще не взошло, но уже почти совсем светло. Над рекой опять тает легкая дымка тумана. Поеживаясь от прохлады, идущей с реки, Костя пробирается к ухвостью острова. На берегу Старицы сидят рыболовы: неподвижный Тимофей, суеющийся даже сидя Миша и Нюра.

Снизу по темной и неподвижной еще реке идет лодка. Это Ефим Кондратьевич завершает утренний объезд бакенов.

— Дядя Ефим! — кричит ему Костя. — Возьмите меня с собой!

Ефим Кондратьевич причаливает, Костя прыгает в лодку, и они плывут дальше. Дядя на весла Костю не пускает: у него еще не сошли водянки; Костя берет кормовое, правит и изредка, где нужно, подгребает. Они оба молчат и работают.

Косте приятно это спокойное мужское молчание, приятно погружать весло в темную тугую воду, слышать ее курлыканье под веслами и смотреть на бегущую навстречу им широкую водную гладь.

Кланяющийся красный бакен Чертова зуба остается позади — они погасят его на обратном пути, — уплывает назад остров. Они гасят огни на белых бакенах, потом переваливают к правому берегу, пускают лодку по течению и один за другим гасят красные.

Рыболовы уже поджидают их на берегу. Нюра приплясывает от нетерпения и размахивает живой сверкающей низкой — своей добычей. Миша о чем-то спорит с Тимофеем, который неторопливо снимает рыб с кукана и бросает в ведро.

Тимофей и Миша снова садятся на весла, а Нюра, захлебываясь и давясь словами, рассказывает, какие огромные рыбыны срывались у нее с крючков. Тимофей добродушно усмехается, а Миша дразнит Нюру и говорит, что она не умеет отличить голавля от головастика, а тоже садится ловить.

Лодка пристает к берегу, Тимофей и Миша берут свои ведра с уловом.

— Так ты приходи, Костя! — говорит Миша. — Я тебе радиоузел покажу.

— Ага, приходи, — подтверждает Тимофей, — мы тебе все покажем.

Они уходят, но, сделав несколько шагов, спохватываются и кричат:

— Спасибо, дядя Ефим! Можно, дядя Ефим, мы еще придем?..

Ефим Кондратьевич подтаскивает лодку повыше на берег. Костя ему помогает. После ночного разговора ему хочется делать все так, чтобы это было приятно дяде. Не то чтобы он заискивал или рассчитывал на похвалу — и без всяких похвал Косте приятно помогать ему и даже просто быть возле него.

Прибрав инвентарь, дядя идет отдыхать — ночью он не спал, — Нюра опять моет пол, потом собирается что-то стряпать, и Костя остается один. Он купается, ныряет, но одному купаться скучно, а нырять, когда никто не видит твоего полета, и вовсе не интересно.

Костя устраивается на корме лодки, стоящей у берега, опускает ноги в воду и смотрит на реку. Какая она все-таки большая! В Киеве, особенно если смотреть сверху, с Владимирской горки, или из Первомайского сада, она кажется узкой и тесной. В середине и конце лета песчаный выплеск Труханова острова подходит чуть ли не к самому правому берегу, а причалы на нем становятся похожими на длинные недостроенные мосты — так мелеет и сужается река. Между быками бывшего Цепного моста, подвернув штаны, бродят рыболовы. И, если бы Костя не опасался, что мама узнает и ему влетит, он бы свободно переплыл с берега на берег. Конечно, не один, а, скажем, вместе с Федором.

Здесь не переплывешь. Если опустить голову к воде, левый берег кажется совсем низеньким и очень далеким. Он и в самом деле далеко, даже грести устаешь. И течение быстрое. Журчащие струи все время мягко и упруго выталкивают Костины ноги на поверхность; у самого дна вытянулись и дрожат, как струны, зеленые нити речной травы.

Костя пробует представить себе, как от сверкающей ряби на поверхности до темного дна, где, поводя усами и отдуваясь, лежат в ямах сомы, от этого гористого, коренного, до левого, низменного, берега, во всю эту ширину и глубину идет тугая, упругая толща вод. Идет ежеминутно, ежечасно, из года в год, зимой и летом, ни на секунду не останавливаясь, не иссякая.

Раньше река была для Кости местом, где купаются, ныряют с вышки, загорают, катаются на лодках и катерах. На уроках географии учитель говорил, что это «водные пути» и «белый уголь», но эти слова оставались сами по себе, а на первом плане были обжигающий песок пляжа, слепящие зайчики на воде и трепещущие на леске красноперки.

Теперь река выглядит иной. Спокойно несет она свои воды, и, как ни бороздят ее волны, как ни кромсают колесами и винтами пароходы, она остается такой же спокойной и величавой.

А пароходы идут один за другим. Большие и маленькие. Белые и нарядные — пассажирские и серые — буксиры. Одни идут торопливо и легко, в одиночку, другие грузно, с натугой тащат вереницы барж или плотов. Каждый раз на подходе к острову сверху они гудят строго и предостерегающе: «Посторонись, иду-у-у!» И сразу же за каменной грядой берега широко распахиваются — плыви, мол, не задерживайся...

Нюра кончает стряпню, будит отца и зовет Костю завтракать.

— Тато, мы к бабушке в село ходим, — говорит Нюра. — Ладно? Да? А то я уже сколько не была, просто ужас! Она же к нам прийти не может. Да? Ей потом на гору не влезть. А мы сбегаем. И к ребятам. Обед я приготовила, и ты разогреешь. Да?

И вот они идут по луговине к Гремячему яру. Из-под ног брызжут кузнечики, над головами вьются столбики мошкары. Где-то в Старице, заросшей травой, квакают и стонут лягушки. Нюра то и дело нагибается, рвет скромные блеклые незабудки, фиолетово-синий мышинный горошек и похожий на яичницу-глазунью бело-желтый поповник. Цветы тонко и нежно пахнут свежестью реки и сеном.

Широкая, заросшая травой улица пустынна. Только посередине, там, где колесами и копытами дорога взбита, как пуховик, взрываются пыльные клубы. Там куры ныряют в пыль, встряхиваются, ошалело смотрят по сторонам, сипят и снова ныряют. В тени плетней и вишняков, вывалив розовые языки и хакая, лежат разомлевшие от зноя собаки. Они провожают взглядом Нюру и Костю и опять закрывают глаза. Только один большой пес приподнимается, лениво бухает простуженным басом и вертит лохматым хвостом в

прошлогодних высохших репьях, словно не может решить, рассердиться ли ему и залапать как следует, или надо, наоборот, приветствовать их. Однако и для того и для другого слишком жарко. Нюра и Костя не обращают на него внимания, и, покружившись на одном месте, он снова ложится.

Хата бабушки — в глубине двора. Ее совсем не видно за розовыми кустами, красными, лиловыми стрелами мальв, львиного зева.

Бабушку, маленькую, сморщенную старушку с выцветшими, но когда-то, должно быть, такими же голубыми, как у Нюры, глазами, они находят на огороде.

— Внучка пришла? — говорит она, и морщинки на ее лице разбегаются в радостной улыбке, словно улыбается каждая из них. — От и добре, що пришла! А це хто?.. А, Юхимовой сестры сынок. От який гарнесенький!.. Здрастуй, здрастуй!.. Ну, ходимте до хаты.

После зноя улицы в хате кажется прохладно и сумеречно от вишен, заслонивших окна.

— Ну от, сидайте, молочка выпейте... Як вы там з батькой хозяйнуєте?

Пока из Нюры словно взапуски выскакивают слова, бабушка ставит на стол молоко, хлеб.

Костя пьет сначала из вежливости, потом наливается молоком, пока в животе у него не начинается бултыхаться. Ему нравится и маленькая прохладная хатка, и ласковая, тихая бабушка.

— Мы пойдем, бабуся! — вскакивает Нюра. — Нам еще и к Мишке надо, и к Тимке...

— Бижить, бижить, — кивает бабушка. — Тильки потом заходьте, я вам сметанки наготувала...

Знойная улица кажется такой длинной, что Косте тоже под конец хочется повалиться под плетень, высунуть язык и истомлено хакать, как разомлевшие собаки.

— Уже скоро... Вот уже пришли, — говорит Нюра.

Небольшой домик под черепицей с распахнутыми настежь окнами, как и всё здесь, прячется в тени деревьев. На двери висит строгая табличка: «Посторонним вход воспрещается».

— Как же мы?.. — недоумевает Костя.

— Ничего... Сейчас! — говорит Нюра и пронзительно свистит.

В окне появляется прихрамывающий молодой парень в выгоревшем от солнца кителе без погон и со светлым, тоже выгоревшим чубом.

— Что еще тут за свистуны? — притворно хмурится он.

— Это я, Федор Павлович, — смущенно улыбается Нюра. — Это я Мишу зову. Он здесь? А можно нам ваш узел посмотреть? Я уже видела, а он — нет. Это мой двоюродный брат. Он сын моей тети... У тато сестра — так она его мама.

— Также радист?

— Нет, он не радист. Мы только посмотрим и ничего трогать не будем. Вот честное пионерское!

— Не будете? — прищуривается Федор Павлович. — Михайло! — окликает он. — Тут твои дружки пришли.



Миша выходит на крыльцо и ведет их в домик. Он старается двигаться медленно, говорить неторопливо и солидно, явно подражая Федору Павловичу, но ему это плохо удается.

— Вот смотрите, — говорит он, — это приемное устройство, это усилитель. Принятые антенной радиоволны идут сюда, здесь они усиливаются, а потом... Нюрка, убери руки!.. идут по радиоточкам. Питание у нас свое, от колхозной электростанции...

Комната уставлена железными шкафами и шкафчиками, покрашенными в светло-серый цвет. На них множество всяких ручек и кнопок. Косте, как и Нюре, хочется потрогать их, но он удерживается. Если бы еще был один Миша, а то тут же сидит этот Федор Павлович и, отставив левую ногу — должно быть, на протезе, — ковыряет отверткой в какой-то замысловатой штучке, из которой в разные стороны торчат обрывки разноцветных проводов. На столе перед ним стоит коробка репродуктора, и в ней тихонько шепчут что-то разные голоса, булькает музыка.

— Раньше мы только транслировали московские, киевские программы. А сейчас оборудовали студию и теперь можем сами передавать и доклады, и самодеятельность, и всё... И председатель и бригадиры могут наряды прямо по радио давать. Раньше чуть что — беги по хатам, а теперь взял микрофон — и пожалуйста: «Яков Лукич, как у вас там яровой клин? Жмите, жмите давайте! Чего? Косилка сломалась? Сейчас... Кузница? Кузьма Степаныч! Слетай посмотри, что там у Лукича с косилкой...» Здорово?

— Здорово! — соглашается Костя. — А ты чего делаешь?

— Дежурю. Федору Павловичу помогаю. Поправляю чего надо. Я все умею!

— Михайло, не задаваться! — не поднимая головы, говорит Федор Павлович.

— Есть не задаваться, Федор Павлович!.. Ты сколько тут будешь?.. Мало... А то я бы тебя научил. У нас радиокружок, пятнадцать человек. Ну, все изучают, а самые лучшие...

— Михайло... — предостерегающе доносится от стола.

— Есть, Федор Павлович... Ну, те, которые лучше разбираются, — те дежурят на радиоузле. Нас таких четверо. Вот мы по очереди и дежурим. А ты в кружке работаешь?

— Нет. У нас дома приемник. «Рекорд».

— Ну, «Рекорд»! Это разве приемник... Вот «Радиотехника» — это да!.. А на радиостанции ты был?

— Разве туда пускают?

— Одного не пустят, а с экскурсией пустят. Правда, Федор Павлович? Ух, я бы на твоём месте!.. — Лицо и вся подвижная фигурка Миши выражают такой стремительный порыв, что без слов становится очевидным, как много бы он сделал, будучи на месте Кости.

— Киевская кончилась, переключай на Москву, — говорит Федор Павлович.

— Есть!

Миша подлетает к щиту первого металлического шкафа, переключает какие-то рычажки, крутит маленькие черные диски с насечкой по краям. Из репродуктора на столе оглушающе гремит бас, потом, словно поперхнувшись, затихает, вместо него звучит оркестр, он с громом и стуком изображает, как быстро-быстро пилят дрова.

— Американский джаз, — смеясь, оборачивается Миша.

Пилка дров затихает, ее вытесняет спокойный голос московского диктора.

— Пошли, — говорит Нюра.

Косте нравится здесь, и уходить ему не хочется, не узнав назначения всех рычажков, лампочек и ручек, но он стесняется молчаливого Федора Павловича, который копается в ощетинившейся проводами штучке. Они прощаются с ним и уходят. Миша провожает их на улицу,

— Ты приходи к нам, — говорит он. — Я тебя всему научу! Хочешь? У тебя как по физике?.. Ну, тогда проще простого... В два счета научу!

— Михайло, не задаваться! — голосом Федора Павловича говорит Нюра и прыскает.

— Ничуть я не задаюсь, а просто... Попробуй-ка сама!.. А Федора Павловича ты не бойся, Костя, он хороший...

— Ага, задавак не любит! — вставляет Нюра, но Миша даже не смотрит в ее сторону.

— У него, видал, вместо левой ноги протез. Он сам сделал. Лучше всякого фабричного. У него орденов знаешь сколько!.. А вы куда? К Тимке? Арбузы-репы смотреть?..

Тимофея они находят в большом тенистом саду за каменным двухэтажным зданием школы.

Он неторопливо ходит от дерева к дереву, осторожно нагибает ветки и осматривает зеленые, словно поросшие пухом шарики плодов.

— Здравствуй, Тимка! — кричит Нюра. — Мы пришли! Здравствуй!..

— Здорово! — улыбается Тимофей, и сейчас же лицо его становится строгим. — Только по деревьям не лазить и ничего не рвать.

— Очень нам нужно! — оскорбляется Нюра.

— Нужно не нужно — я предупреждаю. А то больше не пуцу.

— Где же твои арбузы? — спрашивает Костя.

— Я не только арбузами занимаюсь, я и грушами занимаюсь. У меня трехлетка по грушам.

— Как — трехлетка?

— Ну, трехлетний план. Понимаешь? Во время войны за садами уход какой был? Никакой. Немцы садов повырубили сколько? Потом зимы были знаешь какие! Люди замерзали, не то что деревья. Ну, а груша — дерево нежное, теплолюбивое. Вот всякие бэры, дюшесы и вымерзли. Восстановить надо? Надо. А что? Опять бэры и дюшесы? Стукнет мороз — они опять померзнут. А по селам, в колхозах, у колхозников сохранились местные сорта, они выжили. Вот, значит, надо их разыскать, культивировать, распространить...

— Что же ты, по всей Украине будешь ездить?

— Ну зачем? Разве я один? Нас знаешь сколько, юных мичуринцев? Ого! Вот я тебе покажу письма — у меня знакомые чуть не по всем областям есть. То есть так, по письмам, знакомые. Ну, мы обмениваемся семенами, опытом... Пойдем вот, я тебе покажу. Мне один из Кировограда прислал семена, так дерево уже вот такое...

Тимофей показывает Косте множество саженцев, называет их сорта, откуда присланы семена и рассказывает, как он, Тимофей, их выхаживает и воспитывает. Костю это не очень

занимает: все деревья, по его мнению, одинаковы, разница только в том, что одни побольше, другие поменьше. Однако он слушает и удивляется Тимофею. Тимофеей здесь совсем не такой, как на реке. Он остался таким же неторопливым, но ни сонным, ни ленивым его не назовешь. Основательно, по-хозяйски, он шагает между саженцами, говорит уверенно и спокойно о вещах, Косте не известных, и даже почти не нукает.

— Пстой! — вдруг спохватывается Тимофеей. — А где Нюрка? Ну, я ей сейчас дам!..

Но Нюра уже идет им навстречу, старательно любуясь не то верхушками деревьев, не то плывущим над ними перламутровым облаком.

— Ты где была? — подозрительно спрашивает Тимофеей.

— Ходила, смотрела, — пожимает плечами Нюра. — Уже и это нельзя, да? Пойдем отсюда, Костя!

— Нет, стой! Покажи язык.

— Вот еще! Зачем это я буду язык показывать?

— Показывай! Ну?

— Ну на! — высовывает Нюра язык, предательски почерневший от вишневого сока. — Жалко стало, что я две вишенки съела? У тебя воробьи больше поклевали...

— То воробьи. А ты не воробей, а пионерка.

— А ты — жадина!

— О чем вы, ребята? — раздается звонкий грудной голос.

Рядом на дорожке стоит молодая женщина в цветастом платье и смеющимися серыми глазами смотрит на них.

— Пусть она сама скажет, — буркает Тимофеей.

— И скажу, — упавшим голосом говорит Нюра. — Мне, Елена Ивановна, очень захотелось попробовать... Я всего две штуки и сорвала, а Тимка уже кричит. Там воробьи вон сколько поклевали, а ему двух штучек жалко!..

— Ему не жалко, конечно. Просто раньше времени рвать нельзя. И ты больше не будешь, правда?.. Вот и хорошо. А ты кто? — поворачивается Елена Ивановна к Косте.

— Костя.

— Тоже юный мичуринец?

— Н-нет.

— А кто же? Юннат, юный техник?

— Нет. Я просто так...

— А-а... — улыбается Елена Ивановна и поворачивается к Тимофею.

Они наклоняются над чахлым саженцем бумажного ранета и обсуждают, что с ним делать. Елена Ивановна предлагает его заменить, а Тимофеей, упрямо набычившись, настаивает на том, что заменять не надо, он берется его воспитать, и тот еще покажет, будьте покойны!

— Хорошо, — говорит Елена Ивановна, — на твою ответственность.

— Ладно, — спокойно и уверенно соглашается Тимофей.

— До свиданья, ребята! До свиданья, Костя-Просто-Так! — снова улыбается Елена Ивановна и уходит.

— Пойдем, — говорит Тимофей, — теперь я тебе свои арбузы покажу.

— Не хочу! Я домой пойду! — внезапно рассердившись, отвечает Костя.

— Ну ладно, в другой раз.

— И в другой не хочу. Нужны мне ваши ранеты и арбузы!..

Он поворачивается и напрямик, а не по дорожкам, идет из сада. Нюра бежит за ним. Тимофей озадаченно смотрит им вслед, потом опять склоняется над хилым саженцем.

Костя буравит ногами горячую бархатистую пыль дороги и ищет, на чем бы сорвать досаду, однако нет даже камня, чтобы запустить в собаку. Нюра идет сзади и тоже молчит. Только когда село остается позади, у обрыва Гремячего яра Костя видит груды комьев глины и начинает сердито швырять их в яр. Раздражение мало-помалу спадает, но неприятный осадок остается.

— Ну и пусть! — бормочет он, швыряя последние комья. — Подумаешь!..

— Ты что, Костя? А? — озабоченно спрашивает Нюра. — Ты на кого рассердился? На Тимку, да?

— Ни на кого!.. Пошли домой.

Они сбегают в яр, выходят на луговину. Опять брызжут из-под ног кузнечики и висят столбики мошкары над головами, но веселое, радостное настроение не возвращается. Костю раздражают и кузнечики и мошкара, а лягушек он бы всех передал, чтобы они и не пискнули больше.

— А почему я должен быть кем-то? — вдруг поворачивается он к Нюре. — Захочу — и буду, а не захочу — не буду!

— Так разве я что говорю? — недоумевает Нюра.

Но Костя не слушает.

Почему, в самом деле, он должен быть обязательно мичуринцем? А он вот хочет быть не мичуринцем, а моряком!

— Да ведь тебя никто не заставляет.

— А чего она смеется?

— Кто?

— Ну, эта ваша... учительница.

— Она и учительница и старшая пионервожатая.

— Ну и пусть! А Мишка и Тимка... Чего они задаются?

— Так они же ничего не говорили!

— Ну, не говорили, а все равно задаются, что они умеют, а я — нет... Подумаешь! Я знаю и умею побольше их...

Костя действительно знал и умел делать множество вещей и про себя этим гордился. Он знал всех знаменитых киноактеров, знал поименно почти всех мастеров спорта, а многих — и в лицо; футболистов киевского «Динамо» он узнавал по походке, со спины; никто лучше его не мог разобраться, почему левый край «промазал» и как капитан команды обводит противника; он наизусть знал все марки автомашин — советские и иностранные; сделал сам аквариум, а если рыбки в нем подошли, то виновата хлорированная водопроводная вода, а не он; а когда он собирал марки, так у него были такие, что даже из девятого класса приходили с ним меняться. Лучше его в пятом «Б» никто не умеет плавать кролем, а «ласточка» получается лучше только у его друга Федора.

Конечно, Костя знает и умеет столько, сколько не знают все эти Мишки и Тимки, вместе взятые, но почему-то это нисколько Костю не утешает. И он наконец догадывается почему: оказывается, Миша и Тима делают то же, что и взрослые, а он, Костя, — нет. Ну, конечно, не совсем, как взрослые, однако дело-то у них одно и то же...

— Их просто заставляют, вот и все! — говорит он вслух.

— Кого, Тимку и Цыганенка? — догадывается Нюра. — Попробуй их заставь! Никто их не заставляет, им самим интересно — вот они и помогают... И чего ты сердишься? Тебя ведь не заставляют.

Нет, конечно, не заставляют... Ему много раз предлагали вступить то в один, то в другой кружок, но Косте в кружок идти не хотелось — ему казалось, что это похоже на уроки: тоже есть расписание, задания... Так и получилось, что почти все ребята были заняты каким-то делом, увлекались им, а Костя был сам по себе. В зоопарке он видел, как паренек, вроде него, Кости, возился с медвежонком, должно быть юннат. А Сергей Казанцев ходит в Дом юных техников и строит паровую машину. В двадцать пятой школе есть общество юных историков, и они каждое лето ездят куда-нибудь в экспедицию. Костя подумывал было вступить в это общество, чтобы ехать в экспедицию, но для этого нужно было написать историческую работу, а писать Костя не захотел.

Увлекался он не раз. Узнав о чем-либо новом увлечении, Костя загорался тоже, но быстро остывал и бросал ради нового занятия, чтобы без сожаления оставить вскоре и его ради третьего. Все его захватывало, но ненадолго, и проходило бесследно. «Это не мое призвание», — решал про себя Костя и успокаивался.

А какое же у него призвание? И что значит — «призвание»? Кто и что его призовет? Куда? И когда это будет?

Костя до вечера мрачно лежит на берегу, отмахивается от Нюры и ищет свое призвание. Оно так и не отыскивается, приходится идти ужинать и ложиться спать.

А утром прохладная, прозрачная вода, слепящее солнце смывают мрачные мысли, и Костя опять становится самим собой: загорает, купается, пробует добраться к гнезду стрижа, но только зря обдирает колени на крутом откосе. Приходят Миша и Тимофей, и в мелкой песчаной затоке они начинают сооружать плот из плавника. Набухшие коряги, обломки дерева сами-то плавают, но удержать на себе никого не могут и тонут вместе с отважными мореплавателями.

Бегут дни. Костя катается на лодке с ребятами, а иногда — недалеко — и один. Гребет он уже хорошо и однажды с удивлением обнаруживает, что на руках у него вместо вялого пучка

мускулов появились маленькие, но твердые бицепсы. Изредка он заглядывает в Нюрино зеркальце — там показывается облупившийся нос, выгоревшие, как прошлогодняя трава, брови, и Костя заранее прикидывает, кто сильнее загорит: он или Федор.

Они так сдружились вчетвером, что Костя с грустью думает о том, что все-таки придется расставаться с новыми друзьями. А как хорошо было бы, если бы они все четверо жили в Киеве! Если к ним добавить еще верного боевого друга Федора, это была бы такая компания, что лучше не сыщешь.

Все было хорошо, но время от времени в самый разгар игры Миша убегает дежурить на радиоузел, Тимофей — к своим саженцам, а Нюра спохватывается, что еще надо варить, прибираться и вообще заниматься всякими хозяйственными делами. Костя остается один, и у него портится настроение. У всех есть какое-то дело, все чем-то заняты, один он болтается без всяких занятий, только купается и загорает. Его снова одолевает неловкость оттого, что он — Костя-Просто-Так и до сих пор не нашел своего призвания, потому что до того, пока он станет моряком, еще очень далеко, а сейчас он никак не может определиться.

## СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Ребята зовут Костю к себе, он долго не соглашается: ему еще слишком памятна его растерянность и неловкость оттого, что все при деле, а он — так себе. Постепенно воспоминание об этом становится менее острым, и однажды перед вечером он соглашается сходить с Нюрой к бабушке. Однако к бабушке они попадают не сразу.

Лишь только Нюра и Костя входят в село, мимо них пулей пролетает рыжий мальчишка. Он отбегает довольно далеко, потом, спохватившись, оборачивается, азартно машет им рукой, кричит:

— Что плететесь! Айда скорее! — и бежит дальше.

— Чего это он? — спрашивает Костя.

— Не знаю. Это Сенька Журило. Случилось что-нибудь или что? Побежим, а?

— Побежим!

Взрывая пыль, распугивая ошалело кудахчущих кур, они бегут по улице, пока их не останавливает Миша:

— Стойте! Еще рано...

— Чего рано?

— В школу рано. Вы ведь туда?

— Мы не знаем. Сенька кричал «скорее», мы и побежали.

— Эх, вы! Ничего не знаете, а бежите! — насмешливо улыбается Миша. — Нет, видно, мне надо взяться за вас и радиофицировать.

— Михайло, не задаваться!.. — голосом Федора Павловича говорит Нюра.

— Я не задаюсь, а надо радио слушать! Я сам по радио объявлял.

— Что?

Миша останавливается, делает строгое лицо и, глядя мимо Нюры и Кости, торжественно, немного нараспев объявляет:

— «Внимание, внимание! Говорит сельский радиоузел. Пионеры отряда имени Саши Чекалина должны собраться сегодня в школе к восемнадцати ноль-ноль для выполнения специального задания». Вот что! Понятно?

— Нет, непонятно, — говорит Костя. — А какое задание?

— Ишь, ловкий! Кто же специальное задание разглашает? Это же как военная тайна!

Костя конфузится и умолкает. Нюра приходит ему на выручку:

— Ох, Мишка, опять ты нос дерешь! Сам небось ничего не знаешь, а тоже туда же... Ведь не знаешь, да?

— Это дело наше — знаем или нет, — многозначительно возражает Миша, однако больше не спорит.

Хотя в школу они приходят задолго до шести, там уже много ребят. Миша сразу же куда-то исчезает, Нюра «на минуточку» уходит к подружкам и не возвращается. Костя остается один. Незнакомые мальчики и девочки исподтишка с любопытством разглядывают Костю, но, как только он оглядывается, отворачиваются и делают вид, что Костя их совершенно не интересует. Под этими взглядами он чувствует себя очень неловко, ему кажется — спина у него стала деревянная, а руки и ноги чужие, и, когда появляется Тимофей, он бежит ему навстречу с такой радостью, словно виделись они не вчера, а несколько лет назад.

Следом за Тимофеем, оглядываясь по сторонам, неторопливо ковыляет второй, маленький Тимофей — толстый мальчуган лет пяти. Штаны у него держатся на помочах — перекинутой через плечо поверх рубашки узкой матерчатой ленте, застегнутой на огромную перламутровую пуговицу. То ли не доверяя помочам, то ли боясь потерять свою необыкновенную пуговицу, мальчуган идет, держась за нее обеими руками.

— Братишка? — спрашивает Костя.

— Ага. Вот увязался на мою голову! Слышь ты, прилипало! Иди, не отставай, а то сейчас домой отправлю!

Мальчик неторопливо приближается к ним и во все глаза начинает рассматривать Костю.

— Как тебя зовут? — спрашивает Костя.

Тот долго молчит, продолжая разглядывать, потом надувается, выпучивает глаза и выдавливает из себя:

— Горка...

— Здравствуй, Горка-Егорка! Ты зачем пришел? В пионеры хочешь? Да? — подбегает и принимается тормозить его Нюра.

Егорке щекотно, он хохочет и брыкается:

— Ага! Пусти! Не щекотай...

— Отряд, стройся! — командует невысокий большелобый мальчик с нашивками на рукаве.

Нюра и Тимофей отбегают, Костя и Егорка остаются одни. Отряд выстраивается на песчаной дорожке,

— Смир-рно!..

От школы идут Елена Ивановна и высокий, худощавый мужчина с близко поставленными, запрятыми в подбровье глазами. Пышные усы старят его, на самом же деле он молод. Услышав команду на линейку, он подтягивается и шагает четко, по-военному. Большелобый мальчик делает несколько шагов им навстречу, вскидывает руку в салюте:

— Отряд имени Саши Чекалина построен в полном составе! По неизвестным причинам не явились трое! Рапорт сдан!

— Рапорт принят! — салюует в ответ Елена Ивановна. — Будьте готовы!

— Всегда готовы! — гремит линейка.

— Вольно, ребята! — негромко командует Елена Ивановна. — Очень хорошо, что вы так аккуратно собрались. Колхоз обратился к нам с просьбой о помощи. Для нас это — почетное задание, наш долг! И мы ему, конечно, не откажем, правда?

— Всегда готовы! Конечно! Ясно! — кричит линейка.

— А сейчас бригадир Иван Кузьмич расскажет вам, в чем эта просьба.

Иван Кузьмич одергивает свою выгоревшую гимнастерку, оглядывает строй:

— Такое дело, ребята... Сейчас, вы знаете, время горячее, каждая пара рук на счету, и оторвать с поля мы никого не можем. Ну, а свиньи и прочая живность, — усмехается он в усы, — лезет во всякую щелку, ищет, где смачнее. Товарищи колхозники обижаются: надо, мол, плетни заделать, где прохудились. И правильно обижаются, конечно: заделать надо. Кроме того, клуню надо подремонтировать. Что для этого требуется? Требуется для этого дела исключительно лоза. На Старице, на острове ее — завались, а послать нам некого — это же двух-трех человек надо на целый день оторвать. Нарубить лозы — дело нетрудное и вам вполне посильное. А доставку в колхоз — это мы уж сами обеспечим. Вот такое дело. Понятно?

Строй отвечает восторженными воплями:

— Понятно! Ура! На остров! Хоч зараз!

Костя мучительно завидует стоящим на линейке.

Большелобый мальчик сердито хмурится и командует:

— Тихо!

— Значит, так, ребята, — говорит Елена Ивановна, когда строй затихает, — сбор завтра здесь к двенадцати. Совет отряда останется, мы распределим обязанности, кому что делать, и так далее. Вопросы есть?

— Елена Ивановна! — звенит голосок Нюры. — А можно нашему Косте с нами? Он же тоже пионер, хотя и не нашего отряда.

Елена Ивановна оборачивается, узнает Костю, улыбается и кивает ему:

— Конечно, можно! Всем желающим можно.



Костя вспыхивает от удовольствия. Молодец Нюрка! И эта Елена Ивановна тоже, оказывается, ничего все-таки... Егорка, стоящий рядом, надувается и пыхтит.

— Ты чего? — нагибается к нему Костя, но тот выпучивает глаза и не отвечает.

Строй рассыпается, Миша и Тимофей подходят к Косте, через минуту подбегает и Нюра, которая успела о чем-то переговорить с Еленой Ивановной. Костя и Нюра идут к бабушке, потом домой.

Нюра попросила у Елены Ивановны разрешения в село не являться — все равно отряд должен прийти к домику бакенщика, который будет отправным пунктом.

Утром Нюра варит обед, а Костя свободен. Он бродит по луговине, ловит кузнечиков и стрекоз: самых лучших он отдаст в школу для коллекции, остальных подарит Лельке — она любит всяких букашек.

Издали Костя замечает, как на противоположном откосе Гремячего яра показывается маленькая фигурка, быстро сползает, скатывается вниз. Он долго ждет, пока фигурка покажется на этой стороне — кто может идти к ним в такую рань? — но никто не показывается. Тогда Костя бежит к яру и заглядывает с обрыва вниз.

Там, на дне, барахтается Егорка. Прорезанные водой подмывы ступеньками сбегают вниз. Они почти в Егоркин рост, и, для того чтобы взобраться на каждую такую ступеньку, Егорка сносит комья глины в кучку, становится на нее, ложится на ступеньку животом, забрасывает ногу и, взобравшись, снова собирает комья глины, чтобы преодолеть следующий барьер. Он уже взмок, весь перепачкался глиной, но упрямо лезет вверх.

— Егорка, ты куда? Давай я тебе помогу! — кричит Костя.

Егорка поднимает голову, пыхтя и отдуваясь смотрит на Костю, но долго не отвечает.

— Я сам! — произносит он наконец и опять принимается за работу.

Костя ложится на землю и, свесившись, наблюдает за ним.

Егорка устал, комья глины под ногами у него разъезжаются, крошатся, ему приходится отыскивать новые. В довершение всех бед сверкающая перламутровая пуговица его отрывается, катится на дно яра, и лишённые единственной опоры Егоркины штанишки ползут вниз.

— Эй, герой! Штаны потеряешь! — хохочет Костя.

Егорка не отвечает. Зажав в кулаке пояс штанов, он сползает вниз за пуговицей. Карманов у него нет, девать ее некуда, в руке она мешает. После некоторого раздумья он впихивает ее за щеку и снова карабкается наверх.

— Так ты до вечера не вылезешь. Погоди, — говорит Костя.

Он сбегает вниз и подсаживает Егорку со ступеньки на ступеньку.

Взобравшись наверх, Егорка вынимает из-за щеки пуговицу и независимо говорит:

— Кабы не пуговица, я бы сам... Подумаешь!

— Да куда ты идешь?

— Треба, — коротко отвечает он и направляется к домику бакенщика.

— Горка-Егорка! — всплескивает руками Нюра, увидев его. — Ты зачем? А извозился-то! Где ж твоя пуговица?

— Вот, — разжимает кулак Егорка, придерживая другой рукой сползающие штаны.

— А ну, снимай! — командует Нюра. — Иди мойся, а я пришью.

Егорка послушно раздевается — Нюре он доверяет больше, чем Косте, — идет мыться, а Нюра вытряхивает из его одежки глиняную пыль, пришивает пуговицу.

— Это он с нами прилаживается. Ох и задаст ему Тимка, как увидит!.. Ты что, с нами хочешь? — спрашивает Нюра.

— Ага, — не оборачиваясь, отвечает Егорка.

— Тебя не возьмут, ты маленький.

— А я все одно поеду! — упрямо говорит Егорка и надувается.

— Ладно, не надувайся. Идем поедим, а то нам скоро ехать надо.

Егорка беспрекословно идет следом и ест все, что подставляет ему Нюра. Он внимательно и неторопливо оглядывает все вокруг и слушает, но в то же время в нем непрерывно идет напряженная мыслительная работа. Силясь додумать или понять что-либо занимающее его, он перестает есть, даже затаивает дыхание, словно боится спугнуть ускользающую мысль.

Если в такую минуту его спрашивают о чем-нибудь, он выпучивает глаза и, не понимая, переспрашивает;

— Кого?

Костя и Нюра смеются, им обоим Егорка нравится. Нравится он и Ефиму Кондратьевичу.

— Самостоятельный мужчина, — усмехаясь, говорит он.

Возле Гремячего яра трубит горн, рокочет барабан. Нюра и Костя бегут навстречу отряду.

Впереди отряда шагает большелобый мальчик. В вытянутых руках он держит флажок.

— Это наш председатель совета отряда, Митя Дымко. Умный — просто ужас! Он как начнет говорить, всех забывает! — сообщает Нюра Косте. — Здравствуйте, Елена Ивановна! Нам можно в строй, Елена Ивановна?

Они пристраиваются в хвост колонны.

Возле дома колонну встречает Ефим Кондратьевич. Костя и Нюра рассказали ему о специальном задании, но он, оказывается, знал о нем еще раньше: накануне он был в селе, и председатель колхоза договорился с ним, чтобы он присмотрел за рубкой и обеспечил перевозку ребят и лозы.

— Здравствуйте, Ефим Кондратьевич! Вы поможете нам переправиться? — спрашивает Елена Ивановна.

— Мое почтение! Помогу, а как же. Вам одной на реке с этой командой трудно будет.

Строй рассыпается. Нюра подбегает к Тимофею:

— А к нам знаешь кто прибежал? Егорка ваш.

— Ну! — встревожено вскидывается Тимофей.

— Ага. Я, говорит, с вами поеду...

— Вот я ему «поеду»!

— Тато, а где Егорка?

— Да тут все время вертелся.

Тимофей, Нюра, а потом чуть не весь отряд начинают искать, но не находят — Егорка исчез.

— Что ж мы зря ищем, время теряем? — рассудительно говорит Митя Дымко. — Он, наверно, испугался, что ему попадет, и убежал.

— Ну да, испугаешь его, настырного!.. — недоверчиво тянет Тимофей.

Однако Егорки нет, и Елена Ивановна предлагает садиться в лодки. Их две. В меньшую на весла садятся старшие мальчики — с ними поедет Елена Ивановна. Большую должен вести Ефим Кондратьевич, и туда, ойкая и тараторя, забираются девочки. Одна из них проходит на нос, но только усаживается на широкую и длинную скамейку и опускает ноги вниз, на ворох стеблей привянувшего аира, как тут же с визгом вздергивает их и кричит:

— Ноги! Ноги!..

Никто ничего не понимает, но Тимофей догадывается сразу. Расталкивая девочек, он бежит на нос и из-под скамейки вытаскивает за ноги Егорку. Тот упирается, цепляется руками за весла, скамейку, но Тимофей молча и сердито отдирает его пальцы и тащит на берег.

Сначала все смеются, но лицо Егорки выражает такое отчаяние, он с такой мольбой переводит глаза с одного на другого и — видно по всему — так оглушительно сейчас заревет, что всем становится его жалко.

— А может, возьмем его, Елена Ивановна? — нерешительно спрашивает Нюра. — Мы за ним приглядим. Да, девочки?

— Да-да! Мы посмотрим за ним! — подхватывают девочки. — Возьмите его, Елена Ивановна!

Елена Ивановна вопросительно смотрит на Тимофея и Ефима Кондратьевича.

— Возьмите, что ж! — усмехается Ефим Кондратьевич. — Малец любопытный, интересно ему.

— Я вот всыплю ему сейчас «интереса» и домой отправлю! — сердито говорит Тимофей.

Губы Егорки растягиваются в назревающем плаче, он поворачивается к Елене Ивановне и из последних сил выдавливает:

— Сами говорили — «желающие»... А я — желающий...

— Вот что, желающий, — решается Елена Ивановна. — Иди садись со мной и на острове — от меня ни на шаг! Хорошо?

— Л-адно... — со всхлипом произносит Егорка и поспешно лезет в лодку.

Он сразу успокаивается и, вертя головой во все стороны, следит за тем, как пионеры усаживаются, как отчаливает лодка Ефима Кондратьевича, как гребет Костя. На брата, сидящего за вторым веслом рядом с Костей, он не смотрит.

Лодка удаляется от берега, кругом — только сверкающая под солнцем вода, и Егорке становится жутко. Он потихоньку сползает с банки и садится на дно лодки — там от воды подалее и не так страшно.

— Испугался? — спрашивает Елена Ивановна.

Егорка сопит, разглядывает, ощупывает решетку на дне и не отвечает. Потом, видя, что ничего не случается, все сидят спокойно, он вползает обратно на банку, но на всякий случай старается держаться как можно ближе к Елене Ивановне. Через Днепр он переправляется первый раз, и любопытство оказывается сильнее страха. А интересно вокруг все.

По реке плывут веточки, травинки. Откуда они плывут и куда? Вода вовсе не течет спокойно, а ходит кругами, будто закипает, и снизу поднимается что-то мутно-желтое.

— Это чего? — спрашивает Егорка.

— Песок, — отвечают ему.

Егорка надолго задумывается. Песок лежит на дне, а как же и зачем он поднимается вверх? Может, над ним смеются и обманывают? Но никто не смеется, рядом сидит Елена Ивановна, она большая, при ней врать побоятся. И все-таки: песок ведь не живой, и, если его бросить в воду, он всегда тонет, это Егорка знает твердо — сколько раз он сам швырял пригоршни песка в реку, и каждый раз тот сразу же шел ко дну.

Егорка так задумывается над этой неразрешимой загадкой, что затаивает дыхание и краснеет от натуги.

— Ты что? — спрашивает Костя.

Егорка не сразу понимает и выпучивает глаза:

— Кого?

Все смеются, но Егорка не обращает внимания. Он показывает на желтеющую песком суводь:

— А почему?

— Песок-то? Его течением со дна подхватывает и выносит вверх.

Егорка недоверчиво косится, потом поглядывает на Елену Ивановну — она молчит. Значит, правда. Теперь понятно, почему он, Егорка, тонет. Купается он в сельском ставке, где плавают гуси, а там никакого течения нет, и Егорку неудержимо тянет на дно. Оказывается, надо забраться туда, где глубоко и быстрое течение. Сначала он пойдет на дно, а потом его течение само вытащит вверх. А вдруг не вытащит? Все говорят, что он толстый и тяжелый. И потом, другие ребята — они же плавают и в ставке... Нет, тут что-то не так, наверно, его все-таки обманывают, и Егорка опять надолго задумывается.

— Гадюка! Гадюка плывет! — кричат девочки на большой лодке.

Все сразу поворачиваются в ту сторону, лодка накреняется.

— Сидите спокойно! — строго говорит Елена Ивановна.

Ребята садятся по-прежнему, но изо всех сил вытягивают шеи, вглядываются в воду. От большой лодки к ним, разрезая россыпь солнечных зайчиков, движется маленькая головка, от нее разбегаются, как усы, такие же маленькие волны.

— Эх, вы! — кричит зоркий Тимофей. — Это уж, а не гадюка!

Он вынимает из уключины весло и, когда уж подплывает близко, подцепляет его веслом и выхватывает на воздух. Сверкающая на солнце змейка судорожно изгибается, срывается с весла и ныряет под лодку. Ребята готовы продолжать охоту, но Елена Ивановна не разрешает, и, с сожалением поглядывая на уплывающего ужа, Костя и Тимофей опять берутся за весла.

Вот и остров. Все выскакивают, начинают дурачиться, бегать по раскаленному песку. Только один Митя Дымко остается серьезным.

Он торжественно выносит отрядный флажок, вонзает его древко в песок и кричит:

— Тихо, ребята!

— Не будем терять времени, — говорит Елена Ивановна, — работы много. Сделаем так, как договорились вчера: мальчики рубят, девочки подносят лозу сюда, к лодкам. Кто хорошо гребет, будет помогать Ефиму Кондратьевичу перевозить.

— Лесорубы, взять топоры — и ко мне! — командует Митя.

— Подносчики — ко мне! — звонко кричит белокурая девочка с большими, будто удивленными, глазами.

Костя уже знает, что это и есть Галя Здравствуй.

Девочки собираются вокруг Гали. Костя и другие ребята вытаскивают из лодки топоры и идут к Мите. Тимофей, Миша и молчаливый долговязый Борис остаются возле лодок — они будут перевозчиками.

— Только вот что, лесорубы, — предупреждает Ефим Кондратьевич. — Подряд не рубите: изводить под корень кусты не к чему. И выбирайте лозу тонкую и подлиннее. И с топорами поаккуратнее, ноги себе не покалечьте.

— Есть не рубить подряд, выбирать тоньше и длинней! — отчеканивает Митя. — За мной!

Закинув топоры на плечи, как заправские лесорубы, ребята бегут к зарослям тальника, и над островом рассыпаются легкие, приглушенные удары топоров о сырую лозу. Следом за мальчиками идут девочки, подбирают срубленные прутья. Елена Ивановна показывает, как тонкой, гибкой лозой связывать прутья в пучки. Егорка не отстает от Елены Ивановны и тоже старательно собирает прутья, с завистью поглядывая на орудующих топорами мальчиков.

Костя ожесточенно врубается в заросли и следит за работающим неподалеку Митей — не обгоняет ли он. Митя рубит спокойно и неторопливо, но быстро движется вперед — гнаться за ним не так просто. Слева от Кости — рыжий Сеня Журило. Он отрядный горнист, и за спиной у него болтается начищенный до ослепительного блеска горн.

— Мы как в джунглях, правда? — говорит Мите Костя. — И прорубаем дорогу сквозь заросли лиан.

— Это тальник-то — джунгли? — иронически переспрашивает Митя. — Придумал тоже! Ты руби давай, держи равнение!..

Симпатии Кости к Мите сразу гаснут. Никакой фантазии у человека! Может, он и умный, а сухарь... На Митю он больше не обращает внимания, ему не скучно и одному. Он вспоминает прочитанную перед отъездом книжку «Дерсу Узала» и воображает себя то отважным Арсеньевым, пробирающимся через девственные дебри Сихотэ-Алиня, то его проводником.

Костя до сих пор так и не решил, кем лучше быть, — и тот и другой ему нравятся одинаково...

— Лодки уже нагрузились и отчалили! — кричит вернувшаяся с берега Нюра.

— Сеня, труби перерыв, — говорит Елена Ивановна.

Сеня снимает горн, прикладывает мундштук к губам, а раструб поднимает к небу.

«Тра-та-та-та...» — плывет над рекой звонкий голос меди.

Костя еще совсем не устал, он только раззадорился по-настоящему, но подчиняется этому призыву и идет, как и все, на полянку к Елене Ивановне. Ребята обсуждают и подсчитывают, сколько еще надо нарубить лозы, а Костя ложится на бок и наблюдает за Егоркой.

Тот, обойдя поляну, нашел под кустом какую-то норку, лег на живот и старается в нее заглянуть. В норе темно, Егорке ничего не видно, и он засовывает туда руку, потом начинает тыкать веткой.

Костя наблюдает за Егоркой и старается вспомнить, на кого он похож. Да что ж тут вспоминать? На Лельку, конечно! Они совсем разные и все-таки очень похожи. Вот так же и Лелька всегда пристаёт к Косте, пробует за ним увязаться, хочет делать то, что делает он, а Костя ее гонит и шпыняет. Она обижается, иногда даже плачет, но обида скоро проходит, и она опять липнет к нему. Конечно, ей, как и Егорке, интересно все, что делают старшие, и хочется делать то же самое, снисходительно думает Костя, она же маленькая. А он совсем не обращает на нее внимания, как Тимофей на Егорку. Свинство, конечно, если разобраться!..

Лелька далеко, а угрызения совести и благородный порыв не дают покоя сейчас. Костя поднимается:

— Елена Ивановна, можно, я Егорке остров покажу?

— Хорошо. Только смотри — к воде не подходить!

— Я же не маленький, понимаю... Егор, пошли со мной!

Егорка с готовностью вскакивает и бежит к Косте. Минуя вырубки, они идут в глубь острова. Идут медленно, потому что Егорка поминутно останавливается и сосредоточенно разглядывает то гусеницу, ползущую по ветке, то крапивницу, сложившую крылья, как парус, то неведомо откуда и как попавший на остров рваный опорок.

На небольшой полянке, освещенной солнцем, шевелится что-то зеленовато-бурое. Костя бросается вперед. Черепаха! Маленькая, но совсем настоящая, живая черепаха. Привезти в Киев живую черепаху — вот это да! Черепаха пытается убежать, но Костя хватает ее за панцирь; черепаха прячет голову, ноги и замирает. Рядом с Костей, пытая от волнения, уже сидит на корточках Егорка:

— Это кого ты?

— Черепаха! Живая! Вот я ее сейчас переверну на спину, и она никуда не убежит.

Костя переворачивает ее. Некоторое время черепаха лежит неподвижно, потом осторожно высовывает голову, ноги и пытается зацепиться ими за землю.

— Но, не балуй! — щелкает ее Костя пальцем по панцирю, и та опять прячет конечности. — Скорей! Сюда! — кричит Костя.

С треском продираясь через кусты, сбегаются ребята, окружают Костину добычу. Девочки восхищаются и ужасаются, мальчики не склонны к восторгам — они видали и покрупнее. Егорка сидит над черепахой в совершенном оцепенении, потом поднимает голову и решительно говорит:

— Неправда!

— Что неправда? — хохочут ребята.

— Мне Сашко сказал: «Я тебя изуродую, как бог черепаху». А она вовсе и не поуродованная. Обыкновенная. С руками, с ногами...

Произнеся эту длинную речь и не обращая внимания на хохот, он наклоняется над черепахой и опять цепенеет.

— Довольно, ребята! Пора за работу, — говорит Митя, — а то мы с этой черепахой возимся, а лодки вон уже возвращаются.

Сеня Журило опять рассыпает певучие рулады, опять мягко стучат топоры, и девочки бегают к берегу со связками тальника. Рубщики уходят все дальше в глубь зарослей, но Егорка не хочет уходить, и сдвинуть его удастся только Косте, который переносит черепаху на новое место. Улучив момент, когда перевернутая на спину черепаха высовывает конечности, Костя привязывает к ее ноге бечевку. Егорка крепко держит в руках бечевку и теперь уже не боится, что черепаха убежит.

Еще трижды трубит Сеня, трижды уходят и возвращаются лодки, и наконец Ефим Кондратьевич передает через Ньюру, что рубить довольно — на полторку хватит, пора возвращаться. Солнце давно перевалило к западу и часа через три сядет. Ребята усаживаются на берегу и следят, как высоко нагруженные пучками тальника лодки медленно идут в последний раз к берегу, потом плывут обратно. Говорить никому не хочется, все устали, только Митя коротко и четко сообщает, что поработали как будто неплохо, никто не лодырничал, не отлынивал и что хотя Костя и не из их отряда — работал он наравне с лучшими рубщиками. Костя уже бесповоротно решил, что Митя этот окончательный сухарь, тем не менее похвала ему приятна.

Рассаживаются в лодки, как и прежде. Костя и Тимофей гребут. Егорка возится с черепахой. Он боится, что она подохнет от голода, и пытается запихать ей в рот то пучок травы, то двух стрекоз, которым он поотрывал крылья, чтоб не улетели. Черепаха тычется по дну лодки в разные стороны, есть ничего не хочет, и Егорка расстраивается.

— Не бойся, — говорит Костя, — черепахи могут долго без пищи обходиться. Она, может, до самого Киева есть не будет.

Только приблизившись к берегу, все видят, какую огромную кучу тальника они нарубили. Там уже стоит полторка, Иван Кузьмич и шофер грузят связки в кузов.

Первым спрыгивает на берег, держа флажок, Митя и подает команду:

— Построиться!

Теперь уже Костя тоже становится в шеренгу между Тимофеем и Ньюрой, и ему никто ничего не говорит, только Митя удивленно поводит бровью, но и он, видно, понимает, что Костя заслужил это право.

Иван Кузьмич идет к строю. Митя передает флажок правофланговому и рапортует:

— Товарищ бригадир! Отряд имени Саши Чекалина полностью выполнил специальное

задание. Никаких происшествий и случаев не случилось. Рапорт сдан.

Иван Кузьмич не знает, как полагается отвечать по форме, и говорит просто и сердечно:

— Спасибо, ребята! Поработали вы на славу. Большое вам от колхоза спасибо!

— Всегда готовы! — гремит дружный ответ.

— Давайте поможем и нагрузить? — предлагает Елена Ивановна.

— Даешь! — кричат все и, словно штурмуя, бросаются к вороху тальника.

Иван Кузьмич и шофер еле успевают укладывать сыплющиеся со всех сторон связки. Через несколько минут тальник высокой горой возвышается над кузовом, шофер обвязывает его веревкой, чтобы не рассыпался.

— Ребята небось притомились? — говорит Елене Ивановне Иван Кузьмич. — Погодите, мы второй ходкой заберем вас.

— Зачем зря машину гонять, бензин жечь? — рассудительно возражает Митя. — И вы же в объезд поедете, а мы напрямиком, через яр, раньше вас дома будем.

— Вот только малыша заберите с собой, — говорит Елена Ивановна.

— Этого? А, Егор Тимофеевич! — улыбается Иван Кузьмич. — Хочешь прокатиться? Вагон люкс, первого класса, мягкий, со свежим ветром.

Он подхватывает Егорку и перебрасывает шоферу, который все еще стоит наверху тальниковой горы.

Лицо Егорки расплывается в блаженной улыбке, но сейчас же растерянно вытягивается: черепаха осталась внизу!

Костя поднимает черепаху. Это его находка, и он собирался везти ее домой, ему очень жалко с ней расставаться. Но колеблется он не больше секунды и забрасывает черепаху наверх:

— Держи свой зверинец!

Егорка хватает бечевку обеими руками и опять расплывается в улыбке.

— Стройтесь, ребята! — говорит Елена Ивановна. — Пора домой.

Опять гремит Сенина труба, рокочет барабан, отряд шагает через луг к яру. Иван Кузьмич взбирается наверх, к Егорке, шофер заводит мотор.

— До свиданья, Горка-Егорка! — кричит Нюра и машет ему рукой.

Машина удаляется. Покачиваясь на мягкой тальниковой горе, сидит Егорка, держит обеими руками черепаху, и лицо его выражает полнейшее счастье.

**ДЕРЖИСЬ, КОНСТАНТИН!**

Зной становится все сильнее. Каждое утро на небе появляются сверкающие, как снег, клубы облаков. Словно боясь обжечься и растаять, они стороной обходят солнце и все-таки тают



задолго до вечера. Ефим Кондратьевич покачивает головой и говорит, что так, без дождя, пропадут все огороды. Тимофей тревожится о своих саженцах, а Костя чувствует себя как нельзя лучше. Вот если бы только по ночам не было так душно. Просыпаясь ночью от духоты, он замечает, как где-то далеко вспыхивают немотные зарницы, и загадывает на завтра дождь, но на следующий день повторяется то же самое. Смола течет с лодок горячими черными слезами, скручиваются в трубки и шуршат, как бумажные, листья тальника.

В воскресенье Нюра, приготовив обед, уходит к бабушке. Ребята почему-то не приходят, и Костя остается один.

День выдается на редкость жаркий и душный.

— Как бы дождя не натянуло — больно уж парко, — говорит за обедом Ефим Кондратьевич.

— Нет, разгонит. Вот увидите! — уверенно возражает Костя.

— Побачимо... Раз хозяйка наша не пришла, придется тебе посуду вымыть.

Костя долго мучается с тряпочкой и мочалкой, которыми Нюра моет посуду, но тарелки почему-то так и остаются жирными и липкими. Тогда он складывает горкой кастрюли и тарелки, несет к берегу и принимается тереть песком. Работа оказывается долгой и канительной. Когда Костя все же справляется с нею, пухнувшие на глазах облака закрывают солнце. Оно прорывается в одно, другое окошечко, но облака скоро смыкаются. С запада, от горизонта, ползет угрюмая туча. Словно убегая от нее, впереди несет тонкая гряда белых облачков, но туча медленно и неотвратно движется следом, клубясь и погромыхивая.

Река стекленеет и, как кажется Косте, останавливается. Замирают беспокойные веточки плакучей ивы, шуршащие листья тальника. Туча приносит не прохладу, а еще большую духоту. Где-то над мохнатой сизой толщей, окутавшей небо, негромко и дробно гремит.

— Я, пожалуй, поеду. Стемнеет рано, — говорит Ефим Кондратьевич. — Оставайся тут на хозяйстве.

Он уплывает, а Костя убирает посуду, ложится на спину и наблюдает за тучами. Они затягивают все небо, громоздятся друг на друга. Смеркается, потом темнеет. Ефим Кондратьевич не возвращается, Нюра тоже. Должно быть, напугавшись туч, бабушка оставила ее ночевать. Открыв двери и окна, чтобы хоть немножко освежить комнату сквозняком, Костя ложится спать.

Будит его звон и грохот. Костя испуганно вскакивает и оторопело смотрит в темноту. Через комнату с воем и свистом несет ветер, хлопает створкой окна, со звоном вылетает стекло, дверь грохает об стену и снова отлетает. С трудом преодолевая воющий напор воздуха, Костя закрывает дверь, подбегает к окну. Под ногами хрустит битое стекло, черепки, что-то впивается ему в пятку. Он захлопывает раму, затыкает одеялом выбитую створку и, найдя спички, трясущимися руками зажигает лампу.

В комнате разгром. Скатерть вместе с ужином для Ефима Кондратьевича сметена со стола, макароны рассыпались по всей комнате, котлета плавает в молочной луже. Вешалка у самой двери висит на одном гвозде, одежда с нее растрепанной кучей свалилась на пол. А под окном лежит груда битых черепков, стекла, земли и мятой, изломанной зелени — остатки Нюриных цветов, стоявших на подоконнике. Ефима Кондратьевича нет. В трубе зло и пронзительно воет ветер.

Костя приоткрывает дверь, она идет туго, потом распахивается, а когда он прикрывает ее за собой, сильно поддает Косте в спину, выталкивая его во двор. Упругая стена ветра прижимает Костю к дому, он с трудом отрывается и идет в черную воющую пустоту, к реке,

где что-то зло бьет и хлещет. Над самой головой непрерывно перекатываются железные бочки. Слепящее огненное дерево, перевернутое кроной вниз, распарывает темень, и все становится бело-голубым, как экран, когда рвется кинолента. Побелевший тальник прижат к земле, ивы размахивают своими руками-плетями, черная взмыленная вода бросается на берег, яростно вскипает и бросается снова.

Небо над головой у Кости взрывается и рушится с таким грохотом, что Костя прыгает с обрыва и прижимается к откосу. Грозы он не боится. Но одно дело — в городе, где есть каменные стены, на крыше дома громоотвод, а в комнате спокойно и уютно горит электричество, другое — здесь, глухой ночью, на пустынном берегу, где никого и ничего нет, кроме стылого ветра, беснующейся черной воды и грохота, от которого вот-вот лопнут барабанные перепонки.

Хуже всего, что никого нет. Ефим Кондратьевич где-то запропастился, кроме него никто появиться здесь не может, и Костя вдруг чувствует себя очень маленьким, бессильным и одиноким на огромном пустом берегу. Ему хочется куда-нибудь убежать, спрятаться, укрыться с головой, чтобы ничего не видеть и не слышать. Но сейчас же Косте становится стыдно. Он, Костя Голованов, трусил! А может, с дядей Ефимом что случилось и ему надо помочь?

Заслонив лицо от ветра согнутой рукой, пригнувшись, Костя пробирается к запасным бакенам и вехам. Дяди там нет. Несколько вех свалено ветром на землю. Костя идет по берегу вверх, потом вниз — ни дяди, ни его лодки не видно. Костя снова спускается к воде, кричит, но звонкий голос его гложет у самого рта, как в вате.

Ветвистые огненные деревья падают со всех сторон, и вслед за каждой вспышкой наверху начинается обвал, будто черные громады туч окаменели и непрерывно рушатся на притихшую в испуге землю.

При вспышке молнии Костя видит, как что-то черное, длинное и толстое стремительно несется к берегу и бросается на него, взгребая толстым рылом кучу мокрого песка. Костя в ужасе отпрыгивает в сторону. Ему хорошо известно, что никаких чудовищ в Днестре нет, но кто его знает?.. Сейчас вся школьная наука выскочила у него из головы, и он, замирая, ждет, когда откроется пасть этого страшилища. Пасть не открывается, чудовище лежит, зарывшись башкой в песок, и только хвост его подпрыгивает и бьет по воде. Потом хвост поворачивается вправо, чудовище сползает с песка, отплывает, и при новой вспышке молний Костя с восторгом и облегчением видит, что это обыкновенное бревно,

Костя жмурится и встряхивает головой — так ему стыдно своего испуга — и сразу успокаивается. Гроза как гроза. Ну, молнии, гром, ветер... Есть чего бояться!

Он возвращается в домик и деловито принимается за уборку. Развешивает упавшую одежду. Расстилает скатерть. Сметает макароны в кучку к порогу, сваливает в ведро битое стекло и черепки цветочных горшков. Молнии по-прежнему полосуют гремящее небо, ветер пронзительно свищет и воет, но Костя уже не боится.

Окончив уборку, он садится на свою кровать и ждет Ефима Кондратьевича, поглядывая на ходики. Порывом ветра маятник накинуло на цепочку, часы остановились, и неизвестно, сколько времени прошло с тех пор. А Ефим Кондратьевич все не возвращается. И что можно делать сейчас на реке? В голову приходят такие предположения, что Косте опять становится не по себе, и он старается об этом не думать, но чем больше старается, тем больше думает.

Сначала редко, потом все чаще начинает барабанить по крыше, и громкий шум дождя наполняет комнату. Капли бьют по стеклу, дробятся и быстро-быстро текут вниз. Костя смотрит на них и жалеет о том, что сейчас ночь. Был бы день, можно бы сбегать к Гремячему яру и послушать, гремит ли он, или это просто так, одни разговоры...

Дверь открывается, дождь хлещет через порог, и в косых потоках его появляется Ефим Кондратьевич. Прикрыв дверь, он проходит к столу. С торчащего коробом плаща льется вода, но Ефим Кондратьевич почему-то не снимает его, а так и садится на табуретку и осторожно кладет руки на стол.

— Не спишь? — спрашивает он.

— Ага, — кивает Костя.

Он с готовностью слезает с кровати, чтобы рассказать, как он проснулся, как ветер разбил стекло и горшки, и вдруг осекается, испуганно уставившись на дядины руки. Левая кисть его кажется огромной по сравнению с правой. Распухшая, в ссадинах, она пугающим багровым пятном лежит на скатерти. Лицо дяди бледно, дышит он прерывисто и трудно, будто долго бежал в гору.

— Бревном помяло, — говорит Ефим Кондратьевич, заметив испуганный взгляд Кости. — Наверху где-то плот разбило, что ли, — бревна по всему фарватеру, как бешеные жеребцы, скакали. Кажется, все уже пронесло... Перевязать бы.

Костя хватает полотенце.

— Смочи водой.

Мокрое полотенце толстым жгутом обматывается вокруг кисти. Чтобы повязка не сползла, Костя перевязывает ее бечевкой.

— Плохо, брат, дело, — говорит Ефим Кондратьевич, глядя на обмотанную руку.

— Ничего, заживет! — Костя старается говорить как можно увереннее и бодрее.

— Я не про руку, рука заживет... Бакен погас. На Каменной гряде, у Чертова зуба... То ли ветер, то ли бревна эти... Бакен на самом стрежне стоит — они небось в аккурат по нему молотили. Может, и совсем с места сорвали...

— Так надо... — начинает и не оканчивает Костя.

Конечно, надо зажечь, но как это сделать? В таких потемках баржу не найдешь, не только бакен. А если его и вовсе нет — что тогда? И как до него добраться? Дядя с одной рукой не гребец, а Костя... Он вспоминает клокочущую, взмыленную воду, яростно бьющие в берег волны, и внутри у него холодеет, будто он уже оказался среди этих волн.

— А если сбегать в село, позвать кого-нибудь?

Ефим Кондратьевич поворачивается к окошку, в которое хлещет то мутно-белый, то голубой при вспышках молнии поток.

— Нет, — говорит он, — теперь через яр не пройдешь. А в обход — далеко, времени нет... — Он вынимает часы, смотрит на них и громко щелкает крышкой. — Через три часа должен скорый идти на Херсон.

— Так разве в такую погоду...

— То дело капитана — идти или нет. Он у меня не спрашивает. Мое дело, чтобы бакены горели... А он вот погас!.. — На щеках у Ефима Кондратьевича вздрагивают и злыми буграми застывают желваки.

Так сидят они, маленький и большой, смотрят на перехлест дождевых струй и думают об

одном и том же. В бегучих, брызжущих потоках Косте видится огромный белый пароход, который осторожно, словно ощупью, идет по взлохмаченной реке. Пассажиры спокойно спят, а вся команда впивается глазами в беловатую мглу дождя, отыскивая бакен. Огня не видно, значит, его уже прошли, не заметив. Все облегченно вздыхают, вахтенный по медной трубе дает команду в машину увеличить ход. Пароход, покачиваясь, ускоряет бег, и вдруг с лязгом и громом все летит на палубу, в пробитое днище вламывается позеленевшая, осклизлая скала, хлещет вода, которую ни остановить, ни откачать. Гаснет свет, кричат сброшенные с коек пассажиры, и дальше начинается такое страшное, что Костя едва не вскакивает с места, чтобы куда-нибудь бежать, звать на помощь...

Но бежать некуда, крика никто не услышит. Чем больше Костя понимает это, тем страшнее ему становится, и он все чаще взглядывает на дядю. Ефим Кондратьевич, не отрываясь, смотрит в окно. Морщины на лбу и возле губ его становятся глубже и резче. Он приподнимается и осторожно снимает левую руку со стола.

— Придется тебе подсобить, Константин, — говорит он и испытующе смотрит на Костю.

— А как же... Конечно! — с готовностью вскакивает Костя.

Из чулана они приносят два красных фонаря, заправляют и зажигают их.

— Оденься потеплее.

— Да я не замерзну... — пробует возразить Костя, но, встретив суровый взгляд дяди, умолкает, надевает штаны и куртку.

Ефим Кондратьевич протягивает ему обшитый парусиной пробковый пояс, и Костя подвязывает его на груди. Пояс для него велик, пробковые бруски упираются Косте под мышки, и ему приходится держать руки растопыренными. Дядя берет моток толстой веревки с петлей на конце и веревку потоньше, Костя подхватывает фонари, и они идут сквозь секущий порывистый ливень к реке.

Лодка на треть залита водой, но ее все равно мотает и подбрасывает. Костя черпаком выплескивает воду за борт, дядя устанавливает и привязывает на носу фонари, укладывает под банки багор.

— Я поведу бечевой, а ты будешь править. Метра полтора от берега, лишь бы на берег не наезжала. Сумеешь?

— Конечно.

— А не боишься?

— Чего бояться?

Дядя обвязывает Костю тонкой веревкой, конец ее укрепляет у себя на поясе. Толстую он с помощью Кости привязывает к скобе на носу, петлю надевает через плечо.

— Ну, держись, Константин! — сурово и беспокойно говорит Ефим Кондратьевич.

— Ладно, чего там...

Ефим Кондратьевич отпускает нос лодки, и ее сейчас же утаскивает в шумную толчею волн и дождя. Вся Костина храбрость мгновенно улетучивается. Вцепившись в банку, он с ужасом смотрит, как исчезает дядя, берег и остается только мокрая, скользкая лодка, которую бьют и подбрасывают волны. Он понимает, что дядя близко, что нужно брать весло и грести, но не может оторвать рук от банки, ему кажется, что его немедленно сдует, стряхнет с

раскачивающейся кормы в холодную черную воду.

— Готово? — доносится из дождевой мглы.

Костя отрывает руки от банки и хватает весло:

— Готово!

Лодка дергается, виляет носом, и по тому, как начинают хлестать волны под задранный нос, Костя догадывается, что она пошла против течения.

Молнии полосуют гремящее небо, и сквозь дождь видна согнувшаяся фигура дяди. Он совсем близко, метрах в двадцати, и Костя окончательно приходит в себя. В случае чего, он в любой момент может повернуть лодку, и она уткнется в берег. И на поясе у дяди конец веревки, которой обвязан Костя. В конце концов, можно бы и без веревки, а то и спасательный пояс и веревка... Это уж просто перестраховка. Но, как только под порывами ветра лодку начинает мотать больше обычного, Костя, не выпуская весла, прижимает локоть к боку, чтобы ощутить опоясывающую его веревку. Так проходит немало времени. Костя не знает сколько, и ему некогда об этом думать. Оказывается, вести лодку на бечеве совсем не просто. Она уже дважды прибывалась к берегу, дядя подходил и молча отпихивал ее. Дождь становится тише, в струящейся пелене его уже можно смутно различить берег. Костя так старательно вглядывается в него и работает веслом, что совсем забывает о страхе, и страх исчезает.

Лодку резко разворачивает и подносит к берегу.

— Всё, вылезай! — говорит Ефим Кондратьевич.

— Да как же вы? Разве вы сами?.. — умоляет и протестует Костя, но дядя молчит, и он вылезает на берег.

Дядя отдает Косте свой дождевик, веревки, укладывает поближе к себе багор и берет весло:

— Отталкивай. И иди домой.

Разъезжаясь ногами в мокрой глине, Костя отпихивает лодку. Ему видно, как, уперев рукоятку кормового весла в локоть левой руки, дядя энергично загребает правой, лодка поворачивается, уходит в темноту, и скоро ни дяди, ни ее не видно, только тревожно пляшут в темноте красные огоньки привязанных фонарей.

Ветер пронизывает мокрую куртку, штаны облипли вокруг ног, Косте холодно, но он не уходит, следит за огоньками и загадывает: на месте бакен или нет? Дядя плывет туда, рассчитывая на течение, которое должно отнести лодку к Каменной гряде. А удастся ли дяде угодить на то место? Это ведь не днем, когда видны берега, другие бакены и можно ориентироваться. Сейчас там ничего не видно, кроме беснующейся, взмыленной воды.

Огоньки быстро удаляются, сливаются в один, потом и он исчезает. Костя вскакивает на взгорок — огонек появляется снова, колеблется, словно задуваемый ветром, и потом быстро начинает уходить вправо, по течению. Костя бежит по берегу, спотыкается, скользит на глине, падает, но, не чувствуя боли, сейчас же вскакивает и бежит дальше, боясь упустить подпрыгивающий на волнах огонек. Он приближается к берегу все больше и больше, неожиданно лодка оказывается совсем близко и пристает. Костя хватается за веревку на носу, придерживает, чтобы лодку не унесло.

Ефим Кондратьевич сидит на средней банке, опустив голову на руки; Косте даже сквозь шум волн слышно, как он тяжело и хрипло дышит. Отдышавшись, дядя встает и замечает Костю:

— Нету... Нет бакена или не нашел — черт его знает... Хорошо, что ты остался. Надо снова

заводить лодку вверх...

Костя опять берет весло, садится на корму, дядя впрягается в бечеву, и они снова ведут лодку вдоль берега, к тому месту, откуда, по расчету Ефима Кондратьевича, течение должно сносить лодку на бакен Чертова зуба. Дождя нет, ветер немного стихает, только волны по-прежнему мотают и подбрасывают лодку, но Костя уже не боится. Ему просто некогда думать о черной, взлохмаченной воде, о глубине и опасности — он изо всех сил старается вести лодку так, чтобы дяде было легче и не приходилось останавливаться. По-прежнему грохочет гром, края неба опоясывают ветвистые огненные деревья, озаряя устало шагающего Ефима Кондратьевича.

Наконец Ефим Кондратьевич подтаскивает лодку к берегу и приседает на нос — отдышаться. Костя подбирается к нему вплотную и, не веря и не надеясь, отчаиваясь, начинает горячо убеждать:

— Дядя Ефим, возьмите меня!.. Вам же трудно... Разве можно с одной рукой?.. А я помогу... Ну, хоть немножечко, а помогу. Думаете, я боюсь? Я нисколько не боюсь! Вам же надо и грести и смотреть... И мы найдем!.. А, дядя Ефим?.. Возьмите, а?

Ефим Кондратьевич ничего не отвечает и отрицательно покачивает головой. Костя принимается уговаривать еще горячее:

— Вы думаете, я буду бояться? Да я здесь один еще хуже боюсь! А с вами я не боюсь... И как же вы там с одной рукой? И опять не найдете, а скоро пароход... А, дядя? Я же теперь сильный, я же хорошо гребу!..

— А что нам твоя мать скажет?

Мама? Костя даже зажмуривается от этой мысли. Ну, если мама узнает!.. Это не Лельку за бант дернуть или сесть за стол с грязными руками...

— Так она же и знать не будет! — находит Костя выход.

— Ну нет, врать я не стану, — отвечает Ефим Кондратьевич. И после долгого раздумья говорит: — Ладно... Времени мало, а я с одной-то рукой опять могу промахнуться.

Костя садится на весла, Ефим Кондратьевич отталкивается кормовым веслом. Лодку подхватывает течение и судорожно мотает с борта на борт, с носа на корму.

Только теперь Костя начинает понимать, на что он вызвался. Это совсем не то, что грести в тихую, ясную погоду на спокойной реке. Весла дергает, бьет волной, они то загибают пустоту, то по самые вальки зарываются в воду, мокрые вальки скользят, бьются в руках, как живые, норовят стукнуть Костю в грудь, в колени, сбросить с банки и вырваться на свободу. Сцепив зубы, Костя борется с ними изо всех сил, но силы слабеют, он начинает задыхаться, а волны становятся крупнее, весла все упрямее рвутся из рук.

И откуда-то снизу по Косте идет ледяная волна неудержимого, отчаянного страха, от которого спирает дыхание и все тело немеет. Ничего они не найдут и не сделают! Волны сильнее, они вырвут весла, зальют, опрокинут лодку, разметают их, дядю и Костю, в разные стороны, потащат по беснующейся воде к Чертову зубу, с размаху швырнут о Каменную гряду и забьют, зальют в водовороте... Надо скорее, скорее, пока не поздно, выбраться из этой злобной водяной толчеи. Судорожно напрягаясь, Костя бьет по воде все чаще и торопливее.

— Спокойнее, Костя! Держись! — сквозь плеск и свист доносится голос Ефима Кондратьевича.

Костю охватывает злость и жгучий стыд. А как же настоящие моряки в бурю? Какой будет из

него моряк...

— Трус! Трус! — сквозь зубы шепчет он сам себе, и по щекам его вместе с дождевыми каплями текут злые слезы.

От этих слез оцепенение слабеет, и Костя начинает принаравливать взмахи к качке; весла не так суматошно и бестолково бьют по воде и уже не так рвутся из рук. Занятый собой, он не видит, куда и сколько они проплыли, и с опозданием замечает, что боковая качка прекращается, волны начинают бить в нос. Костя догадывается, что дядя повернул лодку против течения.

— Налегай! — подает голос Ефим Кондратьевич.

Он приподнялся на корме спиной к Косте и при свете редящих молний оглядывает угрюмую, лохматую реку. Костя изо всех сил налегает на весла, всей тяжестью повисая на них. Лишь бы только снесло куда надо, лишь бы только не проскочить мимо бакена! На второй заезд сил у Кости не хватит...

Ефим Кондратьевич вдруг оборачивается и зло, как кажется Косте, кричит:

— Греби! Сильнее греби!

Сам он изо всех сил буравит кормовым веслом воду с правого борта, лодка отваливает влево. Костя, приподнимаясь над банкой, почти падает с веслами то вперед, то назад, слышит, как кто-то в самые уши хрипло и надсадно дышит, и не догадывается, что так трудно, со свистом, дышит он сам. Дядя, бросив весло, подхватывает багор и забрасывает его влево, в воду.

— Бросай весла!

Костя поднимает весла, лодку валит волной набок и почти сразу же разворачивает носом по течению, но не сносит.

— Нашли? Нашли бакен? — задыхаясь, кричит Костя.

— Подай кошку! Держи багор! — командует Ефим Кондратьевич вместо ответа.

Костя хватается за рукоятку багра, Ефим Кондратьевич тоже придерживает ее, прижав левым локтем, а правой рукой бросает кошку. Падает она неудачно, он вытаскивает ее, бросает снова. Теперь она вцепляется во что-то. Ефим Кондратьевич отпускает багор, привязывает веревку кошки к скобе, потом привязывает и рукоятку багра. Отерев рукавом мокрое лицо, он оборачивается к Косте и вдруг здоровой рукой крепко прижимает его к себе:

— Спасибо, Константин! Молодцом!

От радости у Кости перехватывает дыхание, но он тут же вспоминает, как в паническом страхе молотил веслами по воде, и его снова захлестывает горячая волна смущения.

— Так я что же... Разве я... — стесненно бормочет он.

— Нет, нам за такое дело медаль полагается... Или, в крайнем разе, — стопка водки! — смеется Ефим Кондратьевич.

Косте тоже становится весело и смешно. Нет, в самом деле: это же не шутка — в такую грозу, в потемках найти на ревушей, бушующей реке маленький деревянный треугольничек бакена и причалить к нему. Дядя и Костя радуются и смеются, не замечая ни снова начавшегося дождя, ни пронизывающего ветра. А он становится сильнее, подкашивает белесые полосы

дождя, насквозь прохватывает сидящих в лодке.

— Где же бакен? — вдруг изумленно спрашивает Костя.

— В том-то и штука! — говорит Ефим Кондратьевич. — Нету бакена, разбило его. Одна крестовина осталась. Как я ее увидал, и сам не знаю.

— А как же?.. Куда же теперь фонарь?

— Некуда. Придется нам самим вместо бакена... Ты небось замерз?

— Н-нет, — говорит Костя и только теперь чувствует, что ему действительно очень холодно.

Дядя распахивает свою куртку и прижимает Костю. Он, так же как и Костя, промок насквозь, но от его большого, сильного тела идет тепло, и мало-помалу Костя согревается.

Теперь, когда миновало вытеснившее страх ожесточенное напряжение борьбы с волнами, ветром, ожившими веслами, когда делать больше нечего, остается только сидеть и ждать, треплющие лодку волны опять кажутся жуткими, а порывы ветра — зловещими. Через борта переплескивают волны, льет дождь, поверх решетки в лодке гуляют маленькие волны. Костя вычерпывает воду и снова подсаживается поближе к дяде — рядом с ним ему спокойнее.

— Покурить бы, — говорит тот.

Однако курить нечего: спички промокли, табак превратился в скользкую, липкую кашицу. Ефим Кондратьевич сосет пустую трубку, а Костя старается сесть так, чтобы сделаться как можно меньше — сидеть мокрому под порывистым ветром совсем не так весело и приятно, как выбежать в жаркий день под слепой дождик.

Так сидят они и ждут час, другой. Дождь прекращается, понемногу стихает ветер, однако все так же беснуются волны и такая же глубокая темень стоит вокруг. Давно миновал час, когда должен был пройти пароход, — парохода нет, но они сидят и ждут: Чертов зуб нельзя оставить без ограждения. И чем дольше они сидят, тем Косте становится яснее, что самое трудное — не переправа, не поиски бакена, а вот это неподвижное ожидание в холодной мокреде. Но как бы ни было трудно, ждать надо. Они сидят и ждут.

Костя на все лады представляет себе, как, гоня перед собой волну, рассыпая по реке свет и музыку, проплывет мимо белоснежный пароход, а они, дядя и Костя, укажут ему дорогу фонарями. Однако происходит совсем не так.

Сверху доносится продолжительный низкий рев. Из-за острова показывается высокий белый огонь, как глаз, сверлящий темноту, потом широко расставленные зеленый и красный огоньки, а между ними еле различимая серая громада. Она идет прямо на них. Костя судорожно вцепляется в банку, замирая ждет, когда эта громада с хрустом подомнет под себя лодку. Дядя поднимает красный фонарь и держит его в вытянутой руке.

На мгновение Костя слепнет. Ему кажется, что пароход выстрелил по ним — такой ослепительный столб света падает на воду и лодку. Прожектор гаснет, с минуту Костя не может ничего различить вокруг, а когда зрение возвращается, он видит только зеленый бортовой огонь и верхний белый. Серая громадина надвигается, но берет влево, оставляя лодку по правому борту. Через поручни мостика перевешивается человеческая фигура, и искаженный мегафоном голос спрашивает:



— Что, сорвало бакен?

— Плотовищем или корчей разбило! Ничего! Всё в порядке! — отвечает Ефим Кондратьевич.

Фигура выпрямляется, серая громадина, громко дыша машиной, проплывает мимо, и скоро только удаляющиеся огни да волны, подбрасывающие лодку, свидетельствуют, что пароход не привиделся, а действительно прошел мимо них.

Косте хотелось крикнуть, рассказать всем плывущим на пароходе о том, что сделали они, дядя Ефим и Костя, какие они герои. Он заранее представлял, как собьются у поручней испуганные, потрясенные пассажиры, как с ужасом будут смотреть на то место, где над Каменной грядой дыбится волна, и на Костю — с восторгом и благодарностью. Но пассажиры спокойно спят, ни о чем не подозревая, а вахтенный на мостике, может, даже и не заметил Костю.

Бледный, сумеречный рассвет приподнимает небо, раздвигает обзор. Вон уже еле-еле различимо виднеется берег, остров. Теперь можно оставить Каменную гряду: скоро станет совсем светло, и она не будет так опасна.

Ефим Кондратьевич гасит фонари, отцепляет багор, кошку, и лодку подхватывает течение.

Обратно Костя гребет уверенно и спокойно: при свете страшное не так страшно.

Дома Ефим Кондратьевич первым делом зажигает огонь, ставит чайник и достает четвертинку водки.

— Раздевайся! — командует он.

— Да я же ж... Мне уже не холодно. Я уже закаленный, — протестует Костя.

— Ну, раз закаленный, тогда тем больше не опасно. Раздевайся!

Костя раздевается. Ефим Кондратьевич наливает на руку водки и начинает растирать Костю. Рука у него шершавая, как наждак: Костина кожа сразу краснеет и начинает гореть, как ошпаренная.

— Будет! Да будет же, дядя Ефим, мне уже жарко! — упрашивает Костя.

Однако дядя продолжает натирать, потом кутает Костю в тулуп. Оставшуюся водку он выпивает и ставит на стол фыркающий чайник.

Они едят черный посоленный хлеб, пьют крепкий, до черноты, чай. И Косте кажется, что раньше он не ел и не пил ничего вкуснее. Кожа горит, по всему телу разливается тепло, лицо его начинает блестеть от пота. Он заново рассказывает о том, как началась гроза, как он испугался, и теперь ему почему-то не стыдно в этом признаваться. Может быть, потому, что испуг испугом, а все-таки он сделал все, что было нужно...

Ефим Кондратьевич курит свою трубку, слушает Костю и одобрительно кивает. А потом, когда язык у Кости начинает заплетаться, а голова кланяться столу, он тихонько берет его в охапку, укладывает в постель и укрывает.

— Да я же совсем не хочу спать! Я даже и не засну... — еле двигая непослушным языком, протестует Костя и тут же мгновенно засыпает.

Ефим Кондратьевич гасит ненужную уже лампу, одевается и уходит.

Костя спит долго и глухо, без сновидений. Ползущий по комнате солнечный луч подбирается к его лицу, Костя жмурится, морщится — и просыпается. В комнате прибрано, пол вымыт. За окном взапуски звенят кузнечики, кричат стрижи. Костя выходит из комнаты. На веревке сушатся его штаны и куртка, на берегу что-то полощет Нюра. Костя идет к ней, с удивлением ощущая все свое тело. Оно налито тяжестью еще не прошедшего напряжения, пальцы стоят граблями, их трудно сгибать и разгибать. На ладонях вздулись волдыри, исцарапанная кожа саднит. Косте приятно ощущать и эту тяжесть в мускулах, и жжение в ладонях.

Берег прибран и умыт грозой. Еще зеленой кажется высокая луговая трава, пышнее ветлы и тальник, чище небо и голубее бегучая дорога реки. Никогда это не казалось таким радостным и красивым, никогда так хорошо и радостно еще не было Косте. Почему? Костя об этом не думает. Ему просто весело и хочется сделать так, чтобы стало еще веселее. Он разбегается и со всего разгона ныряет в воду возле Нюры. Нюра отшатывается, едва не падает в воду.

— Ой, какой же ты исцарапанный! И синяки! Вот и вот, — сочувственно и восхищенно говорит она, когда Костя выходит на берег. Она уже знает обо всем от отца, но ей хочется узнать как можно подробнее, и она тормозит Костю: — Ну же, рассказывай! Ты с тато плавал на лодке? Да? Страшно было? Мне — очень! Так гремело, так гремело — прямо ужас! А молнии так в тебя и целят! Правда? Я хотела домой, только бабушка не пустила. А то бы я с вами тоже... Да и через яр не пройти. Даже утром трудно было пройти — так и крутит, так и крутит! Тато меня на закорках перенес.

— А где дядя Ефим?

— Бакен ставит. Он утром пришел в село. Мокрый, в глине весь: через яр шел... Потом председатель колхоза выделил двух человек, вот они и ставят теперь бакен... Ну, чего ж ты молчишь? Рассказывай!

Костя рассказывает, но в описании все получается не так страшно и трудно, как было на самом деле. Нюра восхищается и сама подсказывает, понукает его, но это только заставляет Костю рассказывать еще скупее и суше.

И что особенно рассказывать? Все сделал дядя, а он только помогал грести и вычерпывать воду. Ну, поехал в грозу, ну, было страшно. Вот и всё. Какое же тут геройство? Важно, что пароход благополучно миновал гряды и пошел дальше, в Каховку, где его мама и много-много всяких людей будут строить гидроузел. Разве можно им задерживаться? Это же громадная стройка!..

Попозже приходят Миша и Тимофей. Солнце жжет так же яростно, как и до грозы. Ребята перекатываются по раскаленному песку с живота на спину и со спины на живот. Миша и Тимофей пристают с расспросами. Рассказывать снова Косте не хочется, и он небрежно говорит:

— Ночью бакен на гряде сорвало. Я дяде помогал.

За него рассказывает Нюра, и рассказывает с таким восторгом и устрашающими подробностями, что Костя только жмурится и покачивает головой. Миша и Тимофей с уважением смотрят на его синяки. Костя небрежно насвистывает — он наслаждается славой.

Вскоре Тимофей и Миша уходят по своим делам. Ну что ж, у него тоже есть свое! Костя бежит навстречу Ефиму Кондратьевичу, причалившему к берегу.

— Проснулся, герой? — улыбается Ефим Кондратьевич. — Ну как, не кашляешь?

— Не... А у вас рука не болит? Что ж вы меня не взяли?

— В другой раз возьму. Мне хлопцы — спасибо им — помогли. А рука ничего, отходит понемножку...

Костя помогает дяде убрать весла, инструмент и так до самого вечера не отходит от него. А вечером, когда дядя собирается в объезд, Костя, ни слова не говоря, отправляется с ним. Опухоль на руке у Ефима Кондратьевича уже спала, но грести ему еще трудно, и Костя усердно помогает.

Спит он крепко, но настороженно, и на рассвете, когда нужно снова ехать к бакенам, он вскакивает с постели, хотя дядя старается уйти как можно тише.

— Ты куда?

— С вами.

— Спи, спи давай! Тебе спать надо.

— Нет, я поеду! — упрямо говорит Костя и так умоляюще смотрит на дядю, что тот больше не возражает, и они едут вместе.

Это повторяется изо дня в день. Никаких происшествий больше не случается, но теперь Косте уже не кажется скучным зажигать и гасить огни на реке, быть сторожем реки. Вернее, он чувствует себя не сторожем, а хозяином.

Никогда и ничто не доставляло ему столько удовольствия и радости, как эти поездки к бакенам! Костя не понимает, почему это так, да, правду сказать, и не задумывается над этим. Лишь потом, позже, он поймет, что прежде он делал только для себя, теперь же — для других, а настоящую радость приносит человеку только такой труд, который нужен и полезен другим людям.

Телеграммы, даже если их ожидаешь, всегда почему-то приходят неожиданно. Вот так неожиданно приходит и телеграмма от мамы: она уже в Киеве, и Косте надо возвращаться. Костя радуется и огорчается: ему хочется повидать маму, верного Друга Федора, соседских ребят и даже Лельку, но совсем не хочется уезжать отсюда. Однако уезжать надо.

Вчетвером они обходят все заводы, протоки, купаются, пыряют до непрерывного звона в ушах, но говорят мало. Расставаться им жалко. Миша убеждает Костю приехать снова, побывать в Киеве и приехать.

— Ну разве он приедет? — тянет Тимофей. Его полное, всегда веселое и добродушное лицо теперь было расстроеным и огорченным.

— А знаете, ребята? Мы еще увидимся! — говорит Нюра. — Что, если мы сами приедем? А? Вот возьмем и приедем! Да?

— И правда! — подхватывает Костя. — Вот будет здорово! Я вам всё-всё покажу!

— Ну, так нас и пустят, — сомневается Тимофей.

Все понимают, что действительно это не так просто, и еще больше скучнеют.

На прощанье Тимофей приносит Косте мешочек яблок,

— Ранние, мичуринские, — внушительно говорит он. — Ты мне только косточки обратно пришли.

И Костя понимает, что более щедрого, самоотверженного подарка быть не может.

Нюра набивает Костину сумку пирожками, которые она испекла сама, а дядя дарит позументного «краба» на суконке, которого можно пришить к фуражке или просто повесить над столиком. Мише подарить нечего. Он очень огорчается этим, потом придумывает, как отметить отъезд Кости. Миша собирает ворох сухого тальника и, когда Ефим Кондратьевич подсаживает Костю с лодки на пароход (это снова «Ашхабад»), зажигает костер. Дым высоким столбом поднимается к небу, словно вежа на его высоком голубом своде.

— Что ж ты приуныл, моряк? — говорит Косте старый знакомец, веселый помощник. — Видишь, как тебя провожают. Тут радоваться надо.

— Ага, — невнятно отвечает Костя и больше ничего сказать не может.

Вцепившись в поручни, он смотрит на уплывающий берег. В стороне от костра стоит высокая фигура Ефима Кондратьевича, рядом с ним мелькает маленькое рыжее пламя — волосы Нюры. Костя крепится изо всех сил, но ему это очень трудно. Он привык к ним и полюбил их. Частица Костиной души осталась здесь. И, как бы напоминая об этом и прощаясь, покачивается, кланяется красный бакен над Каменной грядой.

Однако грустит Костя недолго. Скрывается за излучиной домик Ефима Кондратьевича, тает в вышине дымок Мишиного костра, и вместе со свежим встречным ветром Костю охватывают новые чувства, набегают новые мысли.

Как там мама? Сколько она, должно быть, увидела и узнала о Каховке! Теперь Костя от нее не отстанет, пока не узнает все-все о гидроузле — о геологах, строителях, о городе... Может, если она снова поедет, возьмет с собой и его? Вот будет тогда что рассказать ребятам! Положим, ему и сейчас есть что рассказать. Пятый «Б» ахнет, когда увидит Костю — он совсем почти черный от загара, а брови стали белые-белые, будто льняные. А мускулы? На всякий случай Костя проверяет еще раз — сгибает руку и щупает твердый катышек бицепса. Мускулы — что надо! Жаль только, что до первого сентября еще далеко.

Прежде всего надо узнать про Досфлот. Может, Костю уже примут туда? Штурманом он станет еще не скоро, но надо же готовиться. А сколько до тех пор следует узнать и увидеть! Скорей бы уж начать все это, скорей бы Киев, школа и все-все, что предстоит ему впереди!..

Взволнованный предчувствием будущего, Костя начинает нетерпеливо топтаться на одном месте, потом бежит по верхней палубе к носу, словно это может ускорить осуществление его замыслов, приблизить Киев, школу, дом — все, что ожидает там Костю.

Снова плывут мимо заросшие тенистые берега, жаркие золотые отмели, и бежит-бежит навстречу Косте сверкающая гладь, голубая дорога, которая теперь уже не кажется ему простой и легкой, но становится от этого еще прекраснее.

## О ТРЕХ ПОВЕСТЯХ И О ЧЕЛОВЕКЕ, ИХ НАПИСАВШЕМ

Перевернута последняя страница книги, прочтены все три повести, которые в ней напечатаны. Теперь можно перевести дух и попробовать разобраться во множестве историй

о самых разных ребятах, ставших героями этой книги. Они совсем не похожи друг на друга. Сашук из повести «Мальчик у моря» еще маленький, даже еще не школьник. Он только-только начал знакомиться с миром: узнавать людей, горы, море. Костя из «Огней на реке» считает себя почти опытным моряком: он умеет отлично плавать, он уже способен чему-то учить других мальчиков и девочек, а когда это пришлось, сумел оказать помощь в трудном и важном деле. Антон же из повести «Небо с овчинку» и вовсе считает себя человеком самостоятельным, сердится на тетю за то, что она этого не понимает, и готов немедленно влезть в борьбу со злой несправедливостью.

И места, где живут, радуются и огорчаются эти такие разные ребята, не похожи одно на другое. У бескрайнего моря, среди суровых рыбаков живет маленький Сашук. Антон — городской житель, впервые попавший в деревню, увидевший лес не на прогулке около дачи, а настоящий, большой, в котором можно заблудиться. И запомнившиеся на всю жизнь Косте первые серьезные события происходят на широкой, большой реке, которую он раньше видел только издали.

Да и взрослые люди, среди которых живут эти ребята, те, с кем они дружат или враждуют, которыми они восхищаются или которых ненавидят, тоже самые разные. Ну, чего общего, казалось бы, между неулыбчивым бакенщиком Ефимом Кондратьевичем и всегда веселым Федором Михайловичем — хозяином огромной, славной собаки Бой? Или же между врагом Сашука — малограмотным рыбаком Игнатом — и солидным, образованным Степаном Степановичем, с которым решил воевать за правду Антон?

И все-таки если разобраться, то чем-то очень схожи друг с другом и Сашук, и Антон, и Костя. И есть что-то общее у простого бакенщика и образованного Федора Михайловича. И чем-то похожи друг на друга вчерашний уголовник, проходимец и браконьер Митька Казенный и солидный, имеющий персональную машину Степан Степанович. Все они похожи или не похожи друг на друга тем, как они относятся к жизни, к людям.

Ведь не только «почти самостоятельный» Антон, но и вовсе маленький Сашук уже умеет отличать доброе от злого, правду от неправды. Они живут в мире, где их учат, что человек должен быть добрым, правдивым, делающим свое, очень нужное всем людям дело. Когда городским ребятам — Косте и Антону — пришлось провести свой летний отдых не на даче, не в веселых и продуманных прогулках в пионерском лагере, а среди взрослых, работающих людей, они сразу же находят свое место среди них. Потому, что они уже знают, что такое хорошо и что такое — плохо. Нельзя себе представить, чтобы Костя отказался помочь своему дяде в трудном и опасном деле, мог отнестись равнодушно к тому, что может очутиться в беде большой пароход с сотнями людей. И нельзя себе представить Антона, дружащего с бездельником и тунеядцем Митькой Казенным. А крошечного Сашука и вовсе не надо учить, что человек должен не только гулять, а прежде всего трудиться. Он родился и растет в рыбацкой семье, для которой нелегкий и опасный труд — необходимое условие, чтобы жить, быть сытыми и одетыми. Когда Сашуку приходится заменить заболевшую мать и самому варить ушедшим в море рыбакам еду, то это для него не игра, не редкое, выпавшее ему развлечение, а работа, которую надо делать. Рыбаки приедут голодные, усталые, и надо, чтобы кто-то им сварил горячее, чтобы они могли поесть...

Герои книги — советские ребята. Они растут в таком сообществе людей, где каждого меряют по тому, что он сделал хорошего для всех. Не для себя одного, а именно для всех. Сколько наловил рыбы, вырастил хлеба, сберег леса, как сделал свою, пусть маленькую или большую, работу. Этому отношению к людям, к миру, к делу нельзя научиться только в школе, только на школьном уроке. Ведь нет такого предмета: «Как стать хорошим, настоящим советским человеком»... И нет такого специального учителя — этих учителей множество: они живут рядом, они трудятся на заводах, пахут землю, ловят рыбу, ищут в горах металлы, а в болотах нефть... Надо только дружить с людьми, присматриваться к ним, уметь среди них отличать хороших от плохих. Потому, что и взрослые — они тоже разные...

Бакенщик Ефим Кондратьевич, с искалеченной, раненой рукой плывущий по бурной реке, чтобы всю ночь, в дождь и бурю, ждать, когда пройдет пароход мимо места, где разбило бакен, и Степан Степанович, которому безразлично все, кроме того, что идет на пользу только ему самому, — они равно были детьми, веселыми, радующимися жизни, никому еще не успевшими сделать ни плохого, ни хорошего. Как же они выросли такими разными? Когда, на каком году их детской жизни каждый из них сделал какой-то первый, никому еще не заметный шаг, который одного привел к жизни честной, открытой, красивой, а другого сделал равнодушным, черствым, лежащим, как колода, на пути у людей, у дела?

Это очень важный вопрос, такой важный, что нет почти ни одного большого писателя, который бы не писал о детстве. Толстой, Чехов, Короленко, Горький — да их и не перечислишь! — каждый из них на опыте своего детства и детства других людей внимательно рассматривал, как в ребенке создаются характер и нравственные понятия человека. Николай Дубов пишет о детях и для детей, потому что считает происходящее сейчас с вами — самым значительным во всей вашей жизни. Ничего нельзя откладывать на будущее! Нельзя себе прощать ничего злого, нечестного, нужно помнить, что ты проходишь сейчас самые главные уроки жизни.

Все три повести в этой книге и написаны о том постоянном уроке жизни, уроке, на котором надобно следить за каждым своим шагом, чтобы он тебя не увел от людей настоящих к тем, которые только притворяются людьми. И нет ничего удивительного в том, что все три разные повести о разных людях объединены вот этой одной главной мыслью. Ведь их написал один и тот же человек — писатель Николай Иванович Дубов. И, как всякий человек, он, кроме той школы, в которой учатся писать, читать, считать, узнавать многие и сложные науки, — он еще прошел большую и трудную школу жизни.

Николай Иванович Дубов родился 22 октября 1910 года в Сибири, в Омске, жил на Украине, в Ленинграде, Москве, на Алтае, в Ташкенте. Сейчас он живет в Киеве. Отец Николая Дубова был рабочий, и сам он после школы стал рабочим на паровозоремонтном заводе. Литературные способности, как и всякие способности, начинают проявляться рано. Совсем еще молодым человеком Дубов стал писать: в стенгазете, в заводской многотиражке, в городской газете. Писать ему не только хотелось, писать ему было о чем. Он успел и поработать, и людей повидать, пожить среди них. А чем дальше, тем школа жизни для будущего писателя становилась все сложнее. Он учился на историческом факультете в Ленинградском университете, работал педагогом, заведовал библиотекой и клубом. Во время войны работал на оборонном заводе, а потом опять стал журналистом.

Николаю Дубову было уже почти 35 лет, когда он окончательно стал тем, кем мы его сейчас знаем, — писателем. Он писал (да и сейчас продолжает писать) пьесы. В 1951 году вышла его книга «На краю земли», а потом и другие повести и рассказы. Кроме своей первой повести «На краю земли» и тех, что напечатаны в этой книге, Николай Дубов написал повести «Сирота» и «Жесткая проба». Может быть, вы, читатели этой книги, их уже прочитали, а если не читали еще, то прочтете. По двум книгам Николая Дубова — «Огни на реке» и «Мальчик у моря» — сделаны кинофильмы.

Теперь, когда мы уже немного знаем о жизненной школе писателя Дубова, мы понимаем, почему он пишет для детей, откуда он так хорошо их знает, почему он любит писать о заводских ребятах, почему каждая его книга наполнена любовью к людям труда, утверждением необходимости для каждого настоящего человека трудиться для всех.

В книгах Дубова много веселого и грустного, много больших и маленьких событий. Но в них нет, не бывает незначительного, пустяшного, написанного, чтобы читатель просто посмеялся, просто пустил слезу от жалости. Все, что происходит с его героями, очень важно. И не только для них, а для всех, кто читает книги Дубова. В этих книгах, как и в жизни, добро и зло не могут мирно жить рядом, не ссорясь, не мешая друг другу. Нельзя стать хорошим и

настоящим человеком, только соблюдая правила хорошего поведения: вот это можно делать, а вот этого нельзя... Надо ненавидеть недоброе, нечестное, показное, неправдивое. Надо не обходить эту мерзость, а драться с ней, драться, не раздумывая, выгодно ли это тебе, будет ли тебе от этого хорошо.

Герой повести «Жесткая проба» заводской парнишка Лешка Горбачев на плакате, объявляющем о «производственном подвиге» своего приятеля, написал кратко и выразительно: «Липа!» Сделал он это потому, что на плакате была написана неправда. Нельзя допустить, чтобы неправда торжествовала, — с этим невозможно жить! Казалось бы, непосильные горести обрушиваются на молодого честного рабочего. Его поступок посчитали хулиганским, Лешу выгоняют с завода, из общежития, с ним порывает самый близкий друг... А так было бы легко, так просто обойти злополучный этот плакат, сделать вид, что не заметил его, или же, увидев, усмехнуться, слегка посмеяться... Или отступить, «признаться в ошибке», заплатить кусочком своей совести за любимую работу, за кров над головой, за дружбу. Но Леша Горбачев не может сделать этот шаг, не может продать ни кусочка своей совести, потому что совесть не делится на части, ею нельзя торговать. Он об этом узнал не сегодня, он об этом узнал из своей еще короткой, но тяжелой сиротской жизни. Об этой жизни Леша Горбачева Николай Дубов рассказал в повести «Сирота», повести о том, что никакие испытания не могут сломить хоть и маленького еще человека, если он растет человеком с чистой совестью.

Да, люди никогда не получают мир готовеньким, чистеньким, уютно устроенным для легкой и беспечальной жизни. Его надо делать хорошим, делать самим, не рассчитывая на готовое, делать всем — и молодым, и старым, делать на протяжении всей человеческой жизни. Всех героев книг Николая Дубова — всех, о ком он пишет с таким знанием и такой любовью, — роднит стремление самим вмешаться в жизнь, самим сделать ее красивой и доброй, самим убрать с нашей дороги все, что этому мешает. Только тогда они получают во владение такую жизнь, в которой легко и свободно дышится, живет, дружится. Только тогда перед ними раскрывается счастье: стать тем, кем он хочет, суметь приложить свои способности, силу, умение. И тогда только каждый сможет познать радость постоянного общения с родной природой.

Ведь и это — тоже большая радость! Нельзя прожить настоящую, радостную жизнь, не научившись видеть красоту родной природы, не защищая эту красоту. В книгах Дубова с такой большой любовью рассказывается о красоте весенней степи, об омытом утренней волной морском берегу, о могучем лесе, о небольшой чистенькой речушке, вьющейся между лугами... Без всего этого, без этой красоты родной земли очень трудно жить. И ее нельзя оставлять на растерзание злым бездельникам и тупым людям, готовым ради дешевого удовольствия, ради грошовой выгоды загадить реки, растоптать луга, вырубить лес...

Очень беспокойный характер у героев книг Николая Дубова. Наверное, такой же, как у писателя, их создавшего. Но это хорошее беспокойство, очень нужное беспокойство. И если читатели книг Николая Дубова поймут это, значит, писатель сделал свое дело.

Лев Разгон СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЬЧИК У МОРЯ.

Рисунки В. Высоцкого

НЕБО С ОВЧИНКУ.

Рисунки В. Трубковича

ОГНИ НА РЕКЕ.

Рисунки В. Богаткина

Лев Разгон.

О трех повестях и о человеке, их написавшем ДЛЯ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ ДУБОВ  
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ МАЛЬЧИК У МОРЯ Повести Ответственный редактор И. И. Кротова.  
Художественный редактор А. В. Пазина. Технический редактор И. П. Данилова. Корректоры  
Н. М. Кожемякина и Т. Ф. Юдичева. OCR Андрей из Архангельска Издательство „Детская  
литература“. Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика „Детская книга“ № 1  
Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по печати.  
Москва, Суцевский вал, 49.

1

Район города Киева.